

№ 5(11). 2015

Берега



Калининград

Берега

Литературно-художественный и общественно-политический журнал

Цитата номера

*Ты есть Закон.
Твои Владенья
Лежат везде,
Где солнца свет!..*

*Ты — сын побед,
Не поражений —
Для духа поражений
Нет!*

*Ещё идут твои сражения.
Гори,
Владей,
Твори,
Поэт!..*

Сэда Вермишева

**Сентябрь 2015 № 5 (11)
Калининград**

Главный редактор: Лидия Владимировна Довыденко
Телефон: +7 9118630467
E-mail: dovidenko_L@mail.ru, <http://www.dovydenko.ru>

Редакционная коллегия:

Григорий Блехман — член Союза писателей России
Дмитрий Воронин — заместитель главного редактора, раздел «Проза»,
E-mail: pimin00@rambler.ru
Игорь Ерофеев — член Союза писателей России
Николай Иванов — член Союза писателей России, сопредседатель Правления
Союза писателей России
Александр Казинцев — член Союза писателей России, заместитель
главного редактора журнала «Наш современник»
Юрий Крупенич — член Союза писателей России
Валентин Курбатов — член Союза писателей России, член Совета
по культуре при Президенте РФ
Александр Николашин — заместитель главного редактора, ответственный
редактор
Александр Новосельцев — член Союза писателей России
Андрей Растворцев — член Союза писателей России
Вадим Салеев — доктор философских наук, профессор, главный редактор
журнала «Артефакт» Белорусской государственной академии искусств
Светлана Супрунова — заместитель главного редактора по разделу «Поэзия»,
E-mail: suprunova60@rambler.ru
Владимир Шемшученко — член Союза писателей России

Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 39-00302 от 24 сентября 2014
Дата выхода номера в свет: 15 октября 2015 года
Тираж: 1000 экз.
Адрес редакции, издателя: 236010, Калининград, ул. Белинского, 44-58
Учредитель: Довыденко Лидия Владимировна, адрес:
236010, Калининград, ул. Белинского, д. 44, кв. 58
Цена свободная
Издание предназначено для лиц от 12 +
Дизайн обложки — Анна Степанова
Фото на обложке Валентины Архиповской
Вёрстка — Елена Балантаева
Отпечатано в типографии ООО «График Артс»
г. Калининград, проспект Мира, 5, тел. 92-14-90, e-mail: 921490@mail.ru
При перепечатке материалов, в том числе использовании их в электронных СМИ,
ссылка на журнал «Берега» обязательна.
Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных материалов,
может не разделять точку зрения опубликованных авторов.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Правила подачи материалов в журнал «Берега»

Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях. Присылаемые рукописи должны быть сохранены документом Word (шрифт — Roman, кегль 14, межстрочный интервал — 1). Текст не форматировать, не подчеркивать, разрешается части текста выделять курсивом. Файл называть своей фамилией, в начале текста — краткие сведения об авторе. Решение о публикации принимается редакционным советом журнала.

СОДЕРЖАНИЕ

Проза

Александр Медведев. Письма. <i>Повесть</i>	4
Анна и Константин Смородины. Женидьба на поповне. <i>Повесть</i>	14
Семен Родин. Большие Вяземы и Захарово. <i>Рассказ</i>	30

Поэзия

Сэда Вермишева. Из цикла «Начало». <i>Стихи</i>	46
Олег Рябов. <i>Стихи</i>	50
Григорий Пичуричко. <i>Стихи</i>	52

Брянские берега

Владимир Сорочкин. <i>Стихи</i>	54
Дмитрий Стахорский. Роднички	58
Виктор Володин. <i>Стихи</i>	66
Галина Карташова. Седые сумерки. <i>Стихи</i>	71

Донские берега

Алексей Береговой. Черная птица с красными перьями. <i>Рассказ</i>	74
Ирина Сазонова. <i>Стихи</i>	90
Галина Студеникина. <i>Стихи</i>	85
Клавдия Павленко. <i>Стихи</i>	88

Берега истории и культуры

Лидия Довыденко. Русский герой Франции. К 100-летию Н.В. Вырубова	93
Александр Медведев. Мастер умирающего сфинкса	99

Молодые Берега

Саша Зайцева. Победители конкурса им. Твардовского «За далью — даль». <i>Стихи</i>	115
Олег Максименко. <i>Стихи</i>	117
Вероника Морина. «Гипсу ты мысли даешь...» О творчестве скульптора Виктора Морина	104
Андрей Маменко. Военная хроника моего деда	107

Безбрежный Русский мир

Шеньянские берега. Игорь Смилевец. По местам боев через 100 лет	120
Рижские берега. Владимир Вахрамеев. Жизнь через общение к познанию	131
Вильнюсские берега. Эльвира Поздня. <i>Стихи</i>	141
Берлинские берега. Юрий Юрукин. Каштаны. <i>Рассказ</i>	144

Берега Православия

Иеромонах Иосиф. Духовное озарение. Отрывки из книги проповедей	148
--	-----

Между берегами

Валентин Курбатов. Михайловское — пространство игры	154
Геннадий Красников. Письмо-рецензия на книгу В.Я. Курбатова «Пушкин на каждый день»	160
Григорий Блехман. «Я из прошлого величья...» О Сэде Вермишевой	162
Наши друзья. Рекомендуем для чтения	168

Проза

Александр Медведев

Александр Васильевич Медведев родился в 1957 году в Черняховске Калининградской области. Член Союза художников России, член Союза писателей России, автор книг «Похищение Европы», «Солнечный глаз», «Новое небо», «Ни коня, ни сабли», «Над горизонтом». Сфера интересов — проза, критика, публицистика, искусствоведение. Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Письма

Повесть

Незадолго перед смертью мать прислала Николаю папку с его письмами. Он слал их родителям из Ленинграда, где учился в художественном училище, и из армии, куда призвался после первого курса.

Перелистав содержимое папки, заметил о почерке — и сейчас такой же небрежный, разве что менее жёсткий. Читать не стал, выхватил несколько строк из двух-трёх писем, удивляясь тому, какие незначительные вещи казались юноше достойными внимания, и определил место папке на полке среди книг. Только и всего. И вот, спустя десять лет после смерти матери, он достал зеленоватую картонную папку и прочёл сохранённые ею письма.

Найдись этим письмам читатель, он вряд ли составил бы по ним картину жизни молодого человека, предоставленного самому себе в большом городе. Сведения об учёбе, быте, свободном времени и товарищах в них до того скупо изложены, что создавалось представление о существовании, крайне скудном на события.

Николай принялся готовить кофе.

«Неужели так всё и обстояло? Не случилось ничего из ряда вон выходящего, да просто того, о чём стоило бы написать родителям? Ведь что-то же могло быть интересным — уже по причине новизны, молодости с её обострённым восприятием мира?»

Не давая кофе закипеть, Николай снял джезву с конфорки.

Кофе. О нём ни одного упоминания в десятке писем его доармейской учёбы. До приезда в Ленинград он не пил кофе, не подозревал о специфической культуре потребления этого напитка. И, конечно, не ведал о субкультуре, непременным атрибутом которой был чёрный кофе. Уже в первый день экзамена по рисунку его новый друг Кутаев предложил выпить кофе. На троллейбусе от площади у Смольного, где находилось училище, они отправились в «Сайгон». И об этом кафе в письмах ни слова.

«Было бы как раз удивительно, — подумал Николай, — если бы я написал родителям о заведении на углу Невского и Владимирского».

Обыкновенный кафетерий, но только публика неопишуемым образом создавала необыкновенно нервное поле. Возбуждённое состояние возникало среди высоких столиков без стульев, и совсем не от кофе, шампанского и коньяка, продававшихся в розлив. Попадая в «Сайгон», невозможно было избавиться от ощущения, будто находишься в пространственно-временных скобках посреди сложносочинённого советского предложения жизненного устройства. Предложения, от которого ты просто не в силах отказаться: шаг влево, шаг вправо, танцуй, не танцуй, телодвижения предопределены, от рождения до смерти о тебе заботятся партия и правительство, в чём неустанно уверяла уличная реклама, пресса, радио и телевидение. А это кафе торчало теми скобками, в которых ты иллюзорно находил себя вне сложного сочинения донельзя регламентированной жизни. Здесь всё было пропитано дурманящим духом свободы. Можно было услышать имена музыкантов, писателей, режиссёров, чьи произведения недоступны в районных библиотеках, в филармонии, в кино и театрах города. Однако прояви настойчивость — и с творчеством, а то и жизнью этих замечательных людей можно познакомиться: тут же сообщается адрес квартирной выставки, концерта, кинопросмотра. За вполне символическую плату для новоначального деятеля доступно вхождение в

мир тайной жизни нового искусства и культуры. О, этот мир, соблазняющий скорой возможностью проявить всю силу теплящегося в молодом человеке таланта, предъявить её стремительно, не тратя драгоценного времени на бесконечное разучивание гамм, рисовальные штудии, постановку голоса, на оттачивание пластики, поиски пропорций, ритма, рифм и смыслов.

Находясь вне круга разномастной публики, не видя «прихожан Сайгона», родители Николая не догадывались и о свойствах кофе — о чудодейственной способности чёрной пыли, запаренной под давлением, перелицовывать пространство, сжимать время и расширять сознание, о свойствах, открытых в этом напитке Николаем. И зачем тогда сообщать им о произошедшем открытии?

«Маленький двойной, пожалуйста. И воды поменьше».

Иногда можно было услышать: «маленький тройной». И заказ воспринимался если не проявлением особо творческого экстремизма, то вызовом. Чему? Во всяком случае, вызовом советскому общепиту с пресловутым «кофе с молоком», бочковой сладковатой бурой жидкостью. Его смело можно счесть одним из символов предопределённости пожизненного блуждания в проклятом ещё в начале века треугольнике «улицы — фонаря — аптеки». Совсем иное — чёрный кофе «Сайгона». Он навевал щемящее чувство неопределённости свободной геометрии. Каково моё театральное будущее, — Николай поступал на отделение, готовившее художников театра, — как сложится моя выставочная деятельность, что избрать целью: добиваться ли приёма в Союз художников или вливаться в ряды андеграунда, подпольного искусства — кто его знает?

«А может, кофе ни при чём? Наливали бы в «Сайгоне» кипячёную или дистиллированную воду, изменилось бы что-нибудь по части приподнятого настроения, ощущения причастности к кругу избранных? Николай вспомнил глупую шутку, пародию на рекламу одного из сортов кофе: «Мы по зёрнышку отобрали всё самое лучшее, а остальное отправили вам!»

Вместе с Кутаевым он был на квартирной выставке, в начале Владимирского проспекта, на противоположной «Сайгону» стороне. Вход свободный, но никаких объявлений при входе, тем более, афиш. Игорь Иванов, это, кажется, его квартира, освобождённая от мебели, опустошённая для усиления воздействия развешанных картин и графики, да ещё нескольких белых тарелок, расписанных в технике рисунка пером. На картинах Иванова исключительно куклы. Многослойную философию, обнажённые чувства передаёт невиданный доселе грязноватый колорит; так вот они какие — цветы, так и не проросшие сквозь сор. Разумеется, здесь аллегория: сор, не дающий расцвести цветам, это советская действительность, безжалостно подавляющая все свободные помышления человека. Беззащитность нежности, предпорочная невинность, утончённый эротизм и грубость плоти, что-то зябкое и одновременно потное в этих кукольных личиках. От холстов веет напудренным одиночеством.

«Почему я об этом не писал родителям?»

Николай задумался. Странные мысли о кофе и кафе, как об одном из способов проникновения в своеобразное иное измерение, не покидая собственно пространства обыденности, ранее никогда не приходили ему на ум. И как он мог написать родителям о приобщении духу иночества, не в монастырском, конечно, смысле, а о появлении чувства существования иных сфер, отличных от постылого мира людей от девяти до пяти, и о своей готовности проникнуть в эти сферы? Сейчас трудно выразить, что происходило в душе юноши, столкнувшегося с явлением параллельности миров, с такой непосредственностью соприкасающихся — «маленький двойной, пожалуйста» и — пожалуйста, в реальном времени происходит прободение реального пространства на углу Невского и Владимирского. И разве можно было передать это в письме, и кому — родителям? Они же всё воспримут превратно: что за проникновения, куда и откуда, не заучился ли, не заболел часом? Поэтому в письмах исключительно о насущном: просьба прислать тёплые носки, благодарность за посылку с вяленой рыбой, уверения в прекрасном самочувствии и благополучной учёбе. Обо всём — общими фразами.

«Экзамены начались. Сегодня будет третий день — последний для рисунка. Но результаты узнаю, когда пройдут живопись и композиция, числа 14-го июля. Сообщу телеграммой. Будет список допущенных к истории и сочинению. Настроение нормальное, только немного волнуясь. Главное, из-за того, что я поступаю после 10-ти классов. Для нас конкурс жёстче.

Посылку получил, спасибо.

Вот, кажется, всё.

До свидания, целую,

Коля»

Николай перелистал подшитые письма; в папке почти все похожи на это. Он вспомнил о множестве перечитанных им посланий писателей родственникам, друзьям, коллегам, — сколько подробных описаний чувств, мыслей, переживаний! Его же весточки родителям с первого курса художественного училища — набор общих фраз, собрание банальностей.

«Сегодня получил посылку, большое спасибо! Сразу же написал один натюрморт из яблок. Ну и, конечно, съел их. Очень вкусные яблоки, спасибо.

Деньги были очень кстати. За прописку в Квартирной группе отдал целых три рубля. Осталось в милицию съездить, в военкомат и домоуправление. В милицию сходил бы сегодня, но два автобуса были полные и прошли без остановки. В третий кое-как втиснулся. Доехал до Политехнического института, и тут на остановке пассажиры сломали дверь. В общем, не успел до закрытия паспортного стола, попробую завтра с утра».

Неужели не о чем было писать? Или некогда?

Много времени уходило на поездки, особенно в первое полугодие учёбы. Вместе с Олегом Ш. он жил в Парголово, неподалёку от кольца двадцатого трамвая — оттуда довольно далеко до Смольного собора, рядом с которым находилось училище. Как же его туда занесло? Многодневные тоскливые октябрьские стояния на Светлановском рынке, одной из городских «бирж по съёму жилья», закончились тем, что он договорился с пожилой женщиной снимать в её частном доме комнату за двадцать пять рублей в месяц.

Екатерина Дмитриевна была человеком одиноким, малоразговорчивым и мнительным. Первым делом она попросила Николая забить чердачный люк. Мало ли, кто-то задумает ночью проникнуть в дом? И свет. Свет нечего долго жечь, надо раньше спать укладываться. Но как же не жечь, когда надобно выполнить ряд заданий по композиции, сделать, как минимум, двадцать пять набросков и показать преподавателю по рисунку, да написать хотя бы два-три этюда акварелью? Не при свечах же делать наброски, хотя так по-рембрантовски таинственно стала бы выглядеть убогая каморка дачного некогда домика, кое-как утеплённого, с плитой в комнате хозяйки. Ещё чего — свечи! — так недолго и дом спалить! Никаких свечей!

Одно из первых заданий по композиции — разработка эскиза орнамента.

«Один плюс один рождает множество» — так, кажется, у Ницше? Николай начинал цитатой философа статью «Орнамент как движение», но это уже в не столь давнем прошлом, когда он, довольно опытный художник и человек, искушённый в истории и теории искусства, писал её. Тогда же, в Парголово, об орнаменте он имел смутное представление: нечто скучное, однообразное, обязательное, почему и выполняется задание медленно, с трудом, потому и приходится полночи жечь свет.

Этих деревянных домиков возле Шуваловского кладбища уже нет, и словно не было никогда; теперь здесь высятся многоэтажки. Исчезли сады, огороды, собачьи будки, сарайчики и голубятни.

Екатерина Дмитриевна сэкономила на дровах. Николай вспомнил холодные вечера в неудобной комнатке, горбатые стены — обои, наклеенные на куски картона, пузырились, лопались по углам, проступал иней на подоконнике. Между стёкол грязная свалывшаяся вата. Взгляда на неё достаточно, чтобы прохватил озноб, вот и мурашки не замедлили пройти муравьями по спине. Он просто не мог написать родителям, что живёт в комнатке дачного домика, едва приспособленного для зимовья. Не хотел их пугать, тем более, когда успокаивался мыслью, что худо-бедно, всё же организовал себе жильё сам, пусть, как сумел. В восемнадцать лет он должен был проявить самостоятельность, позаботиться о себе, вот и позаботился, не под открытым небом ночью — и ладно.

Разумеется, из трёхкомнатной родительской квартиры ему не такой виделась жизнь будущего художника, во всяком случае, не в комнатке с лампочкой в сорок ватт, с туалетом на улице, с колонкой через улицу и за два дома. «Любовная лодка разбилась о быт», — вспоминал он тогда Маяковского. Любовь к искусству потребовала принести в жертву привычный комфорт. И то, что воспринималось данностью — заработанная родителями квартира, ежедневный завтрак, обед и ужин (Боже, раньше он не знал цены этим вещам) — всё, оказывается, надо было заново добывать, выгрызать у такого неласкового быта, к которому его белоснежная ладья — мечта об искусстве — причалила, совсем не грациозно убрав паруса.

Первокурсник Николай именно так и думал, нахохлившись на табурете, делая наброски с комнатных цветов, с колючего столетника, разросшегося кустом в зелёной эмалированной кастрюле. Столетнику, верно, сто лет, и поливали его, похоже, всего раз, при посадке. Покрытые слоем пыли

мясистые листья, стебли, идущие вперёд, перекрывающие другие, ведущие взгляд в глубину — вот и подсказка художнику в решении задачи изобразить пространство, выявить планы.

Он рисовал и вспоминал слова отца, узнавшего о его решении поступать в художественное училище. «Твоё будущее — сырой грязный подвал, бесконечное пьянство среди заплесневелых банок с гуашью», — такой представлялась отцу его радужная мечта о профессии художника. Её воплощение, как это ни странно осознавать, начиналось, если не дословно, то очень близко к сказанному отцом. Не в подвале, так в стильном дачном домике... И зачем же тогда писать родителям о житье в жалкой комнатке с удобствами на улице, зачем им испытание горькой радости от своей прозорливости? Да, они понимали, что не всё даётся сразу. Николай не забыл слова матери о тазике, единственном их с отцом имуществе на момент женитьбы, отец к тому же был одет в шинель, благо только что из армии, форма не успела износиться. Сами начинали с нуля, но в то же время странно было бы, если бы они легко согласились с мыслью, что и сыну непременно надо пройти подобный путь. Понимание — да, но чувства — это совсем иное.

Карандашом, сангиной, углём, пером на разных бумагах — двадцать пять подробных набросков к каждому занятию рисунком, с конкретными задачами по передаче пространства, разнообразию линий, тональной нюансировке. А за окном — кружево яблоневых ветвей на белом — волнистые сугробы высоки, под самый подоконник. Воскресное утро длинное; пока светлеет, можно было бы написать письмо домой, а уж потом вволю порисовать, глядя в оконце.

Найти в пространстве листа какое-то особое место, с которого начнётся путешествие пера или карандаша, ведущих взгляд зрителя в глубину пейзажа, — какая же это увлекательная задача! Ничего, что мороз, короткий набросок можно успеть сделать и до того, как пальцы перестанут слушаться. Расположившись возле одного из гранитных столбиков набережной Мойки, Николай пытался найти выразительный способ перенести узор решётки и детали ампиричного декора Конюшенного ведомства на лист серой бумаги, сделав это таким образом, чтобы полученная вязь не нарушила главного силуэта в пейзаже. Целое и частности — их не просто уравновесить. То одно, то другое посягает на главенство.

Поглощённый решением задачи на гармонию, Николай не замечает, как альбомчиком столкнул со столбика решётки набережной открытый пузырёк туши. Чёрное пятно на льду, занесённом снегом, постепенно тает в наступающих сумерках.

Он частенько рисовал тростниковым пером. Оно оставляло широкие короткие штрихи, и надо было искать разнообразие в ритме их сгущения и простора, давая возможность и нетронутым частям листа не быть пустотой, а становиться весомой частью создаваемого пространства. Прimitивный инструмент, но до чего восхитительны его возможности! По прочтении книги Анри Перрюшо «Жизнь Ван Гога» Николай, налюбовавшись репродукциями перьевых рисунков, заготовил несколько трубчатых палочек, заточил под разными углами и начал рисовать. Ван Гог очаровал его именно рисунками. Подкупала грубая выразительность. Оказывается, можно говорить о любых вещах, всё достойно внимания художника, всё под его взглядом подвергается огранке, и кусок угля сверкает бриллиантом. Но взгляд приобретает волшебное свойство превращать обыденное в драгоценное благодаря руке, воплощающей мастерство, а оно приходит с годами упорного труда.

«Что только не приходит с годами помимо мастерства, — усмехнулся Николай, — наверное, приобретается трезвый взгляд на искусство само по себе и как на занятие, выбранное профессией. Слава Богу, «трезвость — норма жизни» — не мой девиз, иначе жизнь воспринималась бы исключительно сквозь очки цинизма, что для художника не полезно».

Однажды летним вечером, ему тогда было около десяти лет, Коля сидел на полу возле дивана. Он только что поужинал, и сытый, слегка уставший от плодотворно проведённого дня с купанием, ездой на велосипеде, беготнёй и вознёй с ребятами, ушёл в комнату, дав немногословный отчёт родителям о проделанной работе над собой. Несмотря на лето, он обязан был ежедневно читать, следить за порядком в своей комнате, чистить обувь, в общем, расслабляясь на каникулах, быть начеку, чтобы вконец не ослабеть как ответственному лицу младшего школьного возраста. До сна и вечернего чтения ещё есть время, и в блаженном умиротворении Коля рассматривал узор на коврикe, вполуха слушая по радио выпуск последних новостей. Ровный мужской голос вещал о достижениях науки и техники, о новинках в культурной жизни в городах большой страны. На словах «министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко принял Чрезвычайного и Полномочного

Посла Марокко в СССР господина Абделькебир-эль-Фасси в связи с предстоящим вручением им верительных грамот Председателю Президиума Верховного Совета СССР» Коля окончательно потерял смысловую нить транслируемого, которую он попытался было намотать на едва пробивающийся ус самосознания октябрёнка, готового в скором будущем стать пионером. Он переключился на исследование ворсистых ромбиков: насколько разной кажется их жёсткость в ощущении пальцев рук и ног? Исследование сразу зашло в тупик, сложно ведь определить, чем считать ощущения, испытываемые ступнёй, — щекоткой или покалыванием? Повозив несколько раз туда-сюда ногами и руками по коврику, Коля оставил опыты в виду неопределённости критериев и прислушался к радио.

Кажется, звучал тот же ровный мужской голос, но что он говорил? Чем внимательней Коля слушал, тем сильнее ощущал, что не в силах пошевелиться, не то, что встать и выйти из комнаты, в крайнем случае, сесть на диван. Он оцепенел. В то, что доносилось из динамика, нельзя было поверить, такого просто не могло быть, и он в свои без малого десять лет это прекрасно понимал. Легко сказать «понимал» и «не могло быть»! Только что ровный голос произнёс: «Андрей Андреевич Громыко», а это, кажется, ежедневно произносят дикторы, и вот без какой-либо паузы или специального объявления продолжает — и о чём? Непонятно. На словах «старуха стала в дверях и вперила в него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему», Коля окончательно перестал ощущать под собой ворсистый коврик, оказавшись всецело во власти всё ещё ровного, но как-то подозрительно размягчившегося, вкрадчивого голоса. «Философ хотел оттолкнуть её руками, но к удивлению заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос его не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах»

Словно про меня говорит, подумал Коля. Его обуял ужас, не меньший, чем тот, о каком сообщалось по радио.

«Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понёс её на плечах своих...»

Не шевелясь, просидел он на полу до конца передачи. Встал с коврика, когда женский голос — о счастье! его звучание провозгласило торжество возвращения в мир подлинной реальности — объявил, что повесть Гоголя «Вий» читал Борис Бабочкин.

Слава Богу, мир последних известий неколебим, — вздохнул Коля, — и смеётся тот, кто смеётся последним, как бы его ни пугали. Правда, в тот момент было не до смеха, хотя чувство явного облегчения вытеснило, ну почти вытеснило беспомощное, как минимум, недоумение, овладевшее им, когда он осознал себя свидетелем проникновения потусторонних сил в мир посюсторонний. Надо же, как всё зыбко, ненадёжно и готово в любой момент измениться. Конечно, и в мире последних известий, где до сегодняшнего сдвига обыкновенного дикторского голоса к вкрадчивому артистическому, немислимого, казалось, сдвига, не всё было понятно. Ну, что там кроется за этими словесными радио-знакомыми незнакомцами, ежедневно навещающими нас, а вернее, не покидающими, за «Президиумом Верховного Совета» и «сообщениями ТАСС»? Что-то тревожное проскальзывает, ведь и женский голос, вещая о «политике канцлера Аденауэра, свидетельствующей о реваншистских устремлениях», и о «чёрных полковниках, терзающих в застенках Манолиса Глезоса», использует явно металлические нотки. Но в сравнении с этими ожидаемыми уже сообщениями, происшествие со странным Философом и ещё более странной Старухой-Панночкой просто перевернуло сознание — последние времена не то что могут наступить, их приход неизбежен, как ежедневный выпуск последних известий.

Родители всё ещё были на кухне, отец читал газету, мать писала письма сестре в Ленинград и брату в Минск. Коля ничего им не сказал, ни о чём не спросил, ибо, потрясённый услышанным по радио, не понимал, о чём в этой связи можно было бы спросить родителей. Он понятия не имел о случающихся путешествиях в пространстве и времени, совершаемых без киноэффектов, без заклинаний, а происходящих просто так с людьми, не покидающими при этом прикроватного коврика, и вот узнал, сам нежданно-негаданно совершил такое путешествие. Или оно совершилось с ним? Обратиться к родителям за помощью? Может, они разъяснят, что это было? Только о чём спрашивать, что, собственно, произошло?

«Не с того ли летнего вечера у меня появилась мысль о возникающих препятствиях в обычно доверительном общении с родителями, позже оформившаяся в стойкое предубеждение насчёт открытости между ними и мной, в тютчевское почти „молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои“? — по-

думал Николай. — Вряд ли случайно замеченный мною эффект соединения реальности как таковой и реальности художественной, яви и вымысла, и впервые испытанное при этом потрясение вызвали оторопь и заставили обратить внимание на так же внезапно возникший барьер в доверительном общении с людьми, доверие к которым всегда было делом само собой разумеющимся»

В памяти всплыла история с ключом. Случилась она, вероятно, вскоре после внезапного радио-знакомства с Гоголем и испытанного Николаем воздействия художественной реальности, в которую он заглянул, ещё не сознавая, что за сила приподняла ему веки и заставила неотрывно внимать невиданным картинам, оказавшимися вдруг видимыми.

Отцу понадобился ключ от подвала, но его не оказалось на крючке, где он обычно висел, и он спросил, не брал ли Коля ключ. Исключено. У Коли и мысли не могло появиться пойти в подвал по собственному желанию. Да, он бывал там, и не однажды, помогая матери или отцу что-то принести — варенье, компоты, картошку, яблоки, или относя назад банки. Прохладно, неуютно, тусклая лампочка, выключатель, который не так-то просто нащупать, а пока темно, тоже непросто отогнать навязчивые мысли о мышах и крысах, не наступить бы. Было, спустился в подвал в сандалиях на босу ногу и почувствовал прикосновение чего-то влажного, мгновенно покрылся мурашками, аж передёрнуло. Толстый слизень на почерневшем по краям листе прошлогодней капусты вызвал омерзение, сравнимое с тем, как если бы Коля увидел вдруг гигантского — да хотя бы скорпиона или тарантула, собирающегося напасть на него. Подвал пугал непредсказуемой встречей с чем-то подземным, заведомо враждебным. Те же самые крысы не казались такими ужасными в сарае, какими они непременно бы предстали — лучше и не представлять — в подвале. В сарае Коля спокойно, ну почти спокойно, наблюдал за крысой. Даже за двумя.

Он пришёл забрать у кур свежеснесённые яйца. Положил их в сито и хотел уже выйти, но что-то заставило его взглянуть вверх. Под самым потолком — крыса. Странно. Но это была ещё не вся странность. Невероятным образом крыса неспешно пятилась вверх по стене к небольшой дыре в углу, да-да, она передвигала задними лапами по отвесной стене, словно по полу. В передних лапа крыса держала яйцо. Коля смотрел, испытывая смесь удивления, страха и восхищения. Ещё бы! — воровку тянула за хвост зубами другая крыса, почти уже скрывающаяся в дыре. Обе виртуозно — задом наперёд! — поднялись вверх по оштукатуренной стене, сохранив яйцо, и, мало того, застигнутые на месте преступления, крысы не смутились и блестяще завершили кражу. Коля слыхом не слыхивал о расширении сознания, но, похоже, рамки представляемой им картины мира если и не расширились при виде крыс-альпинисток, то явно пошатнулись. Оказывается, прежде чем говорить по какому-либо поводу «этого не может быть», стоит крепко подумать, все ли представления о возможном способна вместить твоя голова?

Неожиданное и ожидаемое находятся в невероятно сложных взаимоотношениях. Отцу, спросившему про ключ, он ответил, что ключа не брал, и, считая ответ исчерпывающим, намеревался пройти в свою комнату. «Но ключа нигде нет, может быть, ты всё-таки брал его?» — вопрос преграждал путь. Коля почувствовал себя серьёзно подозреваемым, ему вменяется странное действие, которое он просто не мог совершить, хотя бы потому, что подвал его абсолютно не мог привлекать. На все уверения, что ключа он не брал, следовала странная просьба-обличение: «Подумай, где ты мог его оставить, взял, наверно, да и забыл, куда положил?»

В конце концов, не в силах противостоять напору взрослых, — к отцу присоединилась мать с наводящими вопросами, — Коля вдруг неожиданно возьми да и выпали: «Посмотри уж у себя в пиджаке!» Отец ответил, что перерыл все карманы. «Да не в этом пиджаке, — сорвался на крик Коля, — а в том, старом, что на вешалке!» Отец извлёк из-под плащей, ватника и халата зелёный твидовый пиджак, который надевал, занимаясь по хозяйству. В накладном кармане лежал ключ от подвала.

«Так ты говоришь, не брал ключ?» — отец улыбался странной улыбкой. В ней не было злорадства, но сочилось что-то трудно объяснимое, в чём Коля мгновенно распознал недоверие. «Я же сто раз сказал: не брал!» Отец продолжал понимающе улыбаться, хотя понимал совсем не то, что следовало бы, по мнению Коли. Заразительный момент. Улыбка отца гипнотизировала сына, и у него не было сил сопротивляться. Губы растягивались в ответ, хотя ему совсем этого не хотелось, ведь ничего весёлого в происходящем не было. Более того, он оказался в западне, причём устроенной им же самим. Возьми, да и скажи: ключ в старом пиджаке! — кто ж за язык дёрнул, и попробуй, докажи, что не знал, где он,

что это случайное совпадение. Сказал просто так. И теперь, не в силах сдержать предательскую улыбку, лжесвидетельство против себя, и предательский комок, подкативший к горлу.

«Я был уже не так мал, чтобы заплакать от обиды за своё мнимое саморазоблачение, но всё-таки был ещё довольно мал, чтобы достойно выйти из сомкнувшегося круга незаслуженных внезапных обличений»

Николая позабавило воспоминание о чудесном обретении подвального ключа.

«Незаслуженные обличения. Ну-ну. Выйдя из ангельского возраста, дитячко заслуживает всяческих обличений, ибо уже к семи годам становится довольно хитрым и сноровистым, способным совершить немыслимые на родительский взгляд деяния»

Родители тогда так и не поверили, что он не брал ключ, и что указанное место, злополучный пиджак, возник случайно, что слово просто слетело с языка. Он же с тех пор реже стал обращаться к ним с вопросами, а на их вопросы начал отвечать всё более односложно. Мать по-доброму подсмеивалась: «Ну что, всё нормально?» «Нормально!» — его стандартный ответ на то, как обстоят дела в школе.

Самое неприятное — задачи по арифметике. Трубы, часами попеременно заполняющие водой бездонные бассейны, маньяки-пешеходы и поезда-призраки, выходящие из пункта А в пункт В, чтобы где-то на полустанке С оказаться клубком неразрешимой связи пространства и времени. Ответы на задачи в тетради Коли частенько не совпадали с предлагаемыми учебником. Правда, он и не стремился мысленно оказаться не то что вовремя, но и вообще когда бы то ни было, ни в бассейне, ни в пункте, означенном условием задачи. Его фантазия, начинающая развиваться согласно условию задачи, вдруг смазывала сценарий, и в его представлении оставалась лишь картина слияния пунктов А и В, и затем странное сливание этого нелепого образования в бассейн безразличия.

Коля не нашёл ничего лучшего, как направить арифметические экспрессы в тупик. В один из вечеров он попросил отца помочь в решении задачи. По первому образованию отец — учитель начальных классов, и хотя работал по специальности всего год, до призыва в армию, он всё же имел педагогический опыт. И если Коля, обращаясь к нему, представлял помощь вроде той, что в песне: «Папа у Васи силён в математике, папа решает, а Вася сдаёт», то отец подошёл к решению проблемы профессионально. Прочитав условие задачи о двух поездах, он спросил, понятен ли вопрос? Здесь Коле было всё понятно — стоит вопрос и надо найти решение, — так что отец бодро перешёл к объяснению путей поиска решения. Очень скоро его бодрость переросла в возбуждение, совершенно неожиданное для Коли, а затем и просто в раздражительность. «Что тут может быть непонятного? Рыжик, собака, и тот давно бы уже понял, а ты всё ещё не понимаешь!» Коля стоял, понурился, мысленно проклиная себя за то, что поддавался искушению вот так сразу взять и научиться решать задачи с помощью отца. Лёгкий, казалось, путь привёл в глухой тупик. Мать, пару раз заглянувшая в комнату, исключительно в поисках то одной мелочи, то другой, была наконец удалена испепеляющим взглядом отца, так что на скорое освобождение с посторонней помощью из кошмарной преисподней, каким оказался безобидный на первый взгляд ареал между пунктами А и В, надежды не было.

Всплыли подробности того первого и последнего вечера попыток совместного решения задачи. «Отягчающим обстоятельством выступало то, что ввиду грядущего выходного дня с утра пораньше не надо было идти ни на работу, ни в школу, — вспомнил Николай уже в комической аранжировке тот драматический для Коли вечер, — следовательно, и отходить ко сну в положенные часы никто не торопился. Поэтому злополучные поезда были обречены чуть ли не до полуночи раз за разом отправляться к месту назначения, чтобы где-то на пути неизменно исчезать в чёрной дыре понимания моего непонимания»

Человек, обладая сознанием, не может не понимать. Так, вероятно, считал отец. Был ли он прав, раздражаясь на очевидное для него нежелание сына осмыслить задачу, то есть осознать её и сделать понятной, сказать сложно. Дети изощрённо хитры, и именно родителям труднее всего с этим мириться, порой трудно заставить себя включиться в игру «кто кого перехитрит», не у каждого достанет самообладания. В самом деле, когда знаешь ребёнка, как облупленного, хватит ли сил подыграть ему, проникнуться его сознанием непонимания, и уже совместно прорваться или проскользнуть в область понимания? Тут уж как пойдёт. А область понимания существует лишь благодаря единственно смыслу, почему эту область и можно назвать пространством смыслов.

Хорошо о смысле и бессмыслице рассуждать, будучи крепким задним умом. Когда же человек вдруг видит то ли действительно внезапную потерю рассудка, то ли её симуляцию у ребёнка, только

что играючи показывающего сообразительность не по годам и гибкость ума, то это внезапное изменение обескураживает. Не то же ли самое происходит и с ребёнком? Вроде бы родители всегда меня понимали, думает дитя, верили мне, а теперь вдруг не верят, не понимают, стало быть. Почему? Я говорю им, что не понимаю. Не значит ли это, что я не знаю, как мне объяснить моё чувство — страха ли перед чем-то неизвестным, страха — справлюсь ли, преодолевая страх, — как мне это объяснить себе, не то что другим? Вот я и говорю: не понимаю. А что не понимаю — сам не понимаю.

Кроме эпизодов с ключом и попыткой разрешения арифметических проблем с помощью родителей, были и другие, которые привели Колю к одному простому выводу. Да, я многого не понимаю, признал он. Наверное, ещё больше существует того, что я вообще не способен понять, но подобные эпизоды наводят на ужасную мысль: родители тоже не всё понимают, во всяком случае относительно меня. И, конечно, не потому, что я такой сложный, я не такой и не сложный. Ничего страшного не произошло, когда я признал свою неспособность понимать какие-то вещи. Так почему что-то должно произойти из ряда вон выходящее, если мне вдруг приходится признать, что и родители не всегда могут меня понять и даже не всегда готовы к пониманию?

«Так недолго и сгнуться в просторах — или лабиринтах? — детской психологии, — Николай плавно, но уверенно опустил рычаг стоп-крана поезда оценочных воспоминаний. Приехали! Теперь-то я могу задать себе вопрос: а кто в своё время моему отцу помогал в решении задач по арифметике и, далее, кто помогал в учёбе? Он был четвёртым ребёнком из шести у матери, оставшейся вдовой во время войны. Отцу не исполнилось и восьми лет, когда началась война»

Отец рассказывал Николаю, как шли они летним вечером с братом Митей домой просёлочной дорогой, ноги по щиколотку в мягкой бархатистой пыли. Тихо, вечер тёплый, и разговаривать не хочется. Устали за день. Хозяйство семьи большое, каждый к чему-то приставлен, за что-то отвечает. Птицы, овцы, козы, лошадь, две коровы, телёнок — всем надо задать корму, напоить, прибрать за ними. К этому дети с малых лет приучены. Ещё огород полить успеть, прополоть. А то, что по дому работа не переводится, и говорить нечего. Когда отец, ветеринарный фельдшер, ушёл на фронт, матери пришлось замещать его по работе. Тут и на детей нагрузка прибавилась, не разорваться же ей и по хозяйству успеть, и колхозную скотину не запустить, там прививки, здесь подлечить. Притомились мальцы, да и просто вечернему времени тишина и созерцание свойственны. Шли молча, нога за ногу. И в эту тишину откуда-то сверху ввинтился гул — самолёт! Вот радость, пролетел, да так низко, лётчика рассмотрели — в очках, улыбается. И тут же, гляди-ка, а перед ними по дороге ряд фонтанчиков из пыли — фьють, фьють... Что там? Кинулись, руками шась в пыль, туда, сюда — пуля, да не одна, и все настоящие! А самолёт развернулся и ещё ниже просвистел над головами, и снова подле них, в двух шагах — фонтанчики. Дети быстро в игру включаются, и тут подхватились: а ну, кто быстрее найдёт пулю в пыли?

Николай представил знакомую с детства репродукцию картины Пластова «Фашист пролетел», и впервые подумал: возможно, убитый пастушок так же, как и мальчишки — его будущий отец с братом, — не ожидал никакой опасности от низко летящей невиданной машины.

Близко довелось родителям Николаю увидеть немцев. В деревне, где жила семья его отца, одиноко и стоял каменный дом ветеринарного фельдшера, и, понятное дело, когда немцы пришли, сразу его заметили. Бабушка рассказывала Коле, что тогда произошло.

«Под вечер сидим мы, только-только поужинали. Окно приотворено, Вера у окна. Идут, говорит, к нам идут! Мамочки мои, Царица Небесная! Я, было, вскочила, а дале ни с места, ноги окаменели и лёд ажно до сердца. Тут они входят и, на нас не глядя, будто и нет никого вовсе, ну шарить по сундукам, по углам, под кроватью, везде. Что-то палкой из одежды подхватили, там, сям тычут, чемоданчик патефонный забрали, барометр был ладный такой, мужу ещё царского времени подарок, тоже сняли. В подпол полезли. Довольные, спирта литра два у меня там стояло, я же за фершала была. И вот нашли, гогочут, что-то по-своему буровят. А Вера, как сидит у окна, так и не сдвинется. Она первый год после педучилища в школе работала. Митька-то как раз у неё в классе был, ему-то уж одиннадцать минуло, в третьем али в четвёртом классе должен быть, а он второгодник, да не по разу, вот он с твоим отцом и подровнялся, хоть на три года старше. Вера ему не спускала, а уж он, змей, злился — сестра называется, запилатила, заримизила в школе — и дома спасу нет! И что ты думаешь? Подходит змей к Вере да тихо так говорит: „Ну что, Верка, сейчас всё про тебя им расскажу, отольются тебе мои слёзки“. А та сидит бледная, ни жива, ни мертва, за спиной на окне сумочка

висит, а там комсомольский билет. Сидит она так, сумочку загораживает, ибо ежели найдут немцы билет, как есть убьют. Что от беды отвело — то ли грузовик подъехал, и они высыпали из дому и уехали, то ли они уже на дворе его поджидали, а ушли, как только спирт надыбали, не упомяну».

Змеем дядю Митю звали неспроста. Хитёр был малец, вернее, горазд на затеи сомнительные. Война. А ему что? Он голубятню до войны завёл, бросать что ли? Так и не бросил. Ну, какое сравнение — красавцы летучие, ишь, что выделывают кругами малыми и большими, глаз не оторвать — и куры-дуры? А тут добрые люди объявились, дают голубя за несушку, как не сменять? И менял, пока мать не хватилась, куда куры делись, что ни день, их всё менее. Следствие и расправа у матери коротки, а верёвка пеньковая, что коров привязывают, длинна и тяжела, ей-то змею шкуру и спустила. Ох, влетело Митьке! Вера с работы шла, увидала, бросилась, верёвку у матери насилу вырвала.

Бабушка Николаю об этом тоже рассказывала. «Напорола, а сама в сарай пошла, реву, не могу. И жалко его, змея, и кормить-то их надо, — Алику три, а Валику-то два годка, малые совсем, а я одна...»

Мать Николая в десятилетнем возрасте немцев увидела. Их избу облюбовал штаб, так что пришлось Нюре с братом и мамой к родственникам перейти. Однажды и туда вошли немцы, человек пять, стали располагаться на ночлег. Притащили дров, но не колотых поленьев, как принято у нас, а здоровенных брёвен, и в печь заталкивают. А уже слышали люди, не раз бывало, что торчащее бревно горит, горит, да на пол и опадает, изба загорается, а немцы идут в другую, им-то не жалко. Вот и не спят домочадцы, боятся — и немцев, и сгореть сонными. Видно, напряжение это передалось полугодовой Вале, двоюродной сестре Нюры. Заплакала малютка, не унять. Среди немцев был финн, огромный, рыжий, щетина до глаз, страшный. Достал пистолет — и к люльке. Спать детский плач не даёт, убить готов младенца, и убьёт сейчас. Немец один встал, что-то сказал ему, вроде успокоил. Да ненадолго, опять финн за пистолет схватился. Тут уж мать Вали, тётя Васиша, Василиса, ребёнку укутала, да вон из избы пошла, так в холодной бане до утра и просидела.

Сусанна Сергеевна, бабушка Николая по отцу, закончила два класса церковно-приходской школы, а Евдокия Андреевна, бабушка по матери, та вообще в школе не училась, так что не у кого было родителям Николая спрашивать совета и помощи в решении задачек по арифметике. Бабушка Соня один раз всего и была на собрании в школе. «Слышим, хвалят ребят за успехи в учёбе и примерное поведение, и называют Василия Дементьева. Это кто ж такой, спрашивает соседка? Да кто — Василёк мой, отвечаю. Тьфу ты! — соседка удивилась: Василёк, понятное дело, а тут на тебе Василий!»

Николай перелистывал свои юношеские письма родителям. «А что я, собственно, удивляюсь скудости в изложении событий? Дело, вероятно, не во мне одном. Сколько раз за последние годы я просил отца написать что-нибудь о его детстве, о родственниках, и не три года ждал обещанного, лет пять он меня обнадеживал и только недавно написал. Спасибо, конечно. Да только того ли я ждал? К тем скупым рассказам, которые я ещё в детстве слышал от него и от бабушки, пространное сочинение почти ничего не добавило. Меня интересовали люди, факты, описание места, где прошло детство отца. Его же занимало переживание непростых отношений между ним и моей матерью, сложившихся не так, как ему хотелось бы. Он окунался в толщу коллизий их совместной жизни, раз за разом извлекая случаи расхождения во взглядах, примеры их противоположной реакции на какие-то обстоятельства, уязвившие его самолюбие, саднящее до сих пор. Её уже давно нет на свете, а он продолжает совершать погружения в прошлое, облачившись в скафандр, непроницаемый для какой бы то ни было самокритики, так это выглядело в его записях. Возможно, в глубине души он сознавал, что в тонкой сфере супружеской жизни редко бывает кто-то всегда прав, но написанное не давало повода заметить это осознание. Переживание своей правоты и её виновности вытесняло какие-либо другие воспоминания. Или же на их неразрешимом фоне многое казалось вполне ясным. Так что тогда говорить о ясном — всё, как всегда, как у всех, а детали, да бог с ними, с деталями.

И в целом, очевидно, существуют какие-то труднопреодолимые препятствия для переложения на бумагу увиденного, услышанного и прочувствованного. Облечь в слова письма неуловимый ток жизни всё равно, что создать стихотворный перевод с одного языка на другой — труд невероятный, а результат относительный. Поэтому часто люди ограничивают себя чем-то вроде подстрочника: с языка полнокровных трудов и дней отцеживают нечто, приблизительно передающее впечатление об этой полноте и добавляют какие-то междометия — ахи да охи, и довольно»

Николаю показался уместным образ подстрочника для писем в сравнении с жизнью — поэтическим явлением, трудно переводимым на эпистолярный язык.

«Ты же писал, что у тебя всё нормально, без изменений, и после армии собираешься продолжить учёбу», — говорил отец, огорошенный решением Николая уехать в Канаду. А что ещё мог сын написать родителям, если и сам толком не понимал смысла поступка, который готов был совершить.

Много лет тому назад они сидели друг против друга — отец, только что бурно радовавшийся приезду сына, отслужившего в армии, и сын, набравшийся, наконец, смелости сообщить о намерении эмигрировать.

После недолгого молчания отец спросил: «Один едешь?» «С девушкой, — Николай взглянул на отца, тот кивнул, словно иного не ожидал. — С женой. Ну, мы поженимся сначала, а потом уедем». «И что, кто-то вас там ждёт?» «Там землячество украинское, у Оксаны там родственники, они...» — сын сбивчиво начал отвечать, но отец не ждал ответа, продолжая ряд вопросов, больше смахивающий на взывание к рассудку. «Ты вот армию прошёл, до этого год прожил один в чужом, по сути, городе, хотя и в своей стране — и что, кто-то тебя с распростёртыми объятиями всегда принимал и шёл тебе навстречу по первому зову?»

Отцу не нужны были ответы, да и Николай не спешил отвечать. Ещё не начавшись, его тяготил этот разговор. Иной реакции отца он не ожидал, готовый принять упрёки любой жёсткости. Он понимал, что просто не смог бы поставить родителей перед фактом отъезда, сообщив о нём в письме. В разговоре-то слов нужных не подобрать, а на бумаге и вовсе немислимо. Ну что можно найти в белом клочке пустоты? Оправдания точно не найдёшь.

Отец встал, прошёлся по комнате, постоял у окна и, возвращаясь за стол, походя взъерошил короткие волосы вчерашнего солдата.

Они выпили.

«А ты любишь её?» — неожиданно спросил отец.

Николай опешил: не раз и не два говорил он Оксане о любви. Лицо девушки возникло в его воображении. На этот раз почему-то образ был нерезок. Николай пытался удержать тающий овал лица, вглядываясь в глаза девушки, ища опоры. Зеркало души помутнело, и его втянул тёмный водоворот памяти.

Он стоит на помосте деревянного конусообразного сооружения. Рядом отец, молодой и весёлый, а он, Коля, маленький, не более четырёх лет от роду. Они наверху среди зрителей небольшой арены на городской площади возле рынка. Внутри деревянного конуса сквозь небольшое отверстие с грохотом въезжает мотоциклист. Чёрный шлем, чёрный кожаный костюм и клубы синего дыма ревущей машины. Заворожённый, смотрит Коля на всё ускоряющееся вращение грозного снаряда. Кажется, и этого зрелища достаточно, ибо восторженное удивление переполнило мальчика. Ошеломительная какофония мелькания, хриплого рёва и едкой гари подавляет. Страшно. Вдруг невероятное: мотоциклист ввинтился в круглую деревянную стену цирка и, кружа, взмывает чуть не до самого помоста. Ещё несколько таких витков и мотоцикл взвьётся над городом. Этого не происходит, случается нечто более фантастическое. Закончив винтообразный полёт, мотоциклист глушит мотор, соскакивает и срывает шлем — факелом вспыхивает огненная грива, летят брызги синих молний из-под чёрных бровей, и воздушный поцелуй выпархивает с ярко-красных губ.

Николай не вникал, отчего ему вдруг стало легко. То ли смягчившийся голос отца снял гнетущее напряжение, то ли расслабила водка. «Да люблю ли я её, в самом деле? — он удивился, почему этот простой вопрос не задал себе раньше. — Что же тогда иду незнамо куда, словно вол на поводу? Иду, околдованный прекрасной панночкой, гоголевский Хома Брут...»

Тот короткий вопрос отца неожиданно избавил его от совершения опрометчивого шага, подумал Николай и улыбнулся точно так же, как и тогда. Улыбкой вибрирующей тетивы, выпустившей, наконец, стрелу, улыбкой плеч, скинувших гору, улыбкой утра, в его мудрой простоте. Он радовался возникшей мысли о силе взгляда, вздоха, жеста, паузы, всей той бессловесной силы понимания, доверия, благодарности, замену которой он так и не попытался отыскать в словах для писем родным людям. Теперь он увидел свои неинформативные письма родителям их глазами. Он мог писать им всё, что угодно, хоть расписание поездов Финляндского вокзала или правила поведения в метро — не столь принципиально. Регулярно получаемые белые конверты для них были важным подтверждением его доброго здоровья и бодрости духа.

Проза

Анна и Константин Смородины

Смородины Константин Владимирович (1961 г.р.) и Анна Ивановна (1962 г. р. — 2012 г.) — писатели, публицисты. Выпускники Литературного института им. А.М. Горького. Члены СП России. Лауреаты Государственной премии Республики Мордовия, премии журнала «Москва», православной литературной премии им. св. Александра Невского и др. Авторы книг «Заснеженная Палестина», «В поисках славы», «Ракушка», «О живом и мёртвом», «Полустанок на пути к столице» и др. Публиковались во многих столичных и провинциальных изданиях.

Жениться на поповне

Повесть

Ритка, загорелая и сейчас, в ноябре (она любила искусственный шоколадный загар, да и в Египет моталась не по разу за зиму), плескалась и хохотала у бортика бассейна.

— Там у них горка сделана, водопадик, а под ней — слив мощный. Ну, у меня ласту засосало, я ору дуром. Зулька смеется, а у меня уже ногу тянет. Поддали, естественно, перед тем. Еле спаслась.

Лениво качавшаяся на воде Зуля поощрительно улыбалась. Вспоминали, как делали материал о губернаторше — «доброй бабе» — по характеристике Риты. После отдыхали на губернаторской даче, и вот вышел смешной казус. Говорилось сие не столько для Анюты, крутившейся в колючих струях циркулярного душа, Ритиной одноклассницы, так и оставшейся в орбите удачливой и подбогатевшей подруги, а в открытую дверь, где в комнате отдыха сидели Матвей и Ёжик в ожидании своей очереди на купанье. Девчонки плавали голые.

— Да пусть идут, блин. Церемонные такие. Всю порнуху, небось, в интернете прошарили, а тут неудобно... Пацаны!

— Кончай, Рита. Чего разошлась? Оргий захотелось, матушка? На соленькое потянуло? Может, тебе Пятачка прислать?

Матвей, высокий, сильный, с развернутыми плечами и тоже загорелый, как Рита, весь холеный, в избытке телесной силы, появился на пороге.

Пятачок был мальчишка, обслуживавший бассейн. На самом-то деле ему исполнилось уже двадцать шесть, но весь он был недоросточек, какой-то недокормыш. Жил без родителей, один, в общежитской комнате, кормился тут и работал на зарплату, на которую кроме него вряд ли бы кто и согласился. Отдыхающие его жалели, а он охотно проводил зарядки в воде для тучных теток в безразмерных купальниках и даже по-своему властно запускал группы, одну за другой и позвякивал связкой ключей от шкафчиков с одеждой.

— Ладно, скройся. Вылезаем. У тебя, что, Людка отчетов спрашивает? Так бой-френд — это же не муж, ты ей объясни популярно.

Гладкие, блестящие, подтянутые и довольные собой девчонки не спеша взбирались по лестнице. Ритка постояла на бортике, стряхивая в прозрачную воду бассейна капли с мокрых волос, озабоченно огладила себя и завернулась в махровую простынь. Зуля и Анюта в цветных нарядных халатах уже ждали.

— Девчонки, какие вы роскошные телки. Я б с дорогой душой... Прямо вот сейчас, не сходя с места...

Матвей облапил Зулю с Анюткой и целовал их в мокрые щеки.

— Только вот Ёжика жалею. Ему нельзя теперь.

Ёжик смущенно хихикнул и полез с лестницы. Он был не такой высокий, как Матвей, но тоже крепкий, ладный, какие бывают люди с детства хорошо кормленные и возвращенные внимательно и заботно к своему телу.

— А что произошло? — загалдели девчонки.

— Скажу, а? Не против, Ёжа?

Матвей картинно разбежался и сиганул с края, пересек бассейн, вынырнул, отряхиваясь, как молодой дельфин, и выкрикнул:

— Он ведь женится у нас. На поповне!

— Блин! — выдохнули Анютка и Рита, а Зуля отвернулась и пошла к открытой двери, как будто плеск воды отозвался всплеском досады в душе — она ведь и сама поглядывала в сторону Ёжика, пусть и неопределенно, в нынешнем октябре ей исполнилось двадцать семь, но вот и этот уплыл в направлении загадочной поповны. А вариант был нормальный, необременительный, с перспективной мамой, бизнес-вуменшей.

Классно и душевно сидели и выпивали расслабленно. Рита и Зуля — издатели, держатели и сотрудники женской газеты. Прикрывал их Зулин дядя, богатый татарин, глава издательского дома, пару лет как переехавший в Москву, предварительно обучивший племянницу работать: о ком надо писать, как, чтобы быть всегда гарантированно сытой и одетой. Как выбивать договоры на рекламу, собирая компромат на глав предприятий и фирм. С кем дружить в администрации, а с кем лучше и не поздороваться. В общем, передал бесценный багаж цинизма, но в твердые, надежные руки. Зуля с двоюродной сестрой Ритой в компании дело вела хорошо, ровно. Но даже в родной своей атмосфере (все сидевшие за столом выросли в одном районе и учились в одной школе — с разницей в год или два) она временами чувствовала себя как будто слишком опытной. Не как молодая резвая проститутка, а как прожженная бандерша — это давил дядин опыт.

Анютка по деньгам не совсем вписывалась к ним — парикмахерша. Но — тоже давние детско-юношеские отношения выросли в какое-то подобие слегка снисходительной дружбы. Приглашали ее как правило не за ее счет, ей было дороговато. Но в целом направления жизненных интересов, а следовательно и разговоров — острова, дайвинг, теннис, одежда, шашлыки, бани — совпадали. Иногда она забавно рассказывала о своих клиентках, но ни Рита, ни Зуля не доверяли ей свои стильные шевелюры.

Матвей хороводился с девчонками и Ёжиком с удовольствием, так он и жил, находя прекрасным свое положение сегодняшнего довольства и возможностей. Он работал в местном филиале московской автомобильной фирмы. Зарплату платили владельцы-иностранцы и таким — трезвым, энергичным, с молодой перспективой — особенно хорошую, поощряя премиями. А машины (они продавали растаможенные «Рено», и с наворотами, и подешевле) он любил страстно. В свободное время, быстро изучив ходы-выходы, помогал клиентам оформлять документы. Денежки капали.

А Ёжик-Сережа был отчасти мамин сын, хотя он тоже назывался бизнесмен и менеджер. Но дело, начавшееся с торговли шпротами и нынче развернувшееся во множество отраслей (торговля бухгалтерскими бланками, фотомагазинчики и один модный и представительный салон сувениров, набитый бесполезными в нашем быту азиатскими безделушками) было мамино, и мама, в свои сорок восемь абсолютно молодая, вела всё с азартом и крутилась в том же кругу, что и его сверстники и приятели. Хотя ее отдых был, может, и не таким экстремальным и экстравагантным (на горных лыжах не каталась и в спальнике спать на земле не могла), но это были всё те же бани, шашлыки, бассейны, поездки и, конечно, еда. Одним из развлечений на три последние года стало для нее строительство будущего коттеджа и евроремонт квартир — своей и Ёжиной. Ёжка ездил в командировки по Поволжью, но поскольку делалось это по предварительному маминскому соглашению, да и всё же работала она со старшим поколением, у Ёжика складывалось ощущение, что в бизнесе среди волков есть место и кротким ланям. Даже домашнее имя — Ёжик — прилепилось к нему и стало обиходным для друзей. Машина Ёжика куплена была с помощью Матвея, и вдвоем с приятелем они обкатали ее, гоня по ночным улицам. Ёжик обожал свою первую настоящую, пахнущую внутри дорогой кожей машину, все ее текучие, гладкие, как будто тоже молодые формы.

Ночь текла. Здесь, в трехэтажном пригородном санатории, в комнатах спали отдыхающие. Сейчас, не в сезон много было инвалидов, само скопище которых в одном месте тяжело было и взгляду, и сердцу. И вот так, ночью, веселившаяся компания смотрелась, конечно, диссонансом, вздумай кто-то обнажить санаторный срез. Но «Рябиновая роща» была удобна, и мама Ёжика, и Зуля, и кое-кто из близких и обеспеченных проплачивали в санатории несколько номеров «для гостей».

Купаться же лучше всего было приезжать вот так — по вторникам, в санитарный день, когда Пятачок менял воду.

Они пили martini со льдом, закусывая бутербродами и фруктами.

— Всё, следующий раз ко мне. Квартирник устроим. Кровать жарить будем, — Зуля недавно переехала в приличную квартирешку, расположенную на двух этажах.

— Я сушей желаю. Лучше в бар поедем, — это Рита. — Ой, слушайте. На Новый год гуся надо зажарить, — и она закатилась смехом. — Спонсор один обещал, обещал — я вам, дескать, гуся привезу. Ну мы-то расслабились. Думали, как положено — оципанного и в упаковке. А он на днях заваливает с мешком. Шутник, короче. А может, ему там в публикации что не понравилось. Прикольнуться пожелал. Мешок — хряп, на пол вывернул. А оттуда — гусь. Здоровый гад. Как зашипит, крылья развернул. Да еще перенервничал, видно, в мешке. Как пошел на меня. Клюв — во! Сантиметров тридцать. Наших всех как сдуло из кабинета. Я — на стол, а он наступает. И тут все наши, скоты, с фотоаппаратами. Журналюги хреновы. Я им машу — это ж я, алё! Нет! У них кадр пропадает. Думала — в окно сигану. Законопатили в мешок кое-как. Обещал кормить до Нового года и притащит уже оципанного. Извинялся как настоящий.

Матвей будущего гуся («весь такой зажаристый, с яблоками») одобрил. Аня просто улыбалась, она будет есть, что закажут другие. А Ёжик сидел, глядя в окно, уже заливавшееся молочной мутью ноябрьского рассвета и думал, как он приедет домой и позвонит... И как далеко еще до Рождества... А свадьба только потом... И про Настю... Как она умеет обернуться и посмотреть своими ореховыми глазами, и обольстительно тряхнуть русым хвостом, и улыбнуться вдруг нежно, беззащитно...

— На свадьбу всех приглашаю, — сказал он неожиданно для самого себя.

— Правда — поповна? Она тебя заморит, Ёжа. Будешь тощий — от постов, некрасивый.

— Смирненский такой. Монашек! Ему — по морде. Конкуренты. А он такой — «я выше этого». Nate, ударьте в другую щеку. Тебя мамка из дому выгонит. Содержания лишит.

— Конечно. А на что она его содержать будет? Он всё нищим раздаст. И пойдут вдвоем, с поповной, босиком по морозу, счастливые!

Девчонки развлекались, и только Зуля сказала не без ехидства:

— А что? Прямо любовь? Смотри со скуки не сдохни.

— Ты, Ёжик, не слушай их. Не поддавайся. Будь мужчиной. Решил, значит, решил, — Матвей поднял пузатый низкий бокальчик, призывно трянул ледышками, — давайте выпьем за любовь.

Они все даже поднялись, толкаясь и подшучивая, и выпили до дна. А Ёжик подумал, что скука — это последнее слово, которое можно применить к Насте и открывающейся ему жизни. Ей, выпускнице английской спецшколы, классной волейболистке, книголюбе и острословке, самой скучно не бывало вообще никогда. Он вспомнил свою будущую тещу — матушку с двумя образованиями (искусствоведческим и богословским), оперным голосом и кинематографической внешностью. В юности она заодно с подружкой и почти на спор поступила на курс к Бондарчуку, и как же мэтр сокрушался, когда она попрощалась с кино, что «такие данные» уходят и куда? В церковь! А отец Насти? Батюшка? Бывший моряк и потомственный священник, и родившийся-то в казахстанском бараке, столь энергичный и целеустремленный, что за ним, не успевая, летел подол рясы, когда он торопился на строительство или требы. И старший сын, брат Насти, тоже священник, отслуживший армию и уже народивший с молодой женой троих деток. И всегда — люди, всегда семейное бурление, кипение, суета. То на приходе что-то случилось, то — поездка, то — освящение, то выпуск епархиальной газеты... Бесконечные привечанья гостей, родственников, то моряки — балтийцы или черноморцы навещают, то приедет владыка служить — и тут торжественная служба и застолье... Или Пасха... Когда и ремонт, и огромные службы, и море цветов к Плащанице... И везде нужны руки, и силы, и быстрые ноги, и умная голова... И Россия такая огромная, не исходить, не изъездить святыни, и везде знакомые батюшки и матушки-игуменьи, и архиереи. В диковинку была Сереже, после их с матерью такого, выходит, уединенного, обособленного и получается — одинокого жития вся эта семейственная толкотня, полнота, где семья много шире, чем родственники. Где готовы принять, любить и интересоваться не своим корыстным интересом в тебе, а тобой самим. Кстати, практичность и трезвость в вопросах житейских поначалу даже удивляли Ёжика и никогда не слышал он от отца Геннадия и матушки Галины тех

благоглупостей, которые любят вкладывать в уста духовенства, люди, далекие от церкви. А уж советчика по строительству-ремонту лучше отца Геннадия не сыскать, не один храм поднял из неблагообразных руин.

А разговоры! Чтобы с такой страстью, и чтобы всё живое — книги, история, природа, люди! Чтоб слёзы и радость — всё настоящее! Этого просто не бывает, этого не может быть. Но это есть! И именно через Настю открывается в его, Ёжикову, жизнь. Скука — нечто противоположное, мертвое, сухое, которому нет места в живом, струящемся, разноголосом бытии.

— За любовь!

Рита, прирожденная актриса и признанная «массовица-затейница» в их компании, смахнула притворную слезу:

— Они жили долго и счастливо и умерли в один день. А родственники даже на гробике сэкономили — положили в один.

— А разве в разные лучше?..

Оставили Пятачку деньги за уборку и вышли в студеное промозглое предраассветье. Ёжик быстро развез всех, светофоры еще мигали оранжевым, и город, затянутый снежной моросью, стоял пасмурно и настороженно. Дома он лег, на пару часов можно было уснуть, и провалился в уютное забытие, ибо он был присмотрен, обихожен, мамин сын и совсем скоро Настин муж, и еще он был благополучен, потому что за него молился теперь отец Геннадий, и еще множество людей по монастырям, которые поминают «протоиерея Геннадия со сродниками», а он, выходит, тоже сродник... Наступает сырой рассвет. И там и здесь, в неизвестных весях, поднялись рано-рано, вышли из келий, потянулись в храмы и многие, и многие уделят ему капельку братской любви... Неожиданным, непостижимым образом... И потому он, благополучный, может пока сладко уснуть.

Вообще невероятно и удивительно, как можно жить в одном городе, но в параллельных, никогда не пересекающихся мирах, и вдруг — чиркнет искрой, защелкнет скрепу и ты, как в компьютерной игре, переходишь на другой уровень — повышенной сложности. Но это если примитивно, а на самом деле — иной мир. И вот с этим-то ощущением, что пройти его невозможно, что он богат неисчерпаемо, Ёжик и жил последнее время. Как будто глотнул воздух: «А-ах!» — и не можешь остановить вдох.

А как раз о скуке, смертной тошноте, желании уехать из страны он постоянно слышал в своем привычном кругу. Это его и материнские приятели и подруги мотались по закордону, «страшнейшим образом» работали, называли себя с тайной гордостью — трудоголиками, стремились по тугой спирали — вверх, вверх, вверх... Метались, по-западному дорожа минутами, словно именно тоску желая вытеснить, выжать из своей жизни, серое перекрасить в ярко-пёстрое. Сама суета, снованье, непрерывные сигналы телефонов превращались в цель и смысл, которыми не были — так подспудно ощущал и Ёжик, еще такой молодой, что и самой молодости хватало, чтоб упиваться ею — многое еще было впервые. Но что-то уже маячило, какие-то паузы в душе, задыханья, безвоздушные пространства бытия. О чем-то он догадывался, видя мать в непрерывном желании соответствовать. Чему? Образ идеала в конечном итоге рисовался глянцевыми журналами, как ты ни подсмеивайся и как ты ни делай вид, что не принимаешь эту сокрытую пропаганду всерьез...

Они вместе пили чай в офисном буфете. Мать не побаловала себя ни бутербродом с любимой осетриной, ни пирожными. Она уже втянулась в «кремлёвку» и сбросила за неделю пару почти незаметных глазу килограммов. Зато чай любила дорогой, сорта различала безошибочно и пила сейчас из тонкой белого фарфора чашечки прозрачно-желтый, красивый и на вид напиток. Ёжик прихлебывал матэ. Минувшая ночь давала себя знать, он был вял, как будто плыл в воде.

Мать озабоченно взгляделась в сына.

— Как там со свадьбой решается?

— А что надо решать?

Зинаида Николаевна наклонилась, приблизив к лицу сына — свое, тонко подкрашенное, ухоженное лицо дорогой дамы. Раньше Ёжику материнская внешность нравилась без всяких «но». А теперь вдруг иногда приходила мысль: что если кто-то (не он, нет, совсем не он) скажет, глянув на нее — «Молодящаяся старуха!» Сама возможность этой чужой, оскорбляющей для матери мысли

царапала ему душу. Ему даже хотелось, чтоб она была не покрашена. Но он прекрасно понимал, что это нельзя, это значит даже в такой маленькой детали — выпасть из общего нарядного, достойного строя среднего класса.

— Просто — молодая женщина с молодым человеком! — толстая бухгалтерша из ювелирного магазина, расположенного в цокольном этаже, кивнула, улыбаясь и шествуя к столику у окна со своим чаем и пирожными. Ее фигуре терять было уже нечего.

Зинаида Николаевна приветливо кивнула в ответ, а Ёжик вздохнул: почему раньше это даже нравилось, а теперь колет и раздражает?.. Как мелкая, никому не нужная фальшь. Матушка Галина тоже слегка подводила свои высокие изогнутые брови, одевалась нарядно, но иначе, не по-девичьи, по-женски, что ли... И видя ее прямую величавую осанку, грузную фигуру, голову с высоко заколотыми светло-русыми, почти совсем перешедшими в седину волосами, никому не пришло бы в мысли сказать: «Молодая женщина с молодым человеком». Исходило это не из внешности даже, из сути личности.

Чуткая мать тут же почувствовала мгновенную отстраненность сына и то, что ему почему-то не понравилась реплика бухгалтерши. Она погладила его руку, лаской пытаясь растопить возникшую льдинку. И он тут же поднял взгляд, открыто улыбнулся, ведь они были очень близки, и им почти не приходилось огорчать друг друга по пустякам.

— Две свадьбы придется делать, сынок. Одну — им, одну — нам, — она уже поднималась из-за столика, торопясь, — публика совершенно разная. А своих я не могу не пригласить. Но чтоб их попы уморили — тоже не дело. Скучно чтоб не было. Так что мы со своей стороны «Восьмое чудо света» арендуем. Но ты — ладно, не думай об этом. Я сама.

Опять она о скуке. В одно слово с друзьями. Жалеют его. Ну как же — посты и молитвы. Ёжик махнул рукой матери, она скрылась в дверном проеме.

Может, и ему надо себя пожалеть?.. Он усмехнулся. Они просто не знают. Он уже пережил это, осмыслил, понял. Не только ласковые объятия другого семейственного мира, куда его пускали мужем, сыном, братом, но и жесткую сшибку своей личности, своего хотения с тем высшим «надо», что присутствовало в их мире, что выстраивало и определяло тот загадочный, волшебный, таинственный мир церкви, где не человеческое было главным и диктовало, а другое... Божие — так бы сказала матушка Галина, да и Настя тоже. И поразительно, что при всей их любви и страсти — Божие всё равно было главнее. Он мог бы орать, требовать снизойти к нему, но, если, например, это была Пасхальная ночь, надо было встречать ее в храме, хоть ты упади на пол... И он почти что и упал в первую свою Пасхальную ночь... И вынужден был выходить во двор дышать и глядеть на звезды и сидеть на скамье клироса. А утром, после разговенья, христосования, краткого сна, после того, как Бога встретили и прокричали бесчисленное число раз «Воистину воскресе!», когда воздали хвалу, уже в присутствии воскресшего Бога они все готовы были любить его снова как дорогого сына, и холить, и баловать, и снисходить к недостаткам и проблемам. Ночью у него возникло чувство, что его разлюбили напрочь, даже Настя, украдкой целующая, пожимающая руку, старающаяся подбодрить — не любит, не любит, ибо не готова бросить всё и всех для него. А утром его так с избытком любили, так баловали, так, что это было опять непостижимо, волшебным. Вот эта главная тайна их мира властно влекла его сердце и становилась его тайной через Настину любовь. И всё это было так глобально и здорово оттого, что было вообще... Отсюда и рождалось то удивленно-радостное «А-ах!»... Как будто все они были солдаты или пограничники, и службу нельзя было покинуть ни днем, ни ночью, но и удержаться на этой службе могли они лишь вжимаясь плечами друг в друга, жертвуя друг для друга всем, именно — братья...

С добрым десятком батюшек познакомился Сережа за последние полтора года. С кем-то теснее общался, кого-то наблюдал издали. Понял уже, что все они разные. Вовсе не святые. У него тоже когда-то был этот взгляд на церковных людей: пошел служить — будь святым. А какой там святой отец Вадим? Отец Вадик, как называли его за глаза. Бывший комсомольский деятель, столкнувшийся в юности с рериховцами и от ужаса бежавший в ближайший храм, нынче — протоиерей и ответственный за работу с молодежью в епархии. Он был Настин начальник, и Ежик просто по первости внутренне рот разевал от всей той сутолоки и бестолковой организационной суетни, которую умели устраивать отец Вадим и Настя, проводя всяческие мероприятия. От Владыки доставалось отцу Вадику регулярно, та комсомольская, советская печать — может, она и побледнела и выцвела в

церкви, — но еще присутствовала, и в виде линиялой переводной картинки отпечатывалась на всем, к чему прикасался батюшка.

Другой новый знакомец Ёжика происходил из интеллигентской, профессорской семьи, знал древние языки и увлекался переводами античных авторов, к тому же собирал окаменелости — какие-то миллионолетние аммониты. У него была беда с женой, не пожелавшей разделить судьбу своего супруга, так резко поворотившего из науки в религию, причем ушла она к новому русскому, уведя сыновней-близняшек. Подвыпив, отец Олег рассказывал, как мальчишки сразу же прилипли к «новому папе», потому что у него крутая машина. Идея «накопления денег» как идея реабилитации стояла для отца Олега очень остро, он все мечтал, что труды его будут издаваться и принесут доходы, и он каким-то образом утрет нос так обидевшим его близким, еще обижался он страстно на не востребованность интеллекта и всяческой «учености», и вообще образованных священников, роптал на епархиальное начальство. «Ну а то, что ты служишь? Каждое воскресенье стоишь у Престола, это что? Не искушает?» Наверное, искушало. И в то же время всё обидное и человеческое жило и даже какое-то детское, наивное... Видимо, личность менялась в церкви, но медленно, медленно, особенно после советской, вполне мирской юности. Как не хватало этим батюшкам потомственного семейного священнического служения, даром которого обладал отец Геннадий, будущий Сережин тесть. Без малого родовая нить духовенства в их семье, давшая даже и мучеников, тянулась — шестьсот лет!

Кстати, однажды Сережа попал на семейный скандал, когда отец Геннадий распекал сына, взявшего огромную — по выражению отца Геннадия — ссуду, дабы купить в автосалоне корейскую иномарку. Дело дошло до крика.

— А случись что — кто твоих детей содержать будет?

— Случись что — продам!

— А если там продавать нечего будет? Кучу железа продашь?

Отец Геннадий обернулся к вошедшему Ёжику:

— Как мыслишь, Сергей? — он его величал только так, взросло, строго.

Ёжик замялся:

— Да она дешевенькая...

— Тьфу! Балбесы, прости Господи!.. — вскричал отец Геннадий и выскочил из кухни.

Ёжик с отцом Андреем, Андрюшей, глянули друг на друга и рассмеялись. Машина — сильный соблазн. Это Сережа понимал хорошо. И еще понимал иное, может, подспудно: новое поколение в церкви более светское, что ли, мирское... Иномарка имеет для них куда больший смысл, чем для прежних, крепких, «советских церковников». Матушка Галина, пришедшая в храм в пятнадцать лет, так прямо и поясняла:

— Я пришла в церковь мучеников. Я еще людей застала лично знавших батюшку Иоанна Кронштадтского. Даже старухи прежние — это не нынешнее бабье. То крепкие были, им всем пришлось чем-то жертвовать, чтоб быть в церкви. Они б не отреклись. А сейчас ветер другой подует и выметет, если не всех, то девяносто процентов.

Вот ведь, оказывается, какая церковь! Она не только тебе дает, она у тебя забирает что-то. Хотя бы возможность купить иномарку и не думать совестно об этом: правильно ты сделал, что купил, или уже черту переступил. Ведь в итоге деньги с прихожан соберешь — с мира, не с трубы нефтяной и не из бюджетного кошелька. Н-да! А ведь пример отца Олега наглядно демонстрирует, что и матушки весьма разные встречаются. Для некоторых в этом уже ущемленность есть, когда муж — священник. Так хоть иномаркой замазать. А то — хвостом махнет и останешься — плоть умерщвлять. Так что много всего такого разного за совсем короткий срок увидел Ёжик вблизи.

На день рожденья матушки Галины всяческие духовные люди собрались и шашлык вместо рыбы трескали. Она уж сама плечами пожимала:

— Монахи... Ну, их дело.

С постом вообще интересно. Просто бизнес-приемы и двойные стандарты. Потому что когда отец Вадик на очередной молодежной тусовке (и как раз Успенским постом) за куском колбасы потянулся и на Сережин вопросительный взгляд наткнулся, то ничтоже сумняшеся пояснил: «Пост — сокровенное делание. А как только на людях покажу, что пощусь, так и умер мой пост, мой подвиг!» Крутя, какая-то, честное слово! Ёжик так и Насте сказал:

— Ловчила твой начальник. Не обошел, так объехал. Ему бизнес-проекты осуществлять надо. Настя снисходительно хмыкнула:

— Дитя! Осуществляет! Не беспокойся.

И судя по роскошному кожаному портфелю, с которым отец Вадим навещал чиновников и спонсоров, а также по престижной модели его машины с водителем «дела» двигались успешно.

Вечер, когда происходил тот разговор, был изумительно хорош! Под городом, на турбазе, с воодушевляющим участием епархии и молодежного городского комитета проводили слет бардов и начинающих литераторов. Сидели у костра, тренькали на гитарах, читали стихи. Они с Настей обнялись, смотрели на летящие в небо искры, спаянные родством огня, непроглядной ночной тьмой вокруг, любовью, уже определившейся и названной между ними. Все подпили: и молодежь, и батюшки. Гомонили, выкрикивали вирши, ели походную, с дымком кашу, общались. И тут выяснилось, что обещанная отцом Вадиком машина не прибыла и прибыть, в общем-то, и не намеревалась. А человек пять молоденьких девочек-литераторш были заранее обнадужены в смысле этой машины и само собой обнадужили родителей, что вернутся ночевать домой. Выяснилось это печальное обстоятельство около одиннадцати вечера, и расслабившийся отец Вадим даже обиделся, когда к нему приблизились насчет какой-то машины, когда тут так прекрасно, горит костер, стихи, августовская ночь... Однако девчонкам, не на шутку обеспокоенным, пришлось отыскивать себе провожатых. Как более старшие и опытные отправились и Настя с Сережей, и еще трое подвыпивших поэтов. Они брели по тропе в ночном лесу, спотыкаясь и чуть не падая, а кое-кто, из нетрезво стоявших на ногах, угодил всё же в овраг. Так что на конечную остановку автобуса выползли с моральными и отчасти физическими потерями, но благополучно разъехались по домам.

Кстати, сердиться на отца Вадика было абсолютно бесполезно. Никакое дело, по его мнению, не стоило слишком великих усилий, и подходить ко всему следовало спокойней, по принципу: что Бог даст, то и хорошо. Этот принцип был в своем роде универсальным, и делал фигуру молодежного батюшки еще более колоритной, но в целях личной безопасности следовало в отношениях с увлекающимся отцом Вадиком не попадать в зависимость от этого принципа.

Кто-то попивал, кто-то небрежничал в служении, кто-то был откровенно груб, кто-то грешил приобретательством, — недостатки батюшек были прекрасно и взаимно известны в епархиальном кругу. Но только никто не спешил их снимать и расстригать. Конечно, — недостаток кадров, — так говорил и отец Геннадий. Но еще!.. И это было лично Сережино открытие: церковь принимала всех. В каком-то смысле все были нужны ей. Нет, не то чтобы она подбирала отбросы общества, скорее сформулировать можно было иначе: церковь верила людям. И если какой-нибудь батюшка искренне раскаивался и просил снисхождения, он его получал, и не единожды. Сережа-Сергий хорошо запомнил, как на его вопрос: «А что, все священники действительно верят в Бога?», от отца Геннадия он получил ошеломивший его тогда ответ: «Многие на кормление приходят. А всё же совсем неверующих я в церкви не встречал». И поверить батюшке стоило, ведь служил-то он скоро сорок лет. Как раз именно они с матушкой Галиной вкупе глядели на все происходящее взглядом вовсе не экзальтированным, а трезвым. Знание всего плохого и скверного огорчало их, и — Сергий теперь видел это — доставляло даже боль, но не отвращало и не могло отвлечь от церкви. Церковь — это была большая любовь!

— Желаю быть пусть церковной пылью, но только быть в храме! — говорила матушка Галина о себе.

Святые были для них доступны — с ними можно было разговаривать, знакомиться, выяснять отношения. Все были живы — и поминаемые предки, и все вообще. Под мертвящим налетом скорби прорастали цветы и травы. Да и жить-то можно было большей частью в той, торжествующей, небесной церкви, в славе не нашей истории, а в славе нашей вечности. Это был праздник, который всегда с тобой. Не пошлый, рекламный, извлекаемый из питья лимонада или жевательной резинки, а рождающийся из чувства победы над смертью и причастностью к Победителю и ничем иным.

— Аксиома! — сказала Настя, пожав плечами на его умничанья, — само собой!

И даже самые поверхностные или малосимпатичные из батюшек вызывали порой удивительное чувство. Однажды всегда угрюмый отец Вениамин из центрального собора по-хорошему удивил Сережу. За столом он вдруг рассказал, как его рукополагали, и он целый месяц Великим Постом служил литургию, причем счастлив был еще и тем, что сослужил известному ныне архиерею, и ни-

чего в жизни у него не было значительней и лучше радости того служения и того поста, прозрачного до звона, трудового, голодного, и празднично-легкого, словно поездка на Афон... Незаходимый свет этого высшего счастья освещал такую земную, такую приземленную жизнь.

А насчет скрепы, соединившей их разные миры, то это мамина подруга — Римма Степановна постаралась. Она — организаторша в городском комитете молодежном, и вот приезжал представитель Президента, и в огромном зале отреставрированного недавно театра собирали всякую молодежь, и она просто попросила, чтоб Ёжик сходил — нужно было и количество тоже, и чтоб лица были трезвые, здоровые, и по возможности — веселые. Он тянул с собой и Матвея, но тот дежурил на фирме, и Ёжик чувствовал себя одиноко, потому что все были компаниями: экологи в зеленых футболках, клубы славяно-горицкой борьбы, юные литераторы и барды, и группа «православной молодежи», водительствоваемая отцом Вадимом, в нарядном, красном, пасхальном облачении. И с ним была Настя, высокая, стройная, с русым хвостом и джинсах в обlipку, бойко задававшая чиновникам вопросы, дабы писать что-то отчетное для епархиальной прессы. Она чувствовала себя как рыба в воде, видимо, хорошо знала многих в этом зале, имела опыт предыдущего общения и ничуть не смущалась брэндом «православная молодежь», в котором, как ни крути, чуялось нечто сектантское, узкое, православию не свойственное. И Ёжик от одиночества сначала, а уж потом от внутренней симпатии прилип к их яркой, бросающейся в глаза и уши компании. Еще с ними был Митя. «Баюн» — как окрестил его Сережа, позже узнавший подробно, что Митя оканчивает университет и занимается фольклором и старо-славянским языком, пишет иконы и настолько погружен в историческое прошлое, что, по словам Насти, не сразу и различишь, когда он — «в образе», когда нет. За Митей бродили толпы поклонниц, потому что он был очень положительный и хорошая партия, да к тому же — староста курса, душа вечеринок (хотя сам умудрялся скорее вид делать, что пьет, чем пить). Митя раздавал свои перлы «семя и овамю», щедро делясь с «другами, сестрами и братьями», но отнюдь не торопясь с выбором спутницы жизни. Ходило с ними несколько студентов духовного училища, куда попадали в основном из деревень, малообеспеченные, и уровень грамотности оставлял желать лучшего. Настя усмехалась:

— Как заведут псалмы читать, так слова исковеркают, так смысл искорёжат, просто ругательства получают. И это в храме. Жуть!

Вот так и получилось, что во время кофе-брейков присоединился он к Насте, и на крыльце театра, когда расходились, оказался тоже вместе с ней и пошел ее провожать по улочкам расцветающего майского города, очарованный ее щебетом: она рассказывала о поездках то в Выборг, то на поле Куликово, где собирались люди, увлеченные исторической реконструкцией, а попросту переодевающиеся в костюмы воинов и устраивающие потешные бои. И поскольку это поощрялось как возврат к истокам и благословлялось церковью, она ездила всюду, писала потом об этом, и были всякие курьезы, и трудности, и непогода, и смех... Знакома она была со всякими известными москвичами, но выходило у нее это просто, естественно. Настя умела не унижаться сама, имея достоинство и считая, что вполне в праве подойти и познакомиться с интересующим человеком, дабы задать тот или иной насущный вопрос. Ну и что, если это богослов со всероссийским именем или профессор Московского университета, или маститый журналист. Она пожимала плечами — в ответ на недоумение Ёжика: «А что здесь такого?..» И она была не одна такая. Вот — ее родители, или Митя, или отец Вадим... Как будто целый мир существовал, развертывался, блистал именами именно для них, и на фотографии стоять рядом с Патриархом или с Нобелевским лауреатом — это же вполне, вполне естественно. Глубокая же косность Ёжиковой жизни состояла в том, что он сам не мог прыгнуть со своей ступеньки общественной иерархической лестницы. Все знакомые матери или его друзья тоже стояли на ней — кто чуть выше, кто ступенькой ниже, подпертые скопленной денежкой или отягченные так называемым «общественным весом», а «церковники» были свободны и жили просто как люди среди людей и потому все, в принципе, несмотря на имена или звания, были достижимы. Хотя в серьезной болезни о молитве надо было просить архиерея, его молитва, независимо от его личных качеств, весила по-иному, и в этом присутствовала какая-то другая ценностная иерархия...

Рита воткнула ключ, и они с Зулей вошли. Квартира еще только предполагалась, но уже сейчас было видно, как будет здесь много света и всё современнейшее. Рита наняла приятеля с бригадой,

а приятель был когда-то художник и оформлял детские книги, и даже в московских издательствах. Поскольку художники–москвичи в начале перестройки откачнулись от издательств из-за низких гонораров, то там пригрели провинциалов, счастливых возможностью просто осуществить какие-то проекты в столице. Но время тянулось, кушать надо было, семейные нужды поджимали, и постепенно художник ушел в строительство, но работал с фантазией, планировал оригинально и превратился в неплохо оплачиваемого и работающего со средним классом бригадира-дизайнера.

— Окна, я смотрю, уже поменяли? — Зуля одобрительно покивала, Рита воспользовалась услугами фирмы, которую посоветовала она.

Рабочие на сегодня пошабашили. Было тихо, и в воздухе, окрашенном закатными лучами, стояла цементная пыль.

— Денег уходит пропасть, — Рита постучала костяшками пальцев по оконнице, коснулась лбом холодного стекла и вдруг спросила: — Зуль, а ты как к существованию Бога относишься?

Зуля думала в этот момент о своем бой-френде. Это был красивый малый, игравший в профессиональный футбол. Но после травмы надо было уходить, и Зуля пыталась пристроить его менеджером к знакомым татарам на хладокомбинат. Идея эта осуществлялась тяжело — и он ощущал себя не ко двору, тяготясь совсем иной сферой деятельности и скандала на эту тему с Зулей, и владельцам был особо ни к чему такой строптивый, гонористый, много о себе понимающий парень. Игорь попивал и в состоянии этом зверел, распускал руки. Раньше агрессию он сбрасывал на матчах и тренировках. Надо было расставаться, и было жаль. Это была конкретная беда, а рассуждения о Всевышнем — так величали Творца знакомые и родственники татары — отдавали схоластикой и были никак не применимы в повседневной жизни.

— Я Его не трогаю, и Он меня пусть не касается. А тебе-то что? Паранджа сейчас в моде. И это даже хороший прием. Надо обдумать и, может, взять на вооружение. Я прихожу в организацию: не хотите ли контракт на рекламу с нашим изданием заключить? Ах, не хотите? И тут ты входишь — вся в парандже и бронежилете. И как закричишь: «Джихад!» И трусливый гяур потной рукой подписывает договор.

Они обе посмеялись, но Рита как-то вынужденно и спросила упрямо:

— А чё ж тогда все с ума сходят?..

— Работать не хотят. Гордые сильно — Бога им подавай, с небесами разговаривать. На меньшее не согласны, — Зуля сказала убежденно, вылив горечь, предназначенную Игорю, — а что случилось-то?

— Мама всё болеет. В мечети молились уже. Может, Ёжику позвонить с его поповной? Вреда ведь от свечки не будет, а, Зуль? Операция скоро.

— Давай, звони, — снисходительно–милосердно кивнула головой начальница и старшая родственница, — и вот что, слушай! — она остановилась на пороге, осененная доброй мыслью, — пусть там за Игоря закажут, что полагается. Свечу там подороже и всё... Тем более — он чистокровный русак... Не повредит, а?

Зуля подмигнула Рите, бывшей в курсе проблематичной любовной ситуации. Рита качнула головой радостно и уверенно. А Зулю вдруг посетила надежда и обдало теплом, как бывало год назад, когда он еще не уходил из команды, а она приезжала на стадион к концу тренировок. Возлюбленный появлялся с волосами мокрыми после душа, такой красивый и веселый, что девчонки на улице у Дворца спорта оборачивались, и бежал к ней. Нет, расставаться определенно было жаль...

На эту поездку уговорила их матушка Галина. Вернее, Надя-то была заранее согласна, но и ей, и Ёжику не хотелось расставаться, к тому же он стал как-то страстно, обжигающе ревновать ее — и даже не столько к соперникам, сколько к разговорам (телефон обожала и спать ложилась с трубкой), поездкам, отцу Вадиму, студентам–семинаристам, жесточе всего — к Мите, к бесконечным и бесчисленным друзьям, к родителям, книгам и церковным службам. Он томился, он ждал, а она вечно летела куда-то, всё бывала занята, носилась с молодыми литераторами, пьющими и худосочными, влюблялась в их стихи и рассказы, читала им свои творенья. А может, в кого-то влюблялась?.. Мало ей было комплиментов Ёжика. А Сережа оказался занят меньше, это было даже странно для бизнесмена, можно было тоже ездить в боулинг или на шашлыки, развлекаться, но всё казалось пресным — звезды рассыпались там, в Настинной жизни. И он часами просиживал

в выходные на скамье у храма, изредка суя нос в царство золота и свечей, где на два голоса она и матушка Галина выводили «Господи, помилуй!»

Именно матушка пообещала, что они будут в относительном уединении — на переднем сиденье «газели» и что всё, что они увидят, и будет истинная Россия. Шёл август, жара спала, и приходская группа под водительством матушки отправилась в паломничество.

К счастью, он не был всё же один мужчина в их компании. Естественно, наличествовал водитель, разбитной, бойкий, неустрашимый на дороге молодой мужик к тридцати и совсем юный мальчишка-алтарник, его Сережа видел пару раз и раньше...

Шок был острый и резкий. Потому что женщины, с которыми они путешествовали, наверное, были хорошие и добрые, и душевные. Но это был тот общественный слой, где он никогда, никогда не жил, не находился и не желал там пребывать. Что-то глубоко маргинальное чудилось ему в этих долгих подолах, тапочках на носки или туфлях без признаков каблучков, в этих невзрачных, часто болезненных или скорбных, без признаков косметики лицах. Как будто собрались неудачники, бедные, едут гуртом с делегацией к Хозяину — милостыньки просить. И он! Молодой, перспективный, энергичный, у которого всё «хоккей» — едет с ними! А вдруг кто-то знакомый увидит! Ёжик весь внутренне сжимался: не хочу! Не хочу! И вот как встало это «не хочу!» у него поперек души, так и мешала ему эта преграда, этот внутренний забор увидеть, может быть, что-то главное. Всё, всё было в трудность ему. И то, что куска нельзя проглотить одному — все вместе, в паломничестве правило железное, и только благословившись, расположившись на остановке где-нибудь в лесу. Матушка (мать-командирша) запевала молитву, а у него всё ухало вниз. Им-то привычно, а ему каково? Смирись, смирись хоть на три дня, а в душе вопрошалось, а дальше? Настя ведь — плоть от плоти. Хватит ли его любви, чтоб растопить собственное сердце?

Одно он понял твердо: паломничество это не внешнее, а шаги внутрь себя. И что же он обнаруживает внутри? Радость от близости любимой? От гаснущего закатного летнего тепла, от раскинувшихся глухотных лесов окрест дороги, от этого дивного простора Оки — самой русской, благодатной из всех рек, по словам матушки Галины? Нет! Сквозь поверхностную любовь, тоненькую, реденькую любвишку он добрался до залежей раздраженья, неприятия, какого-то детского отчаяния и скверно воняющей злобы. Ему стало плохо от самого себя! Таким, какой он есть, он быть не хочет!

Казалось бы, что ему до этого понятия не имеющего о фитнесе бабья? До их тапок, жилеток и головных платков? Но он был зависим, страшно зависим от них. Пусть механически, пусть мимо воли, но с ними. (Подумалось: хорошо, что мать не поехала, она бы не вынесла такого отсутствия респектабельности, такого отсутствия внешнего и душевного комфорта). И это была Церковь, только не в ее славе, роскоши и золоте, а в ореоле какого-то ужасающего беславия, мирского уничтожения...

Толпа нищих, оцепила паломников, чуть только они подъехали к воротам монастыря... Раньше он проходил мимо, а теперь-то обязан был пройти сквозь эту настырную, жадную, попрошайную толпу. И это было так трудно душевно, что он на каждом шаге жалел, что поехал. Именно после той памятной, так больно и остро, поездки он поторопился с покупкой новой машины. Потому что вдвоем с Настей готов он был хоть на край света. Но только вдвоем... Пусть по монастырям и ветшающим достопримечательностям, но — комфортно, престижно, респектабельно. Чтoб — не от бедности туда и несчастья, а по свободной воле... Но уже тогда, тогда понял он, что что-то совершилось у него внутри, и будь у него духовник, он бы узнал название этого трудного жизненного момента, этого саморазоблачительного анализа: начало покаяния.

— Эти три дня — чистое золото! — так сказала о поездке после их возвращения матушка Галина, и дочка согласно кивнула головой.

Еще бы — срединная, святая, прекрасная Русь. Да, это было так: дни горели червонным золотом. Но он расшибался об это золото своей слишком глупой головой, своим ничтожным, не умеющим вместить в себя красоту и величие сердцем. С тех пор он совершенно перестал выносить «благостненькие», старушечьи, вокругцерковные, сладенькие до отвращения разговоры, то и дело долетавшие до ушей. Складывалось впечатление, что старухи хлебали благодать вместе с постным супом полными ложками. А он уже хорошо ощутил, как горька благодать. Чуть где повеет в далеком далеке — бежать хочется, потому что жжет! Вот тебе и «чистое золото». Золото, может, и чистое — по-

суда душевная грязная. Как мало может вместить мелкая душа! И насколько выше, чище, способней к восприятию благодати отец Геннадий, матушка Галина, девица Анастасия... Человеческие шероховатости и слабости были ничто перед их церковностью, которую они получили по наследству, законно, правомерно, и несли бережно, охраняя и дорожа. И отец Вадим, над которым привыкли подсмеиваться, и Митя, и даже малое стадо этих церковных теток, столь обременительных ему... Они куда-то были вписаны, а он — нет... Это он своим присутствием вносил фальшивую ноту, он мог испачкать Настю...

Раньше он усмеялся, когда говорили в их семье о ком-то: «Этот человек — поллитровая банка. В него три литра никак не вместятся!» Это он, Ёжик, был поллитровой банкой. В него не могло вместиться ничего доброго. А то, что помещалось, поднимало со дна такую муть, что его же самого и тошнило.

— Что с тобой? — Настя погладила по руке, прильнула, положив голову ему на плечо. «Газель» неслась в сумерках: и горе вдруг сменилось счастьем — подобного путешествия может и никогда больше не случится в моей жизни, но ты, ты — моя любовь, ты будешь со мной всегда!

Ёжик устал и переполнился за три дня путешествия всклень. Монастыри, храмы, жития святых перетряхивались в калейдоскопе впечатлений. Ничего-то он не знал толком, ни о ком не слышал.

— Этого невозможно не знать! — вскрикивала матушка Галина, с сожалением оглядывая их такую серую во всех смыслах толпу. А он не знал, и это тоже как-то ущемляло его, почему-то он считал себя образованным после своего экономического факультета. Не знал о князе, собравшем и вдохновившем собою Северную Русь, и преданном ближайшим окружением. Не знал о русской святой жене, кормившей голодных лебядным хлебом в лета лихолетья, но отчего-то хлеб тот был сладок и насыщал.

— И замужем была, и Богу угодила, — со значительным вздохом произнесла матушка.

Ничего не слышал Ёжик о туманной пелене, укрывшей по молитвам другой святой, монастырские стены от наглых завоевательских очей. И все эти сведения, и знания не то что подбадривали его, а как будто напротив — уничижали, обнажая ничтожество его надутой личности, задавая иной масштаб миру. Он всё это принял на свой счет. Вся эта святость и отечественная история адресовались лично ему. Как будто лопнул радужный пузырь, и может, оно и к лучшему, а только надо это пережить, переболеть, зализать душевную рану, укрывшись в надежной берлоге. Даже с Настей не мог он разговаривать об этом, а она, наверное, не понимала, заглядывала в глаза, лаская украдкой, балуя вкусным куском...

По возвращении Ёжик вызвонил Матвея, и они напились так, что на следующий день продрали глаза только к полудню.

— Я — не человек, — орал Ёжик, пьянея, — и ты — не человек, — он тыкал Матвея кулаком в плечо. — А он — человек. Предали и убили! — так вспоминалось ему в угарном бреду о великом князе, воителе и созидателе.

Назавтра болела голова, но в душе было тихо-тихо, как будто там лежал белый саван. «Неужели меня можно любить?» — подумал Ёжик и набрал заветный номер.

— Настенька! — сказал-вопросил он, и уже по ее дыханью, по ее ответному: «А ты где?», понял, что любим, и что ему необходимо увидеть ее сию секунду. Он проводил Матвея и понесся к ней, и скоро они уже сидели за кухонным столом в ее родительском доме, пили чай и смотрели в глаза друг другу. Потом включили комп и перебирали фотографии поездки. Освещенная августовским солнцем летопись путешествия получилась удачной. Ёжик, сам сделавший большинство снимков, был заодно доволен и собой, и он с Настей то и дело тыкали друг друга в бока, хохотали и вопили, натываясь на особо выразительные, трогательные или смешные моменты. И повсюду была Настя: то задравшая голову, дабы охватить взглядом высоченную колокольню, то оголодавшая и откусывающая сразу половину ягодного пирога, то по-богатырски приложившая руку козырьком ко лбу и оглядывающая родные просторы, но главное — она сидела рядом с ним, живая и здоровая. Потом они поехали в кафе и наслаждались горячим шоколадом: ели ложечками густой, терпко пахнущий, перебивая сладость холодной водой, поданной в высоких, узких стаканах. Центральная улица за окном была причудливо освещена, с деревьев свешивались гроздья цветных огоньков, радужно сиял и переливался искусственный мир. «Город всё время движется, — подумал Ёжик, — и чтобы не

выпасть, и не опоздать, в его топку всё время надо подкидывать деньги. И только тогда будет чувство, что всё это твое — завлекательные витрины, нарядные улицы, гладкий, струящийся поток машин».

— А хорошо, что есть деньги! — сказал он вслух и смутился, что Настя поймет неправильно — как хвастовство.

— Отлично, — сказала она, сдувая со лба челку, — потому что я ужасно корыстная и уже продумала, что из мебели придется поменять...

Настя, сидя за кухонным столом и попивая кофе, внимательным взглядом следила за поспешными действиями матери. Матушка Галина отмывала посуду. Наконец поставила последнюю тарелку на сушилку — «Уф!» — и присела рядом с дочерью.

— Мам, а почему отец никогда не моет посуду?

Они все трое (отец Андрей жил с семьей в райцентре, где, по распоряжению архиерея, и служил) недавно возвратились с воскресной службы, после которой правились еще панихиды и молебны, устали и пообедали на скорую руку — пельменями. Отец Геннадий сразу лег, а женщины заканчивали хозяйственные хлопоты.

— Да! — требовательно продолжала Настя, — пришли вы их храма одновременно. Ты устала не меньше. Так — почему?

— Потому что он только что держал в руках Чашу. Поняла?

— Вот поэтому-то я и не могла бы выйти замуж за священника. Цыкнет он на тебя в храме: не так поешь, то длинно, то коротко, — а ты ему на «вы»... Простите, батюшка. Вот и весь сказ. А если мне самой крикнуть захочется, а? А тут — священник, сан и всё такое. Вроде не на него крикну, а на святое.

— Кто это тут на кого кричать собрался? Ты, Анастасия? — в дверях появился отец Геннадий, — он ведь неплохой, Сергей твой. Только я тебя прошу, я тебя прошу, Анастасия! Не выкидывай коники! Будь уважительна к мужу. Будь уважительна, тем более он нецерковный человек, он до бесконечности терпеть не будет.

— Обрадовались, что спихиваете? — то ли в шутку, то ли нажимая какие-то заветные нотки, спросила Настя.

— Дурочка. Мы ведь в мир тебя отдаем, из церкви. Сергей твой хороший, домашний, что немало важно — обеспеченный. Но какой он на самом деле — это большой вопрос, и от тебя тут немало зависит — что наружу вылезет...

Настя посмотрела на родителей — вот, счастливые. «Раздели моё священство», — сказал отец матери много, много лет назад. И она с готовностью, радостью, самоотвержением разделила, тем более что и мужа ей, выходит, дала церковь. Постарели, вдруг с болью заметила Настя, а отцовский облик стал как-то тоньше, нежнее, отстраненнее, как будто истаивая, и мама уже не та красавица, что прежде, даже и голос-то ее весь изработан, отдан, допевает остатками. Жалко сделалось скорее не их, себя. А вдруг рухнет эта опора, вежа, и не будет надежного приюта, потому что физически не станет их на земле? Она даже головой встряхнула: когда-нибудь после, потом, через тысячу лет, и не с ней это случится, чтоб родительские гробы... Потому что она просто умрет на пороге... И Настя кинулась обнимать, целовать их, тормошить, и они обе с мамой заплакали, и в уголках отцовских глаз тоже стояли нескатившиеся слезы.

В открытую дверь храма клубами валил морозный воздух. «Едут!» — крикнул кто-то, и все сгрудились ко входу. Пронесли большие старинные иконы, поспешно прошел отец Геннадий. «Сейчас благословлять!» — прошелестели в толпе. Все смотрели в заиндеветые окна, наклоняясь, шурша целлофаном роскошных букетов. Там, во дворе, близ шикарного свадебного лимузина, что-то происходило. Потом распахнулись обе дверные створки, и жених внес на руках невесту. Началось венчание.

— Прическу Вероника делала. Видишь, как пряди заколоты, ее стиль, — Анюта шептала в ухо кивавшей Рите.

Они стояли кучкой, чуть поодаль от других гостей: Зуля с Игорем, Матвей, Рита и Анюта. Девушки все в нарядных, наброшенных на прически шарфах и косынках, а потому и сами какие-то

приподнято—необычные, молодые люди в костюмах и галстуках. Вообще всё было богато, роскошно. Новенький храм сиял свежей позолотой, тяжелые, дорогие облачения тускло блистали, гости одеты были нарядно, но как-то не легкомысленно—современно, а основательно, со вкусом — в дорогой материи юбках и платьях, в украшениях и шарфах — в тон, матушки — в сияющих классических «лодочках». Такая одежда покупается, когда нет возможности следить за переменчивой модой, зато несколько лет она остается применимой.

Венчал отец Вадим. Пел мужской семинарский хор.

— Куда, куда побежал? Разве можно? — это матушка Галина перехватила мальчика—служку, побежавшего — и как раз на чтении Евангелия — поправить свечи.

— Крестись! — внятно сказала Настя жениху, когда их подвели поклониться иконам Спасителя и Богородицы.

Зинаида Николаевна, стоявшая в первом ряду, тоже в нарядном, специально пошитом костюме и прозрачном шарфе, вздрогнула и вздохнула: Настя, теперь уже жена, указывала ее сыну, как следует поступать. Что-то дальше будет? Вон у нее и мать какая — пассионарная, энергичная... Хотя на простеленный рушник молодые ступили одновременно.

Гости двинулись поздравлять. Сначала родители — обнимали и целовали, обмякая белую пышную юбку, невесту. Она склонялась красиво убранный головой, в ответ обнимала, благодарила, называя мужу тех, кого он не знал. Сережа—Ёжик, тоже весь с иголки, обнимал, жал руки, принимал букеты, не уместившиеся в руках Насти. Мерцали фотовспышки, торопя запечатлеть момент полноты еще как бы нераспечатанного счастья.

Наконец, в суете, толчее двинулись в зал на второй этаж, где парадно, покоем стояли накрытые столы. Митя, только что несший над невестой венец, когда трижды молодые обходили вокруг аналоя, еще переживал в себе ответственность прошедшей минуты: тяжелый венец надо было держать аккуратно, не разрушив прически и укрепленной на ней фаты и, шагая, не наступить на пышный подол платья.

— А теперь попросим невесту по традиции бросить в сторону присутствующих девушек букет.

В ответ на эти слова тамады (кстати, тоже батюшки) Настя от груди бросила букет — туго спеленутые в кружевную бумагу белые розы на коротких стеблях. Неожиданно для себя его поймала Зуля. И при всей своей заматерелости смутилась, беспомощно оглянувшись на Игоря и друзей.

— Ну, хорошие, теперь не отвертитесь! — засмеялся Матвей, обнимая их обоих и подталкивая друг к другу и одновременно оборачиваясь к Рите: — Что ж ты не ловила, дорогуша? Знать, не любишь?..

— Тебя пожалела, — отбрехнулась Рита, — тебя б тогда в тюрьму посадили. Как двоеженца.

Гости рассаживались. Митя как свой здесь, в семинарии, помогал, знакомился, шутил, провожал за стол. Одеты в глухо застегнутые тужурки мальчики—семинаристы носили блюда. Зазвучали тосты. На слайдах демонстрировали присутствующим детско-юношеские годы невесты и жениха. Тамада комментировал с веселой нотой. Но собравшаяся компания удивительна была тем, что не особо-то и нуждалась в услугах тамады — все здесь были говоруны и певуны. Пели батюшки — итальянские арии и русские народные песни, пели матушки, возглашали здравицы и многолетия молодым и их почтенным родителям.

— Я был начальник Насти. А нынче уже нет, — так начал свое приветственное слово отец Вадим.

— Слава Богу, — то ли в шутку, то ли всерьез сказала Настя и перекрестилась.

— Да, нынче ей муж — начальник, — продолжил, ничуть не смутившись, отец Вадим.

На Зинаиду Николаевну снизошло душевное довольство, и не столько от всех этих говорившихся здесь несовременных, но таких по сути своей правильных слов, сколько от какой-то забрезжившей, открывающейся возможности счастья для ее сына. И именно — с этой Настей из этой удивительной семьи духовенства. Счастья, в которое сама Зинаида Николаевна давно не верила, которое было совершенно неактуально и абсолютно невозможно. Или всё—таки оно возможно в наше несчастливое, неприспособленное к счастью время? К извлечению прибыли приспособленное, а к извлечению счастья — нет...

— Слово дедушке жениха!

Зинаида Николаевна встревожилась — родители ее, дедушка и бабушка Ёжика, были и так на

слезе. Но Николай Петрович поднялся бодро, поднял бокал и сказал то, что думала, но не могла бы сказать она сама:

— Он у нас один. Один сын, один внук. Дорогой и любимый, — добавил Николай Петрович и всё же заплакал, и как-то слегка неловко поклонился: — любите его. Молодым и родителям их — здоровья!

Хорошо здесь было, в семинарском воздухе, в близости храма, потому, наверное, и слова звучали иначе. Не пошлые, не хохмы потешные, дабы прикольнуться, а настоящие — от души, от свадебной веселости и от свадебной печали, потому что они неразлучны.

Ели, пили, поздравляли, а уж перепели всего. Молодежь плясала, захватив в свой круг жениха и невесту, и семинаристов, сбросивших свою застегнутую чопорность, и скакавших вполне молодёжно.

Обносили тортом, мороженым. Из электрических самоваров наливали кипяток. Вволю добавляли ликеров. Так что не только усы на свадебном пиру подмочили, но и бороды изрядно...

Начинали расходиться. А январское небо всё было усыпано звездами. Мороз остудил разгоряченные лица, сразу студеными щупальцами полез в рукава и под полы дубленок и шуб. Скрипел свежий, жесткий, твердый снег. Зуля задрала голову: там, на втором этаже, в свете электричества еще гомонила свадьба. Духовенство было крепким сословием, в смысле посидеть за столом, выпить, поговорить и спеть.

— Давай, спрячу, — Игорь вынул из ее рук сразу залубеневший на морозе букет, сунул в отпахнутый ворот дубленки, наклонился к девичьему лицу. Сумерки скрыли, сгладили жесткость черт, добавили невинности взгляду, как будто смыли налет циничного житейского опыта.

— И у нас будет такая свадьба! — сказал Игорь, нежно глядя ее лицо.

— Такой не будет! — она отвернулась и быстро пошла к машине.

Рита, выскочившая следом на крыльцо, успела спросить в спину Игорю:

— Чего это она? — и уже обернувшись к Матвею и Анюте, добавила: — А мне поповская гулянка понравилась! Всё одно и то же везде, а у них весело было. Я прям не ожидала.

— Я пельмени люблю домашние, — сказал Ёжик.

— Честно? — привстала на локте Настя. — А я завтра лепить собиралась.

Они оба валялись на широкой тахте, по обе стороны которой нежным, расплавленным светом горели бра. На маленьком столике стояло открытое вино и в вазочке конфеты в золотых обертках. И в пузатой бутылке целый ворох еще свадебных роз. За окном густел синевый вечер, переходящий в ночь.

— Я розы обожаю, — сказала Настя и погладила Ёжика по плечу. Неужели это действительно ее муж — симпатичный парень, бизнесмен и к тому же полюбивший её, Настю? В этом, вроде бы, не было ничего невероятного. Она была хороша собой, так говорили все вокруг. Образованна и начитана. У нее были достойные, самые лучшие на свете родители. И всё же! Это было совершенно, абсолютно невероятно, что Ёжик — ее муж, и к тому счастливый, счастливый, как и она сама.

Как будто подслушав ее мысли, Ёжик обнял её и сказал:

— А я обожаю розы дарить!

— Кому это ты их дарил?

— Кому, кому? Маме!

— Ах, маме, — смеясь, протянула Настя. — Тогда — амнистия.

Разговор был похож на игру, из которой выяснялось полное совпадение вкусов молодых супругов.

— Я обожаю слушать, как ты читаешь вслух, — сказал Ёжик, устраиваясь поуютней, накрывая их обоих ярким, пушистым пледом.

— А я обожаю тебе читать вслух! — ответила Настя и потянулась к книжке, валявшейся с ними тут же, на тахте. Книга была детская, цветная и рассказывала сказочную историю про удивительных существ, сумевших создать себе теплый, гостеприимный, поделчивый с другими мир. Всё было как живое: Муми-мама варила какао, а Муми-папа сидел в мансарде, увитой плющом, и писал мемуары, их сын играл со шляпой волшебника, благоухали цветы, пахло поджаристыми оладьями... Подлинная любовь обитала под крышей выдуманного дома. А у них с Ёжиком всё будет настоящим!

— Здорово, правда? — дочитав главу, Настя захлопнула книжку.

— Ага, — прошептал Ёжик, глядя на нее.

— А еще я загорать обожаю и плавать, — по-кошачьи потянулась Настя.

— А я тебя обожаю, Настюха! Без дураков... А насчет плавать... Это мы запросто устроим. Завтра вторник как раз, поедем в гости к Пятачку.

— Винни, Винни! Ты меня совсем задавил, — пропищала Настя Пятачковым, мультфильмовым голосом, — ты ел слишком много сгущенки!

Детская книга упала на пол, целомудренно прикрывая обложкой свои сказочные страницы.

Чистейшая вода плескалась в бортики бассейна. Сегодня весь день Пятачок мыл и чистил стены и дно, а потом около трех часов наполнял чашу. На голубом кафеле выложены были узоры в виде волн, а на центральной стене — целая картина дельфиновой жизни. Окна под самым потолком были чуть приоткрыты, раз в неделю полагалось проветривать.

Настя и Ёжик вдоволь наплавались, набултыхались и наплюхались, сигая с бортика и лесенок. Это была такая радость, раскрепощенность для тела, отвыкшего зимой от летней свободы, вот так — раскрылить руки и рухнуть в тучу брызг, и проплыть от края до края. Или, покачиваясь на спине, отдыхать, улавливая легкое движение, перетекание воды, глядя бездумно в белый потолок с рядами матовых светильников. И ничего не хочется замечать и вмещать постороннего в своем телесном эгоизме и отдыхе. А вот Настя заметила, и они даже впервые слегка ну не то чтобы поссорились, а просто — размолвка минутная, тень набежала... Из-за Пятачка. Как-то сразу она его уловила — и неприкаянность, и сиротство угадала, и застыдилась себя в своем счастье, понимая, что у этого явно нездорового, пригретого здесь из милости паренька никогда не будет в жизни того, что есть у нее.

— Ты видел кеды его драные? — спросила она неожиданно, располагаясь в кресле комнаты отдыха и готовясь пить фирменный здешний, духовитый, на травах чай.

— А что? — Ёжик пожал плечами.

— А то, что на его зарплату не то, что кеды. Хлеба не купишь.

— Он ест здесь!

— Шиш он тебе ест. Все эти санаторские котлеты сосчитаны. Суп достается, это да. И каша иногда, с завтрака.

— Откуда ты это знаешь? — нахмурился Ёжик.

— Боже мой! Откуда? А то сложно узнать. Расспросила, пока ты переодевался. Он здесь тыщу восемьсот получает, между прочим. Можно жить?

— Пока такие, как он соглашаются получать эту зарплату, ее и платят. А вот не нашлось бы никого на нее — тогда и зарплат бы таких не было, — Ёжик всего лишь повторил то, что неоднократно слышал от матери на свои собственные, наивные, как он теперь полагал вопросы. Он привык считать такое объяснение достаточным и умным.

— Ты что? — вдруг ошетибилась Настя, — выходит, Пятачок сам же и виноват. И такие, как он. Ты что? Людей не видишь? Да ты знаешь, сколько вокруг несчастных и больных! Да ты понимаешь, обстоятельства какие могут быть? Так зажмет, что не пикнешь! Или ты думаешь, что ты навеки благополучный? Или вы с мамой считаете, что вы такие умники-разумники своими трудами всё и заработали? Это Бог дал, понял? А если б не дал — то хоть лоб разбей...

Только что она почти кричала, но сразу сникла, осеклась, заглянула в глаза, приласкалась:

— Сереженька, ты же такой добрый! Давай ему кроссовки мои подарим. И пир устроим, ладно?..

И они оставили большую коробку, где еще имелось довольно деликатесов — икра и увесистый кус семги, и вареные креветки, и копченая колбаса, и сыр с плесенью, особенно любимый Ёжиком. Сами они, конечно, тоже отведали всего. Еще бы! Наплавались, нагуляли аппетит. Тем более, воцарился мир и сознание того, что они — хорошие, добрые и поступают правильно, хорошо, что они любят людей и помогают им в их бедах. Ореховый торт сначала хотели оставить целиком, но потом не удержались, очень уж он дивно пах. Отрезали по кусочку, потом еще по кусочку. И всё-таки Пятачку уделили почти половину.

Под утро, уходя, они оставили посреди комнаты на полу Настины совсем новые фирменные кроссовки, тридцать восьмого размера — как раз по Петькиной почти детской ноге. А еще Настя тайком засунула в правую свернутую пятисотку. Радовать так радовать!

Дремлющего в подсобке Пятачка пришлось растолкать, но и время подходило к шести: вот-вот побегут самые шустрые отдыхающие с утра пораньше купаться.

— Там в комнате, — сказала Настя, — это мы не забыли. Это тебе.

В машине по дороге домой она дремала, привалившись к плечу супруга, и думала, что добрыми быть приятно, тем более, когда это так легко. А что касается счастья, то его не надо скрывать. Верней, его ведь не скроешь. А пусть оно будет лучше немножко и для других людей. Потому что оно — как вода: выплескивается через край...

Наступил и прошел метельный февраль. С поездкой медового месяца не получилось из-за дел Ёжика. Зинаида Николаевна открывала новые филиалы и приходилось больше участвовать, ездить на точки, контролировать, выяснять. Вечером он летел домой, где неизменно его встречала «Муми-Настя», как он в шутку звал ее, потому что у них тоже было уютно и пахло вкусной едой. Заезжал в гости Матвей. И в тайне гордясь, Сережа наблюдал, как его жена играет роль хозяйки: угощает ужином и чаем. «Какая она красивая, стройная! — думал он, перебирая знакомых девчонок: — Нет, определенно красивее всех!» Вон и Матвей глаз не сводит.

— А ты что, дома так и сидишь целыми днями? — как раз вопрошал Матвей.

— Так и сию. Книжки читаю. А куда ходить?

Наверное, по контрасту с незамужней беготней Настя и правда как будто с наслаждением окунулась в домашнее хозяйство: пекла и убирала, накупив себе нарядных фартуков. Только поездки к родителям да воскресные походы в церковь остались в ее новой жизни. С работой она пока не определилась, радуясь этой счастливой женской свободе...

Прошла Масленица. Отъели блины, находились в гости: то к теще, то к свекрови. В Прощеное воскресенье, вечером, она подошла серьезная и сказала:

— Послушай меня, Ёжик! — потом поклонилась и, строго глядя ему в лицо, произнесла: — Прости меня!

Он ответил, смутясь и еще как бы в шутку:

— Заранее тебе всё простил, дорогая.

— Нет, не так! — нахмурилась она и подсказала: — Бог простит!

— Бог простит, Настюша. И ты меня прости, — и он тоже попытался склониться перед ней.

Вроде и не они это были, а старинные образы мужа и жены, которым они попытались на миг соответствовать. И это снова был шаг в тот таинственный церковный мир, предполагающий в них способность перерастать сиюминутное и самих себя.

— А с завтрашнего дня, Ёжичек, ты только рыбу будешь есть, а я эту неделю ничего не стану, — вздохнув, сказала Настя. — Пост, милый.

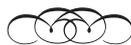
— О-о! — простонал он.

— Да, и ко мне ближе, чем на два метра тоже не приближайся. Пост!

— У-у! — заныл он, — я согласен без рыбы. Только не без тебя!

— Нельзя, — сказала она. — А теперь заговляться!

Нет, соскучиться с ней было невозможно. Потому что праздник приходит только после поста — это Ёжик уже осознал. И первое «нельзя» — это было начало стройности бытия, того бытия, которого он пожелал, куда он вступал со своей любимой поповной, через нее и благодаря ей. И здорово было, что начинался пост, что жизнь превращалась в поприще и требовала моральных и физических усилий. Он был готов. Он хотел этого. Он любил.



Проза

Семён Родин

Родился в 1972 году в Москве. Закончил МГИМО в середине 1990-х. С тех пор работает в экономической сфере. Создает литературные произведения в свободное от основной деятельности время. Герой рассказа Евгений является реальным лицом, о встрече с которым у автора сохранились самые тёплые воспоминания.

Большие Вяземы и Захарово

Рассказ

Нынешним летом родители упомянули про своё посещение подмосковной пушкинской усадьбы, отозвавшись благожелательно не только о музее, но и о кафе рядышком. Выслушав лестные рекомендации, я утвердился в мысли выбраться в эти места. Но не только мнение мамы и отца сыграло свою роль. Так совпало, что как раз в августе «Евгений Онегин» и пушкинская проза были перечитаны мною с громадным удовольствием, значит, ехать было самое время.

В начале осени, выбрав один из будних дней, я решил. Утро было ясным и зябким, день же сулил стать погожим. По обыкновению, дабы в пути не терять времени даром, я включил диск, посвящённый одной из занимающих меня тем. На сей раз выбор был сделан в пользу «Политики» Аристотеля, за которую я уже не единожды принимался ранее. Мягкий баритон читающего текст заполнил собой весь салон автомобиля. Дорога была большей частью свободной и неумолимой, что давало возможность одновременно глазеть по сторонам и слушать вполуха античного философа. Вследствие такой раздвоенности в голове оставалось немного из местами глубоких, а местами (прошу простить мою дерзость) банальных умозаключений. Слова, словно пейзажи за окном, мелькали слишком часто, чтобы остаться в мозгу. Впрочем, кое-что я запомнил. Врезалось в память умозаключение Аристотеля относительно конфликтов среди правящего класса, мастерски обыгранное фразой: «Бывают распри по мелочам, но не бывает из-за мелочей». Великий грек объяснял, что серьёзные конфликты вызревают, тлеют и вырываются наружу зачастую как раз по пустяковым поводам. Помимо этого, моё сознание выхватило и удержало в себе высказывание мыслителя, что при олигархическом строе богатые ошибочно полагают, что материальное неравенство с бедными должно приводить к преимущественным правам богатых во всех сферах. А демос в демократиях, обладающий равными политическими правами с богатыми, также ошибочно считает, что это равенство должно повлечь за собой также имущественное равенство.

Продолжая в том же духе выслушивать про хитросплетения государственного устройства при демократиях, политиях, аристократиях и олигархиях, въехал я в Большие Вязёмы и повернул в сторону Церкви Преображения, указатель которой расположился на Старой Смоленской дороге, называемой ныне Можайкой.

Путь от шоссе до входа в музей-усадьбу оказался короче, чем я ожидал. Оставив в стороне ряд малоэтажек и повернув направо с основной дороги (после поворота к музею она ужасающе быстро превращалась в подобие грунтового тракта, изобилующего глубокими рытвинами), я скоро очутился на пяточке, призванном служить парковкой для посетителей.

Тут же было разбито футбольное поле, а за ним располагалась спортивная площадка. На поле, в самой серёдке, расположилось не менее двух десятков уличных голубей, по-деловому выискивающих в зеленающей травке корм. Птицы напоминали карликовых футболистов, сгрудившихся в поисках своего крохотного мячика, закатившегося под одну из травинок. Вокруг поля прогуливалось несколько молодых мам с колясками, возле старого бревенчатого дома, который, вероятно, являлся частью церковного подворья, шёл мастеровой люд, чуть поодаль что-то строилось, одним словом, рутинная жизнь посёлочка неторопливо набирала ход. Припарковав машину, я подошёл ко входу в церковный двор, который находился непосредственно перед воротами музейной усадьбы. На терри-

тории двора, помимо самой церкви, возвышалась звонница, а также виднелся домик для чаепитий. Как я узнал, церковь была построена по приказу Бориса Годунова в 1595 году и около столетия потом оставалась царской вотчиной, пока Пётр I не передал её вместе с усадьбой князю Голицыну. Если можно сказать про храм, что его архитектура отвечает вкусовым пристрастиям кого-либо, то в этом случае так оно и было. Зодчие церковей дореформенного периода, впитавшие наследие Византии и народов, принявших христианство ранее русских, но при том привнёсшие в это наследие свои черты, выработали свой архитектурный почерк: исконный, лёгкий и проникновенный. От русских храмов этого периода действительно веет делами давно минувших дней и преданьями старины глубокой. И пусть храм Преображения создан в период зрелости зодчества допетровского времени, а от первых церковей Киевской Руси его отделяют полтысячи лет, всё в нём указывает на принадлежность к отправной точке отечественного православия. При взгляде на примыкающие к нему галереи припомнились советские мультфильмы, снятые по сказкам Пушкина, возник образ славного Салтана и прекрасного Гвидона. Одним словом, облик белой Церкви с пятью чёрными куполами, такой ладной и тёплой, пришёлся мне по сердцу. Что же касается внутренней части храма, то она мне не показалась. Долгие годы здание использовалось то ли под столовую, то ли под госпиталь. Старый дух выветрился, а нового прихожане ещё не привнесли. Впрочем, таков удел всякой часто посещаемой культовой реликвии. Туристы затрудняют возникновение атмосферы Богоприсутствия, которая явственно осязается в церквях, чьи посетители приходят туда, чтобы заглянуть внутрь себя, а не смотреть вокруг. Я лично не почувствовал там благоговейного трепета, не обнаружил предметов, достойных внимания светского посетителя. разве что запомнилась икона с обликом Спасителя, вытканная цветными нитями на серой материи. Не помню, чтобы ранее встречал подобную икону. Сам лик Христа был далёк от канонического. Увиденное давало повод думать, что икона — дело рук ребёнка или очень далёкого от изобразительного искусства человека.

Выйдя наружу, я решил оставить звонницу без знакомства (замечу только, что она составляет единый ансамбль с церковью), так же, как и не стал искать могилу Коленьки Пушкина, расположенную поблизости, а устремился прямо в парк усадьбы, с которого и задумал начать осмотр поместья.

Парковые дорожки были посыпаны мелко дроблёным щебнем, звучно хрустящим под ногами. Позднее утро дышало влагой и свежестью. Стояло безветрие, и над неподвижными дубами, липами, ясенями виднелась небесная лазурь, а в ней едва-едва передвигались накрахмаленные, редкие и высокие облака. Лес играл оттенками зелёного, и, только присмотревшись к листочкам, можно было углядеть на них грязно-бурые пятнышки — процесс отмирания уже повёл свой неумолимый отсчёт.

В центре парка расположился детский бюст Пушкина, при взгляде на который показалось, что скульптор преувеличил роль африканских генов, проявившихся во внешности ребёнка. В парке не было никого, кроме меня и женщины, убиравшей первые опавшие листья. Скрип от соприкосновения её стальной метлы с бордюрными камнями сильно раздражал перепонки, заставив ускорить шаг вглубь парка. Неожиданно для себя я довольно-таки быстро достиг его предела и повернул в сторону основного здания и пруда. Избежав одного шума, я тотчас столкнулся с другим, не таким резким, но воздействующим, пожалуй, не слабее первого. Загруженное шоссе монотонно гудело своими децибелами, не давая воображению унести на два века назад. В конце дорожки, рядом с торцом графского дома, на моём пути повстречался памятный камень в честь российских и французских войск, остававшихся здесь в 1812 году. Словно почётный караул, дуб, сосна и лиственница окружали монумент и даже чуть наклонились, словно выказывая дань уважения. Тропинка сбоку от двухэтажного дворца вывела меня к берегу пруда, в котором плескались рыбёшки, покачивалась лодка. Правее, у автомобильного моста виднелась древняя плотина, непосредственно за прудом и в порядочном отдалении от него высились типичные современные строения хозяйственного и жилого назначения. Ничто не напоминало дух пушкинского времени, окрестности выглядели буднично и непритязательно. Только одна довольно толстая сосна на другом берегу, наклонившись пизанской башней, притягивала взгляд. Она стояла словно подраненный, ещё не павший гвардеец, продолжающий защищать свой рубеж от врагов, несмотря на то, что своя армия уже разбита и капитулировала.

Я обернулся, окинул взглядом светло-серый оштукатуренный фасад дворца и... нашёл его скучным. Насколько естественной казалась церковь, настолько инородной выглядела эта прямоугольная коробка, воткнутая на пригорке. Безликие ряды окон по периметру, плосковатая крыша, сухая геометрия линий — все элементы дизайна способствовали формированию пресного и выхолащенного облика здания. Когда я узнал, что дом этот стал прообразом усадьбы англомана из «Барышни-Крестьянки», то сразу пришло сравнение с английской едой. Снаружи он был таким же невкусным, как и стряпня Туманного Альбиона.

При покупке билета в кассе флигеля выяснилось, что ввиду наружных и внутренних строительных работ не все экспонаты доступны для осмотра. В подтверждение сего у входа во дворец повстречалось несколько мешков со строительной смесью, деревянные балки и куча песка. Может быть, поэтому дворец снаружи оставил, как говорится, никакое впечатление...

Обувшись в музейные тапочки, я начал осмотр экспозиции на первом этаже. История дома волновала меня в меньшей степени. Главный интерес вызывали всякие мелочи быта, которые так помогают воссоздать атмосферу любого века. Я рассматривал фарфоровые конфетницы, ножницы для удаления верхушек яиц и другие, для удаления свечных огарков, французскую, немецкую и русскую обеденную утварь, например, хитроумную подставку под столовые приборы. Там же выставлялись разнообразные печатки, лорнеты, пара пистолетов, один из которых был назван дуэльным, а второй парадным, шпаги, веера из слоновой кости, страусиных перьев и с чёрной шёлковой лентой. Обратил на себя внимание раскрытый грессбук в кожаном переплете. Это оказались «Московские ведомости» за 182* год. На открытой странице заметки о происшествиях перемежались объявлениями о купле-продаже недвижимого и движимого имущества. Были также предметы, о которых я никогда прежде слыхом не слыхивал, вроде мерного стаканчика для пороха. В залах было вывешено достаточно портретов, часть из которых изображала представителей голицынской династии, часть — видных деятелей XVII и XIX веков, да и просто дворян. Имелись также копии мировых образчиков живописи, рисунки, наброски, несколько скульптур.

В общем, многие детали интерьера и разнообразные «штучки-дрючки», бывшие в ежедневном употреблении у пушкинских современников, не разочаровали. Тем интереснее было обнаружить, что летопись дома, которая пишется жизнями его обитателей, притягивает в действительности сильнее любого самого необыкновенного предмета прошлого. Например, было очень интересно узнать, что Борис Голицын снискал благодарность Петра за то, что во время конфликта последнего с Софьей, поддержал молодого государя и даже посоветовал ему укрыться в Троице-Сергиевой Лавре. Поговаривали, что именно стараниями этого человека Пётр не только зачастил в немецкую слободу, но и пристрастился к выпивке. Князь, как метко высказался Александр Сергеевич по другому поводу, но на этот счёт, был склонен к чувственному наслаждению пьянства. За что в итоге и был отставлен императором, хотя в опалу не впал. Забавно, что в одном из писем Голицын писал Петру что-то в духе: «Ты занят государственными делами, я питием. И то, и другое не столь различно меж собой, ибо требует большого напряжения сил».

Его родственник, тоже Борис Голицын — старший современник Пушкина, будучи блестящим военным (погиб в кампанию 1812 года), серьёзно увлекался литературой (писал Шиллеру, стоял у истоков петербургского литературного кружка), танцами, музыкой. Его мать Чернышёва-Голицына была долгое время фрейлиной при императрицах, жила во многих странах, в том числе во Франции, где имела успех при дворе Марии-Антуанетты. Тем более важно, что все эти подробности имеют не только историческую, но и литературную ценность, так как не только сам дом, но и представители семьи Голицыных явились прототипами произведений Пушкина, бывавшего здесь со своей бабушкой. В частности, княгиня Чернышёва-Голицына была прототипом «Пиковой дамы», а Борис Голицын — отца Полины в «Рославлеве».

Осмотрев столовую, круглую гостиную, парадную опочивальню, миновав большую залу с роялем (которая при Голицыных была иностранной библиотекой), я принялся за последнюю комнатку на первом этаже. Тут моим вниманием, в первую очередь, завладели предметы из бисера. Кошельки, сумочки, чехольчики, скатёрочки — всё это было покрыто бисерными узорами, надо сказать, простенькими по сегодняшним меркам. Оказывается, не только помещицы, но и помещики предавались этому занятию. Музейное пояснение гласило, что даже Гоголь увлекался вышиванием бисером. Тут же был выставлен чубук с бисерным чехлом и цитировался Лермонтов, живописующий

своего персонажа во время курения. Далее, я обратил внимание на забавные керамические фигурки высотой не более десяти сантиметров. Поначалу мне показалось, что это были разнообразные зверушки, разодетые в кафтаны и платья. Но, взглядевшись, можно было различить, что, во-первых, все фигурки были обезьянками, а во-вторых, у каждой было по музыкальному инструменту. Оказывается, это была коллекция известного обезьяньего оркестра из мейсенского фарфора. Комментарий свидетельствовал, что по легенде некий бюргер взаправду нарядил обезьян в кафтаны и выдавал их за музыкантов. Обман вскрылся одним из зрителей, который стал забрасывать животных яблоками и бананами. Также сообщалось, что в первой половине XIX века на Россию, дворянство которой по-вально увлеклось собирательством и стало активно формировать частные коллекции произведений искусства, да и просто безделиц, приходилось до 40% экспорта мейсенского фарфора.

Хоть и утомившись от объёма новых впечатлений, заполонивших мозг и беспорядочно роившихся там, сталкиваясь, перемешиваясь между собой, наслаиваясь одно на другое, я, тем не менее, устремился на второй этаж по деревянной лестнице. Начальные ступени двух имеющихся пролётов скрипели подо мной протяжно и глубоко, при этом каждая на свой лад. Они как бы сообщали об одном и том же предмете, но сдобривали рассказ своими «фирменными» особенностями, уподобясь камердинерам, чинно излагавшим почтенную родословную своих хозяев незнакомцу.

Коллекция экспонатов на втором этаже была гораздо беднее, большинство их касалось конца XIX или даже XX века. Почти всё выставленное посвящалось семействам Тютчева и Баратынского. Однако именно здесь поджидало меня самое яркое событие этого сентябрьского утра. Сразу же, как только переступил я порог первой комнаты, почувствовал хорошо знакомый по детству запах жареных сосисок, приготовленных на сливочном масле. Аромат горячей снеди прямо-таки бил в нос. К нему примешивался кислотоватый запах бородинского хлеба. Надо сказать, что в то утро других посетителей в музее не было, а весть об одиноком экскурсанте, бродящем внизу, по каким-то причинам не успела достигнуть второго этажа. Прямо у входной двери расположилась смотрительница, а рядом с ней на столе дымился поздний завтрак. Завидев незнакомца, женщина на секунду-другую стусевалась, а затем сгрэбла еду со стола. Не желая усугублять бедственность её положения, я, не задерживаясь, прошёл дальше и поспешно предался изучению «артефактов». Но краем глаза всё-таки успел заметить, как она вторым движением ловко сдёрнула покрывало, и то, что я вначале принял за стол, в действительности оказалось музейной витриной.

Однако же это было не всё. Справа от меня расположились две клетки с пёстрыми попугайчиками голубого и канареечного цветов. Один поначалу чирикал, а потом затих, вероятно, от сознания стыда — он же мог помешать таинству соприкосновения горожанина с историей отечества. Второй же птах оказался не таким тактичным, он гомонил, не переставая, в результате чего я и вправду не мог толком сосредоточиться на осмотре. Но сказать начистоту, и эпизод с завтраком, и явление попугайчиков не только не раздражали, а наоборот, вызывали тёплые чувства. Вся эта уездная «одомашненность» создавала в музее неповторимый климат столь отличный от камерного уклада столичных выставочных залов.

Библиотека на втором этаже, которая при владельцах была отведена под русские произведения, содержала теперь литературу как отечественного, так и зарубежного происхождения. Тут были выставлены ранние издания Пушкина, своды российских законов, утилитарные материалы, такие как пособие по устройству австрийской армии. Кое-какие труды заинтересовали, и я сделал ряд пометок. Сидевшая на стульчике смотрительница внимательно следила за каждым движением одинокого гостя, то ли пытаясь таким образом разнообразить монотонность рабочего дня, то ли приняв меня за подозрительную личность. Сами библиотечные шкафы и стеллажи не производили впечатления ровесников усадьбы, да и в целом выглядели затрапезно. Единственно, письменный стол с многочисленными чернильными разводами и кляксами, выпадал из всеобщей блёклости помещения. Осмотр остальных залов занял совсем мало времени; покинув дворец, я напрямик проследовал к машине.

До Захарово было километров пять. Я свернул в положенном месте с шоссе, но проскочил неприметный вход в усадьбу, и пришлось потом возвращаться. Парковка находилась непосредственно у входа на территорию усадьбы, так что можно было видеть за деревьями дом, издали напоминающий одну из разновидностей финского коттеджа. От железной ограды к нему вела заасфальтированная аллея, пересекавшая усадебный парк от начала и до конца. Справа от аллеи, чуть не доходя особняка, в центре небольшой лужайки, расположился памятник, изображавший Сашеньку, прислонивше-

гося спиной к сидящей за ним на скамеечке бабушке. Памятник был выкрашен золотой краской, что вызывало впечатление некой аляповатости.

Сама усадьба находилась за декоративной изгородью. Это был деревянный дом в два этажа, мышиного цвета, с тёмно-розовой крышей. Частью главного и заднего фасада являлся портик с четырьмя белыми колоннами, за которыми виднелись окна большей частью прямоугольные, но завершавшиеся овальным изгибом наверху, в то время как остальные окна фасада были безупречно прямоугольными. Второй этаж походил на чердак, так как имел окошки, напоминавшие крепостные бойницы. Формы они были квадратной, а размер их составлял не более одной трети от площади окон первого этажа. Вблизи дом не оставлял никаких сомнений в принадлежности к традиционным помещичьим домам. Дорожка, ведущая от аллеи к дому, была посыпана мелким песком охристого цвета, напоминающим грунтовое покрытие теннисных кортов. Перед входом был разбит палисадник, тут же стояли две элегантные лавочки, скамейки и спинки которых были выполнены из дерева, а ножки и подлокотники представляли собой декоративную ковку. Дальняя от входа, стоявшая рядом с цветочными клумбами, была отгорожена от посетителей тоненькой верёвочкой.

В том месте, где аллея и грунтовая дорожка смыкались, стояли два человека. Один из них, пузатый охранник в синей фуражке и форме с многочисленными шевронами типа «ЧОП», «Вневедомственная охрана», «МВД», громко обращался к своему собеседнику, чихвостя кого-то третьего, наверное, общего знакомого. О втором мне сказать решительно нечего, кроме того, что он стоял, опершись на велосипед, и всё больше слушал, лишь изредка вставляя словцо-другое. Доносившийся разговор был приправлен крепкими выражениями. От осознания неминуемости встречи с этими двумя что-то неприятное мимолётно шевельнулось внутри и оставило осадок. Ощущение от прогулки, казалось, было испорчено самим присутствием здесь людей, бесцеремонно отравляющих особый музейный воздух. Захотелось очень быстро миновать их, что называется, прошмыгнуть незамеченным к пушкинскому дому.

Тут надобно сделать небольшое отступление. Дело в том, что я не жалую профессию охранника, считаю её одной из самых бесполезных. В основном, люди эти, как говорится, подпирают собой стену. Проку от них мало в тех случаях, когда того требуется, зато много шума во всех остальных случаях. Большую часть дня слоняясь без дела, они компенсируют свою бесполезность злобно-развязным поведением и напоминают собой прикормленных полканов, которых держат для охраны гаражей и тому подобного частного и общественного добра. Те ведь тоже всегда готовы броситься на прохожего, а вот настоящих воров отвратить им не по зубам. Похоже, в тот день мне повстречался типичный представитель «чоповца».

Я ускорил шаг в сторону дома, уже не рассматривая ни его наружности, ни местности вокруг. Поравнявшись, мы всё-таки встретились глазами, при этом страж успел смерить меня фирменным недружелюбным взглядом. Его одутловатое крупное лицо бронзового цвета вполне соответствовало общему образу, грузному и неповоротливому. Разве только некий нюанс в нём контрастировал со всем остальным. Да вот только какой? Анализировать не было желания, и я вошёл внутрь.

Убранство и даже запах прихожей (или правильнее сказать на старый манер — сеней), где располагалась касса, являвшаяся также сувенирным ларьком, снова навеяли воспоминания о финских и скандинавских коттеджах. Купив билетик и отворив тугую дверь, я оказался в первой комнатухе. Почти всё, выставленное в ней, да и вообще имеющееся в музее, имело весьма отдалённое отношение к семье Ганнибалов и Пушкиных. В основном, там были некоторые из предметов, составлявших быт мелкопоместного дворянства и крепостных. С их помощью, а также за счёт характерных деталей усадебного интерьера XIX века предпринималась попытка воссоздать пушкинскую эпоху и условия, которые окружали поэта в детстве. Вряд ли стоило ожидать большего, ведь и сам дом был разрушен много времени назад, а восстановлен только к двухсотлетию юбилею поэта. К этому процессу (как у нас часто водится) создатели музея подошли с выдумкой. Дело в том, что в бытность Марии Алексеевны дети располагались в отдельном флигеле, а его было решено не восстанавливать (пока?). Но открывать музей ради знакомства публики с аурой молодых лет поэта, при этом не воспроизведя его комнаты, было бы из ряда вон. Поэтому создатели решили встроить «детскую» непосредственно в основной дом. Результат этого смелого эксперимента оказался, мягко говоря, невыдающимся. Не задерживаясь и двигаясь быстро из одной комнатухи в другую, я

управился минут за пятнадцать. Возможность заинтересоваться по-крупному представилась дважды. Меня привлёк Договор между хозяйкой имения и неким мастером (по-моему, одной из северных губерний) о перестройке приобретённого дома. В нём плотник подтверждал оговоренный к выполнению объём работ, отдельно указывая до чего ему дела нет. Ещё заинтересовала комната, посвящённая Арине Родионовне. Во-первых, довелось увидеть «кубарь» и, соответственно, уяснить, откуда происходит выражение «покатиться кубарем». Во-вторых, запомнился карикатурный рисунок Арины Родионовны руки Пушкина. Няня предстала в виде курносой и какой-то недружелюбной бабы.

И на сей раз я оказался единственным гостем во всём музее. Одинокая ссутулившаяся смотрительница, сопровождавшая меня из комнаты в комнату, только под конец сердобольным тоном и с извиняющимся выражением лица решила попросить входной билет. Весь её облик дышал беззащитной виноватостью, оставляя впечатление тягостное и щемящее одновременно. Словно она стыдилась, может быть своей нерешительности, может, скудости музейной коллекции, а может, подвоха с «детской». Наверное, этой немолодой женщине уже не раз и не два приходилось выслушивать упрёки посетителей о том, что тут всё ненастоящее, и она покорно взвалила часть вины на себя.

Мне подумалось, что вот она — та самая душевная мягкость, идущая из самых глубин народа, давно вытравленная городской цивилизацией, но ещё встречающаяся изредка среди жителей малых городов и деревень. Вот он, слышится в тихом голосе, отголосок той особенной черты русского характера, которую некие называют неискоренимой русской забитостью, а другие — великим русским смирением.

Я покинул дом, собираясь осмотреть пруд и беседку, а уж потом присесть на примеченную ранее лавочку для составления дневника теперешней вылазки по горячим следам. Охранник стоял на том же месте, но уже в одиночестве. К неприятному удивлению моему, этот человек двинулся навстречу и заговорил:

— Вы к нам по пути из монастыря?

Он улыбнулся, так, словно знал наперёд, что угадал, и потому был крайне доволен своей сметливостью.

— Нет. Я был в Больших Вязёмах.

— А-а-а. Но Вы из Москвы?

— Да, — сказал я суховато, стараясь быстрее от него отвязаться и направляясь к стоявшей у пруда беседке.

— К нам просто многие из монастыря приезжают, а потом уж в Вязёмы едут. Это по пути.

Охранник произнёс именно Вязёмы с ударением на второй слог.

«Чоповец» засеменил рядом по тропинке, идущей под горку. На сей раз удалось разглядеть его получше. Вот он, этот нюанс — это чёрточка в лице, которая мелькнула, но не раскрылась при первом беглом взгляде. Небольшие ярко-голубые глаза так не вязались со всем остальным в этом человеке и прямо-таки осеняли лицо. «Глаза-то голубые, даром что чистый прохиндей», — пронеслось в голове. Идти до небольшой беседки (очередной новодел) на берегу пруда оказалось несколько шагов. Тем не менее провожатый успел запыхаться и тяжело дышал. Ничего особенного она из себя не представляла. А может, я просто толком не успел её разглядеть из-за навязчивого желания отделаться от постороннего. Я досадовал, а он, тем временем, стал что-то рассказывать про домик Арины Родионовны якобы стоявший на том берегу речушки, пополняющей своими водами пруд. Понятное дело, что вслушиваться не было никакого желания. Но незванный спутник не унимался и даже стал декламировать стихи, как будто пушкинские. Ба, да он играет в гида! Решил на мне заработать. От беседки тропинка вела вдоль берега к мостику. Недалеко от него стоял памятник, изображавший юного поэта, который по преданию любил сиживать на лавочке перед прудом, здесь его и посещало вдохновенье. Вся гладь пруда до мостка и противоположного берега была подёрнута ряской.

— В это лето весь пруд зацвёл. Повсюду зелень была. Раньше-то тоже, но не так, чтоб весь. Ну, вообще, это значит, что вода чистая. В грязной воде ничего такое не растёт, я читал. Тут у нас и рыба водится. Да. Окуньков я ловил, небольших, конечно, грамм по двести-триста. И щука, бывает, попадётся, на три кило тянет. Мы с напарником иногда удочки берём и удим.

— В какое время? — спросил я. «Неужели не стесняется в рабочее время ловить рыбу?»

— Вечером. Рыбачить-то надо или с утраца, или уже потом. В жару, конечно, тяжело было. Уровень воды понизился. Рыбадохнуть начала. Да и с деревьями непорядок. За один сезон одиннадцать или двенадцать потеряли. Поглядите на пни. Смотрите, какие они в середке иссохшие. Как ураган или ветер шквальный, так обязательно одно или другое повалится. Что с ними происходит, поди, знай. Тут приезжали эти, как их там, цветоводы-озеленители и стали высаживать липы, но не того сорта. Их, сортов-то, много. Я говорю: «Не то вы высаживаете». А они: «У нас приказ». «Ну, хрен с вами». Жалко деревья, они ведь до двухсот лет могут жить. А вон, видите, какая у нас напасть ещё завелась? Глядите, сколько трамвайчиков на стволе...

И вправду, в нижней части почти всех стволов лиственных деревьев, стоявших вдоль тропинки, копошились в огромном количестве оранжевые жучки. Мы в детстве называли их «пожарниками». Зрелище было омерзительное. Если вид муравейника, где тысячи трудолюбивых букашек снуют взад и вперёд, притягивает взгляд своей осмысленностью, в этом упорядоченном движении присутствует некая гармония, то здесь было другое. Увиденное напомнило, как мухи облепляют кровоточащую рану или опарыши извиваются в гнилом мясе.

— Что это? Они жрут деревья? — спросил я.

— А кто их знает.

Мы вышли на мостик, который разделял пруд надвое. С нашей стороны к нему выходила главная усадебная аллея, с другой — пешая заасфальтированная дорожка из жилого посёлка. Большая часть пруда открылась взгляду. Здесь ряски было меньше, рядом с берегом, тут и там, плавали пластиковые бутылки, брошенные невежественными потомками великого гения. Современностью было пропитано всё пространство. Всякая память о старине полностью изгладилась.

— Вон, гляди, гляди, окунёк плескается! Мой экскурсовод в азарте чуть перевесился через перила и тыкал пальцем в место, где вода шла кругами.

Со стороны посёлка подошёл его знакомый, и разговор о рыбалке пошёл по-новой, но уже между ними двумя. Воспользовавшись моментом, я решил ретироваться. Хотелось поближе рассмотреть упомянутый памятник. «Интересно, действительно ряска говорит о чистоте воды?» — подумалось на ходу. Охранник нагнал меня почти сразу и стал снова рассказывать про парк. «У, какой неугомонный!» — сказал я про себя, но уже без прежней раздражительности.

— Вот здесь, — он указал на одну из лип, — живёт филин.

— Неужто?

— Да, точно Вам говорю. Там наверху дупло, сейчас его листья скрывают, поэтому не видно. В нём он и живёт. По ночам постоянно слышится Уу-Уу, Уу-Уу. Один раз его птенец из гнезда выпал у меня на глазах. Я его поднял, а он за палец как тяпнет. Клюв огромный, хоть и птенец. А вот здесь, справа, видите, иссохший пенёк? Тут была липа, пришлось срубить. В ней, оказалось, было гнездо. Знаете чьё? Белки-летяги. Выводок весь и попадал. У нас тут женщины маленьких бельчат выхаживали. Они такие забавные, летяги эти. Так смешно, бывало, распластаются на занавеске. Вы видели хоть раз летяг? Уморные!

Идти приходилось в гору, одышка добровольного экскурсовода становилась сильнее, и мне пришлось сбавить темп. Однако усадьба показалась довольно скоро. За выслушиванием натуралистических очерков совсем позабылось желание задержаться у памятника перед прудом. Возвращаться было лень, захотелось уже присесть на скамейку и начать записки, не откладывая. К моему новому знакомому подошёл напарник, и теперь охранник стоял на том же месте, где повстречался мне впервые. Лицо «чоповца» выглядело утомлённым, на морщинистом лбу выступили капельки пота. Он снял фуражку, достал платок из кармана брюк и отёр их. Ничего в его осанке, выражении лица, манере говорить даже очень отдалённо не указывало на развязность. Подумалось, что надо всё-таки предложить денег, как-никак человек старался.

Но и здесь возможность побыть в одиночестве быстро улетучилась. Не успел ноутбук загрузиться, как охранник снова составил мне общество, опустившись рядышком на лавочку.

— Дом-то они новый выстроили. Вы уже знаете? А-а-а, — протянул он. — А про детский флигель тоже в курсе? Понятно. А знаете, как называется вон та штука, вроде стаканчика на самой крыше — и кивнул в сторону стеклянной башенки, надстроенной над вторым этажом.

Сознаваться в своём невежестве было неловко, но пришлось:

— Нет

— Бельведер. Это по-французски значит красивый вид. У Троекурова в «Дубровском» была похожая усадьба только без бельведера.

Удар был чувствительным. Если бы охранник употребил какое-нибудь слово попроще, скажем, галерея, было бы ещё куда ни шло. Но бельведер, да ещё с переводом, вошёл острым кинжалом по самую рукоять в московское тщеславие, закващенное на престижном высшем образовании, знании двух иностранных языков и материальном достатке выше среднероссийского.

— А вот балкончик — невозмутимо продолжал он, указывая на ступеньки рядом с колоннадой — это про него у Пушкина сказано. Помните?

Мне видится моё селенье,
 Моё Захарово; оно
 С заборами в реке волнистой,
 С мостом и рощею тенистой
 Зерцалом вод отражено...
 На холме домик мой; с балкона
 Могу сойти в весёлый сад,

— Ну, и так далее. Дальше-то я не очень помню — заключил мой гостеприимный хозяин.

Я машинально захлопнул ноутбук и выпрямился. Ни с того ни с сего запершило в горле. Вальяжность, присущая почти всякому человеку, чувствующему своё превосходство над ближним, сменилась взбудораженностью. Амбиции забурлили и закипели, нервы оголились и больно кололись своим током. Надо было срочно парировать, вернуть себе ощущение интеллектуального господства. Я сделал контрвыпад, но почти сразу понял, что промазал. Такое обычно бывает при игре в футбол, когда за тысячную доли секунды до удара понимаешь, что нога ляжет не так, и мяч уйдёт мимо, но изменить уже ничего нельзя.

— Да-да, точно. Ведь во Франции есть даже такой дворец, называется Бельведер.

Следом за сказанным в судорожно работающем мозгу пронеслись воспоминания моего посещения вышеуказанного дворца. Выходило, что тогда, в конце двадцатого века, столицей Франции и по совместительству местом возведения Бельведера была Вена. Даже то обстоятельство, что мой визави был не настолько эрудирован, чтобы заметить этот очевидный ляп, не успокаивало.

Настало самое время внимательней изучить своего собеседника. С одной стороны, нельзя сказать, что он стал выглядеть другим. Тяжеловатость, проявляющаяся в каждом движении головы и тела, никуда не делась. Если не брать в расчёт глаза, всё в его внешности было ординарным. Лицо было крупным и, скорее, вытянутым, чем круглым, на щеках и скулах виднелись оспинки, нос был в меру большим, тёмные мешки легли под глазами, а маленькие трещинки шли к их уголкам от висков, ровные брови чернели, подпирая фуражку, губы были почти одного цвета с кожей, тёмные зубы указывали на давнее пристрастие к табаку, об этом же свидетельствовал подсыпловатый голос. Я бы дал ему лет 55. Но в этом обычном облике также не было ничего отталкивающего, наоборот, можно было разглядеть даже мягкость, которая так вязалась со словоохотливостью хозяина. Рассказывал он если и не проникновенно, то, по крайней мере, живо и с выражением. Пожалуй, в эти минуты внутри этого человека просыпалось что-то артистическое, театральное. В какой-то момент нашего затянувшегося разговора, когда охранник широко улыбнулся одному из своих воспоминаний, он явственно напомнил Илью Ростова, сыгранного советским актёром Виктором Станицыным в фильме «Война и мир».

Вот он, наш разговор, который никогда не заставил меня пожалеть ни о потраченном времени, ни об упущенной возможности остаться наедине с собой. Евгений, а нашего героя (хотите — верьте, хотите — нет) звали именно так, продолжил своё повествование:

— Когда он сюда приехал, ему без месяца семь лет было. Он приехал, по-русски не разговаривал, только «Же ме па», «силь ву пле». Ну, и так далее. Вся семья исключительно по-французски... Ну, а местные ребяташки говорят: «Немой. Чего-то городит». Он вначале был толстый, кругленький такой. Ну, а в деревне-то он в движении всё время был. Худеньким стал, поджарым. Но, говорят, бабка его не очень жаловала. Она больше Лёву любила, а Шурика не очень.

— Зато Арина Родионовна жаловала его, — говорю.

— Ну, Арина Родионовна старалась как-то для всех. Там дом-то её рядом. Они купили его специально, она же не пошла в этот домик, флигель для челяди, а ей купили отдельный. Всё-таки Марья Алексеевна уважала её. Вон, когда пишет-то он, правда, видно не про Захарово, а про Михайловское:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя.
Одна в глуши лесов сосновых.
Давно, давно ты ждёшь меня.

Там ведь, в основном, сосновые леса. Хотя и у нас кругом здесь всё сосновое было. Но когда дом продали, то она вместе с ними в Михайловское уехала, а Маша, дочь её, осталась.

— Кстати, вот эта фраза: «Я влюблён, я очарован, я совсем огончарован». Кто сказал её? Вначале думали, что это Пушкин сказал, потом на дядю думали, а оказывается, это сказал его Лёва, брат». Ну, он узнал фамилию Гончаровой и приколот брательнику. А фраза эта и пошла гулять, вроде это Пушкин сказал там или дядя.

— Да-а-а. Он же приезжал в тридцатом году сюда. Шесть часов тут у Маши был в доме Арины Родионовны. «Как Вы поседели», — сказал ей. А она ему: «А Вы как подурнели».

Я слушал Евгения и припоминал, что в «Истории села Горюхина» крепостные теми же словами отвечали своему барину.

— Начали жаловаться на Козлову, что она их там штрафует, унижает, что-то ещё. А он помочь ничем не может. Они ему всё: «Барин, барин». А он: «Я не барин уже».

— Откуда же Вы всё это узнали? — спрашиваю Евгения.

— А у нас есть Инна Юрьевна, экскурсовод. Умница. Она сейчас ушла, экскурсий-то сегодня нету. Она такая начитанная и эрудированная, вот есть талант. Я за ней хожу-хожу, то одно узнаю, то другое. Она или сама расскажет или говорит: «Жень, почитай брошюрку».

— Я ещё про Пушкина говорю: он в лицее-то лучший стрелок был. За сорок шагов в пуговицу от бушлата попадал. Ну, правда, на деньги, на спор. Я её спрашиваю: «А почему тогда так случилось на Чёрной речке?» Она мне начала объяснять: «Ну, четыре или пять дуэлей до этого проходило миром. Ну, кто будет связываться с Пушкиным? Всё-таки гений! Ну, зачем это нужно? В конце концов, старались себя унижить, лишь бы только уклониться. Вроде «извините, простите». Он думал это так же пройдёт. Но, видно, Дантес уже настроился заранее на другое. И когда Пушкин первый подошёл к барьеру, то не выстрелил, потому что есть негласный закон дуэлянтов: кто первый стреляет, тот и трус. Он стрелял, уже лёжа на земле, с пулей в животе. Сначала пистолет выронил, а потом всё-таки изловчился и почти не целясь. А тот, грудь закрывая, сразу развернулся боком, пуля туда и попала. Пушкин мог бы в голову, конечно, попасть. Раз в пуговицу попадал. Но, ему, видать, не до этого было, в животе всё-таки пуля. Такие дела. Понравилось Вам в Вязёмах?»

— Дом снаружи не очень, а внутри было интересно. Ещё церковь понравилась.

— Видели, наверное, знаки изразцовые, масонские? Голицыны же масонами были, поэтому на пути в Москву имение осталось нетронутым французами. Правда, пожгли в каминах книги. Да и книги были свои, французские. Но на обратном пути, когда они обзлётные шли, многое поломали и сожгли. Слово «шваль» знаете, откуда произошло? Это значит «падшая лошадь». И вот когда они отступали, жрать же приходилось всё подряд. Вот и говорили «шваль», «шваль», а русские крестьяне всё переняли. Мы теперь всю дрянь называем швалью.

Вот как бывает. Думаешь, что глянул на человека разок и уже всё про него знаешь. Всю его натуру определил, весь характер по полочкам разложил, всего насквозь просветил, обмерил, взвесил. Пролистал мельком как какой-нибудь журнальчик глянцевого, и всё тебе понятно, весь он перед тобой, как на блюде. Скучота одна, суета сует. Всё тебе наперёд известно, как Экклезиасту. Если «чоповец», значит, проходимец, грубиян или, на худой конец, мелкий вымогатель — тут и рассуждать нечего. А ведь пока человек молчит, пока не захочет открыться, поделиться своим чем-то важным, может даже сокровенным, он словно шкаф, затворённый на семь замков. Поди, разбери, что внутри: может дряхлая хламида, а может необыкновенной красоты платье. Впрочем, есть у человека одна подсказка. Глаза.

Рассуждая в этом духе, я впал в некую отстранённость. Тем временем, мой собеседник продолжал:

— Ну, здесь меньше дорога слышна, чем в Вязёмах. У них, например, близко шоссе. Там они ещё этот мост реконструировали белокаменный. Быстро нашли такой камень белый и восстановили по чертежам всё, как было при Кутузове. Правда, перила там эти новые. Но из камня всё так же сделали орнамент, сделали овал потом.

— Кутузов — это, что ли, мэр? — туплю я, с трудом выходя из оцепенения.

Евгений непонимающе глядит секунду-другую, потом говорит:

— Ну, Кутузов переходил через него на ту сторону, потом Наполеон. Они тоже шли, половина по Минке, а половина — вот здесь, по этой дороге. Не то, что один отряд, как я думал, идёт: «Ну-ка, уступи дорогу. Давай в сторону, мы идём на Москву». Хе-хе. Отступали же тоже двумя ручьями. И вот здесь, в Новошихово, большие захоронения французов. Археологи их, историки приезжают, потому что когда с Бородине везли их, подраненных много было. По дороге и умирали. Там человек, наверное, триста захоронено. Ну, вот, эти новые копатели ковыряются, кокарды находят на киверах, бляхи разные металлические, ещё кое-чего. А так, всё больше пуговицы.

— А в Вязёмах вообще клад нашли. Не сейчас, правда. В смысле, не в наше время, а году в шестидесятом. Чего-то там копали, трубы, что ль, меняли или ещё что. Ну, один из них на ларец и наткнулся. Вскрывают ларец-то, а там камней драгоценных полно, перстней разных, на дне монеты золотые лежат. А сверху свиток перевязанный. Развязали, прочитали, а там донесение какому-то высокому чину, чуть ли не государю. Мол, докладываем, что крестьянский бунт подавлен, всех утихомирили. Ну, в общем, эти друзья про клад никуда не заявили, а всё по-братски поделили. Хе-хе. А через неделю их милиция и взяла. Ничего они, понятное дело, за находку не получили. Но зато никого и не посадили.

— Думаю, они могли претендовать на что-либо, если бы добровольно о кладе сообщили — пускаюсь я в рассуждения.

— Может. А так, запросто могли посадить за присвоение государственного имущества.

Между нами воцаряется тишина, и каждый молчит о своём. Слышно, как лес то шумит под порывами ветра, то затихает, то снова шумит, складывая рифму. Видно, как листья при малейшем дуновении срываются с деревьев в свой первый полёт. Солнечные лучи сквозят через ветви и, достигая лица, согревают его осторожными прикосновениями.

— Видели там, в музее, фотографию дома Арины Родионовны? В девятьсот третьем году снято. Такая халупа стоит. Половина под дранку, половина под солому. Что такое дранка? Это щепка. Аккуратно нарезанная щепка, одна к одной прикладывается и получается крыша. Я сам тульский, а жена у меня из Твери. У нас-то под солому всё, а у них или льном покрыто, или дранкой. Все дома деревенские под дранку. Она очень тёплая, ничего не пропускает, никакие ураганы, а солома — чуть ветерок, всё сносит, чуть что — пожар. У нас в Туле вся деревня была под солому до шестьдесят первого года. Тогда, кто побогаче, начали доставать, кто железо, кто шифер. А у нас дом, амбар, рига — всё было под солому, до конца шестидесятых. А родился я в двенадцати километрах от Куликова поля.

— Так Вы, оказывается, из самых, что ни на есть святых мест для Руси.

— У меня одна бабка с Куркинского района, а вторая с Ефремовского района. Буквально сорок четыре километра от одной деревни до другой. Там, значит, Дон, Непрядва, Птань, а потом Красивая Меча. И вот это всё было охвачено, ну, конечно в основном Непрядва с Доном, когда их гнали. Птань-то они переехали, но Красивая Меча — река была полноводная, и их там топили сотнями.

— Вы имеете в виду Золотую Орду?

— Да. Их гнали чёрт-те куда. И вот я у дедушки спрашивал маленьким: «Дедушка, а почему назвали Красивая Меча?» Потому, что когда они шли на Куликово поле, там два брода было, остальное всё глубоко, лошадь не пройдёт никакая. Один в Шилово, другой в Дубиках. И вот, когда они переправлялись вброд, у какого-то главного татарина соскочила сабля. Они местных привели и стали им объяснять, что искать надо «Красивая мечка». Это всё поверье или, как это сказать, легенда. Но эту легенду мой дед услышал от своего прадеда, поэтому это не выдумка. Вот мы рыбы там наловили много в этом году. Уронили воблер, и течение моментально его унесло, мы так и не нашли. Искали-искали, всё обныряли, но не нашли. А бабка тогда слушала и стала говорить: «Нет, дед, наши старухи по-другому говорят. Река очень полноводная, особенно по весне. Каждые сто лет она меняла русло. То здесь пробьёт, там пробьёт. Она мечется. Так и повелось говорить». Меча —

значит мечется. И вот от этого и берёт своё название, понимаешь? Ну, я не знаю, кому верить. Но, действительно, красивая она.

Он говорит, а мне приходит на ум рассказ Тургенева «Касьян с Красивой мечи», и как в нём божий человек рассказывает про свои родимые места: «Там места привольные, речные, гнездо наше; ... Там у нас на Красивой-то на Мечи, взойдёшь ты на холм, взойдёшь, — Господи Боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно... Смотришь, смотришь, ах ты, право!»

А ведь Евгений выразался не менее поэтично:

— Там очень много оврагов, лощин. Рельеф там о-го-го, и вообще очень красиво. У нас стоит деревня на горе. Метров триста надо спускаться вниз. Там даже гадюка водится, которая нигде боле не водится в Тульской области. Называется скальная гадюка. Нигде больше нет гадюк, одни ужи. А какие просторы! Мой отец до обеда на комбайне едет туда, после обеда он только приехал назад. Представляешь, какие поля!? Тысяча пятьсот гектар поле там было. Ну, на пять километров я вижу, а дальше уже дымка, не видно ничего. Просто удивительно, какие места! Ну, был я много где, был я и в Латвии, был я и в Мурманске, там, по службе. Ну, такие места как там! Не знаю, или, может быть, лично моё? Очень интересно, понимаешь?

— Так вот, эта гора из камня белого. И вот вся гора в голубых и красных цветочках. Ну, красные — это дикая мальва, а голубые — это вот цикории. Цикории, цикории, цикории кругом. Голубенькие, как васильки... И мальва. Очень интересно. Такая гора! Вот знаешь, внизу речушка, как блестящая лента, вьется. А там внизу — деревенька. И вот она, видно там, что дальше огороды. Думаешь: были бы у меня это... Крылья!.. Так и взмыл бы! Ты знаешь, какое там место! Я всех, кого привожу туда, они: «Ух ты, аж дух захватывает!»

— Просто... знаешь... Родина вроде. Я ж там родился. Потом-то мы сюда переехали. Сначала в Москву, пять с половиной лет на территории таксомоторного парка в женском общежитии жили, комнатку такую маленькую дали. А потом сюда. Отец прочитал в газете, что звенигородскому району требуются трактористы-комбайнёры. И вот с 57-го года мы здесь, сначала жили в бараке, длинном таком, потом жили в коммунальном двухэтажном домике шесть лет, потом отец получил квартиру, дома понастроили. Потом мы с братом получили отдельные. Так что здесь мы давно живём уже.

— А туда тянет?

— Конечно! Ты что! Это болезнь! До девятого класса мы с самого детства каждое лето туда приезжали. Иногда зимою. А потом почти восемнадцать лет там не был. И всё думаю: не могу больше. Если не дают летом отпуск, рассчитываюсь и уезжаю на три месяца. Пусть делают, что хотят. Пусть увольняют. Ну, правда, со скандалом дали мне отпуск, я там уехал-приехал. Ну, старухи узнают, конечно. Туда-сюда по деревне прошёлся. Дом дедушкин уже развалился. Амбар-то пока целый, я в амбаре лёг, на кровати лежу. Лежу. Не спится чего-то. Светлячков набрал, в подвале светлячков много. Набрал банку и высыпал их на стол. Потом двери закрыл, выключил настольную лампу. Светлячки расползлись по занавескам и такие, знаешь, зелёные фонарики кругом. Я лежу — такой балдёж! И потом мне чего-то в голову ударило. Я теперь верю, что Ньютону упало яблоко на голову. Раньше я думал, что это туфта, обыкновенная туфта. Я вскакиваю, включаю настольную лампу, хватаю авторучку, тут у меня тетрадь лежала. Пишу:

Тульская деревня, Родина моя,
В Дубиках я вырос, в Куркино родня,
Там цветочек мальва, до того родной,
И река красивая под горой крутой.
Долго ностальгия мучила меня.
Ну, когда же с Родиной повидаться я?
И стою я снова на горе крутой,
И душица с мятой под ногой босой...

И лёг обратно спать.

— Так Вы поэт!? — я без преувеличения был ошарашен.

— Через четыре дня приезжает дочка с женой. Я говорю: «Смотрите. У меня тут возвышенные чувства, стишок написал». Ленка так почитала и говорит: «Да, ладно пап, это Есенин. Не гони».

Евгений засмеялся.

— Не поверила. Просто, вот это, знаешь... Поднялось как-то всё, ностальгия вот эта.

— Действительно, как Есенин...

— Ну, нет, слог чуть-чуть другой. Ямб от хорея я ещё плохо отличаю.

Как, бишь, у Пушкина было сказано про Евгения Онегина?

Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.

Какая немыслимая, фантастическая переключка времён разворачивалась перед моими глазами!

— А что это за мальва такая?

— Это цветок такой, на граммофон похож. Один — жёлтый, другой — розовый, третий — красный. Встречаются и сиреневые. Около каждого-каждого дома высажены. И вот идёшь — одни граммофоны кругом. Для меня роза — это поганка по сравнению с мальвой. Потому что ностальгия, понимаешь? Детство сразу вспоминается, а роза мне ничего не напоминает.

— Понимаю, а люди там другие?

— Старики — точно другие! Мы уже здесь просто волчата и волки. Подмосковные, московские, питерские — мы уже не те совсем. У нас всё замешано на деньгах. А те... Вот они говорят: «Жень, чего ты закрываешься? Зачем ты террасу закрываешь на замок, когда на рыбалку ходишь?» Я говорю: «Мало ли чего?» Они мне: «Ты чё, дурак?» Они палочку ставят около двери. Если стоит палочка, значит, никого нету. Даже и не дёргаются. Какой там «мало ли»? Они считают меня диким, понимаете? А я-то посмотрелся тут всего.

— Нет, народ намного проще. Там из Москвы были туристы на берегу. В палаточках жили. Девочка лет восьми заболела. Простыла и затемпературила. Делать нечего, засобирались в город. Вдруг подъезжает на лошади мужик к ним и говорит: «Наши бабки гаварят, у вас девочка забалела» (Евгений характерно акает, переходя на южнорусский говор). Поднимает сено, достаёт снизу трёхлитровую банку молока. «Пакипятите, папаите и всё прайдёт. Банку палажите пад кустик. Я патом заберу».

Они сразу руку в заманок, как мы здесь привыкли. А он им: «За ребёнка денег не беру».

А любитель выжрать человек. Но за ребёнка деньги он никогда в жизни не возьмёт! Свои принципы, понимаешь. А мы уже замешаны все только на другом. У нас уже ничего не осталось. Уже честь и совесть притупленная.

— Здесь второй этаж весь был спальный. Когда восстанавливали, место оставили под камин. Сейчас никто не умеет такие каминные ложить. Надо специалиста обалденного, который может каминные ложить так же, как раньше. На дачах-то — это одно дело, там по своему проекту можно тяп-ляп, но такие каминные, как раньше делали, никто не может. Перевелись мастера. Так же, как потихонечку переводятся гармонисты, которые раньше были. У меня дед так играл, что весь посёлок сбегался. Вот мы один раз поехали. Ну, мы тульские, мне просто стыдно, если я не буду играть на гармошке, понимаешь? А мы поехали к бабушке на восемьдесят лет, справлять юбилей. Все родственники поехали. Все сыновья, внуки, правнуки, все приехали. Я даже на попутке добирался, мне места не хватило в машине. Ну, гуляли где-то до трёх ночи, гуляли, гуляли. Бабушка говорит: дома у меня могут ночевать только пятнадцать человек, ну на сеновале пятеро. Остальные к Верке, к Вальке, к Ваньке. Это на другую сторону городка. Ну, мы собираемся, берём с собой самогона, водки и четыре гармони. Я, отец, дядя Коля и дядя Ваня. Играем все одинаково, потому что друг друга учили. Мы надеваем четыре гармони, сзади женщины, и мы играем в унисон четыре гармони «Страдания», а женщины поют. Три часа ночи, все свет повключали — и в одноэтажных, и в многоэтажках. Никто хамского слова не сказал. Все вышли на балконы посмотреть, что это такое. Мы идём по дороге, играем, они поют страдания, женщины. Это вообще что-то было, вообще! Четыре гармони, почти одинаковый лад. Ну, одна чуть поглубже, одна чуть пописклявей, но все вместе сливаются. Очень так, как говорится, пронимает.

— Моему отцу было десять лет, когда война началась. Все ушли, один прадед остался. У него с ногой что-то было. Бабушка говорит: «Надо зарезать барана» Есть-то чего-то надо. А ему десять лет. «Петь, ты старший». Другим восемь, шесть и пять. Он берёт косу, залезает на барана и пилит ему горло. Потом уже остальные все там разделявают. А чего делать?

В другой день стучатся в окно девки молодые: «Наталья, отпусти Петьку нам поиграть на гармошке». Война. Ни одного мужика в деревне. А бабам хочется попеть, ну, девкам-то. Попеть песни, хотя бы посидеть и послушать гармонию. Вот он, десятилетний, сидит, играет на гармошке, они там «Страдания» разные поют.

— Бабушка мне говорит: «Женя, только и выжили во время войны за счёт речушки Птань. Все бы померли, все до одного человека. Вот зимой рыбёшку кой-какую ловили, раков. И вот только благодаря ей, а так труба бы всем была. Кто траву там, кто крапиву сушил, потом заваривали похлёбку, рыбки добавляют, вот уже какая-то уха получалась, понимаешь?»

— Всё впроголодь. Ничего не было. Когда мать умерла, мы какие-то бумажки искали в квартире. Достаём чемодан мыла хозяйственного, чемодан мыла туалетного, чемодан порошка. Представляешь? Люди войну прошли! Мы сели с братом, открыли эти чемоданы и чуть не заплакали. Взяли бутылку водки, столик там разложили...

Евгений замолкает, упершись взглядом в землю перед собой. Мне представляется, как в хлеву безумно блеет баран, а пацан его режет длинной неудобной косой. Животное рвётся изо всех сил, зрачки расширились, рот хрипит и оттуда вываливается язык. Шерсть, тёплая от крови, липнет к ладоням, из которых выскальзывает металл. У ребёнка не хватает навыка кончить дело быстро, и всё оборачивается мучительной схваткой.

— У меня дед вообще очень хорошо играл. Отец на хромке играл, а дед — на русской гармошке. Понимаете, отличается у них строй. Жим-разжим. Вот русская — у неё мало клавиш. Ну, у неё, вот, на эту ноту давишь — соль, разжимаешь — до. Я пробовал — очень тяжело, а на хромке я играю нормально. Мне женщины подарили, лежит на втором этаже под лавкой гармонь. Я иногда выйду здесь вечером, сыграю. Подобрал «Снегири» Трофима и там кое-какие современные подбираю песенки.

— Я у него спрашиваю: «Деда, а почему Тулу не взяли?» Он говорит: «А как её возьмешь, Женя? Когда вот здесь патроны делают (Евгений указывает двумя ладонями по левую сторону от себя), а вот здесь они из окна стреляют (Евгений переводит обе ладони направо). У них патроны-то не кончаются!»

Рассказчик заходится хриловатым смехом и чуть дёргает при этом головой. Я посмеиваюсь за компанию.

— У нас такие мастера были. Да те же самовары. Видел, в доме самовары стоят с двумя крышечками? Оттуда. Демидов всё же с Тулы начинал. Уж потом на Урал-то всё перенёс. А вначале всей Тулой командовал. Он и пушки начинал там лить, потом понял, что руду возить неудобно. Далековато всё это сырьё. На Урал всё и пошло. А мастера-то остались. Половину он перевёз на Урал, а половина осталась. Мастера были. И народ сам по себе, понимаешь, такой душевный народ.

— Я деда спрашиваю: «А кулаки — мироеды?» А он мне: «Шенок, ты, шенок». Он всё на древнерусском таком... Давеча, вчерась, надьсь, намедни. Знаешь такой у нас язык-то тульский. Ванька, глян-ка, пупыр лятит. И он говорит: «Шенок, ты, шенок, это ж были хозяева!» (Евгений произносит хозяева с ударением на последний слог). У них увнук работал, снааха работала, усе работали. Я ему стихи посвятил. Он же... за нас готов был горло любому перегрызть. Таз поставит с этим кулешом молочным. Каждому по ложке даст, нас же семь человек. И всё вот это. Мёд всё время качал, у него восемнадцать ульёв было. Там все тогда мёд качали. Но дело не в этом. И он: «Женька, ты у меня пчальник будешь». Пчальник. Потому что я ему помогал. Мне тогда двенадцать лет было. Надевал маску, заправлял одежду, но пчёлы всё равно лезли. Кусали, конечно. Но если постоянно борtnичать, то иммунитет вырабатывается. После укуса только маленькая красная точка виднеется. Потом три-четыре года проходят, иммунитет потихоньку гаснет. Снова шишка после укуса. У меня, правда, второй дедушка, Терентий, как раз от этого и умер. И никакой иммунитет не помог.

— У него аллергия на пчелиные укусы? Мне рассказывали, что всего один раз человека ужалили, и он умер от отёка.

— Да нет. Просто насчитали около трёхсот восьмидесяти укусов.

— А как же так получилось!?

— Соседка прибежала, жара была, июль. Говорит: «Помоги, рой улетел и на грушу сел, а муж уехал». Он: «Ты знаешь, у меня чего-то голова болит. Давай потом». Но она его стала упрашивать, чего-то наобещала, не знаю. Он пошёл, безо всего снял рой, посадил его обратно, туда-сюда. Во-

ротился в сенцы, сел и говорит: «Как же мне плохо». Бах — и готов. Триста с чем-то укусов. Представляешь, без маски и без всего!? Вначале сказали, что паралич сердца, а потом, когда посмотрели, поняли, что от яда. От излишнего яда смерть наступила. Очень большая доза.

Снова вспоминается Тургенев. Есть у него рассказ «Смерть», где описано, как умирает русский человек. Сказано там, что «Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто».

Но я бы добавил, что и с жизнью своей русский человек обращается так же холодно и просто. Может, внутри он твёрдо знает, что по ту сторону лучше?

— Тут у нас днём нормально. Но ночью здесь столько идиотов. Загадили весь посёлок. И вечером идут сюда гадить, понимаешь? Расколоть бутылку, бросить банку, чего-то оторвать, сломать... Это вообще ужас, садисты. Ему объясняешь, а он: «А чё те надо?»

Сидят, пиво сосут, матерятся. Им замечание сделали, что группам мешают, а они в ответ: «Мы — правнуки Арины Родионовны». Всё это с каким-то идиотизмом, с поддёржкой какой-то, знаешь. Их совершенно не волнует, что Пушкин тут был. Другим они живут. Хотя бывают и такие взрослые, только держись. Кругом дети идут группами. Там двадцать человек, там — тридцать, а он летит на велосипеде, или, там, на скутере. Огромный мужик, с рожей в три раза больше моей. Я говорю: «Товарищ, проведите по аллее руками, а за мостом езжайте». Он мне: «А ты кто такой!? Завтра скажу, и тебя здесь не будет». Я сначала обычно нахожу компромисс, не грублю. Потом он меня вывел. О-о-о-о! Я разошёлся. Было давление нормальное, а пришёл после него, чувствую, у меня лицо прям аж горит. Аж прям мандраж, трясло аж. Померил — двести десять на сто десять! Вот за какие-то за пять минут! Нет, хамство это, оно в крови уже, ты что. Это очень плохо закончится для нас.

— Есть, правда, смешные случаи. Вот тут был один, как бы это назвать... нюанс. Нет не нюанс, а анекдот. Ну ладно. Калитка закрыта. Пасха была. Выходной день. А я не могу в охранке. Там у нас очень жарко. Я попью кофейку — и на улицу. Я здесь хожу, а там калитка закрыта. А там баба ведёт мужа пьяного с кладбища. Сильно пьяного, он еле ноги переставляет. Она его так под руку ведёт, так тяжело. И он идёт, идёт и вдруг около калитки останавливается. А здесь закрыто. И мне сюда кричит: «Пушкин дома?» Ну, он мне приколот, понимаешь? Я думаю, как бы мне это ответить. Я рожу серьёзную сделал, подхожу: «Слышь, мужик, тихо. Не ори». У него сразу настрой такой, наострился. «Он с Больших Вязём с бала приехал, поддатый здорово, отдыхает на втором этаже». Если бы ты видел, у него на глазах мимика меняется, глаза открываются, хотя совсем были закрыты, и он к жене обращается: «Еб*ь, я ж Шурика разбудил!» и пошёл так нетвёрдо. Я полчаса смеялся потом. Шурика разбудил! Ха-ха-ха!

Тут мимо нас проходят смотрительницы, и мой собеседник осекается. «Евгений, сходите, пообедайте», — уговаривают его женщины. Он кивает в ответ.

— Там, наверное, правда остынет всё? — присоединяюсь я к уговорам. — Да и мне уже пора.

— Ничего, разогреем. Мне можно ещё неделю не есть. Я бы показал тебе, какой я был. У меня флотские фотографии там есть. Ну, шестьдесят... нет семьдесят два килограмма у меня было. Такой жилистый, худенький стою. Это с семидесятого по семьдесят третий я на Северном флоте служил. А потом женился, всё вроде немножко пошло, пошло, а потом взял да и бросил курить. Я курил одиннадцать лет. Ну, думаю, маленький ребёнок родился. Надо. Пересилил себя. Как попёрло! За шесть месяцев я накинул восемнадцать килограмм! Потом кое-как, кое-как это всё остановилось. Всё остановилось, но полнота уже всё-таки мешала. Нагнуться нормально нельзя. Я десять лет не курил, пересиливал. А потом перемкнуло, снова закурил и курил долго. Потом второй раз бросил, ещё двенадцать килограмм накинул. И вот теперь снова курю. Знаю, что я много курю, но бросать не собираюсь, иначе всё, труба. Вот я бросаю курить, у меня получается избыток кислорода в крови, и организм начинает требовать всего остального... Ну, мне так объясняли. Ужас! Сейчас я не хочу есть, а раньше я бы, ты что! Уж давно бы уже убежал, если бы я не курил. Всё сожрал бы, что есть.

— Многие, поди, не упускают возможности поехидничать? Шуточки отпускают всякие насчёт веса?

— А то. Я до этого работал водителем-погрузчиком на «Скани». У нас там девочка была, экспедитор. Такая кругленькая, как пончик. Я говорю: «Наташ, вот тебя подкалывают, что ты такая толстенькая?» Она: «Подкалывают». «Я обычно отвечаю: матрос без пуза, что баржа без груза. Или:

пока толстый сохнет, тощий сдохнет. А ты как?» «Дядь Жень, я обычно говорю: на чужую мякоть не фига вякать». Ха-ха. Я теперь тоже так отшиваю. Людям как-то надо уходить от этих приколов. Ну, я понимаю, там, раз пошутил, два. Но когда постоянно, это уже системно так. Надоедает сильно. Пойдём, покажу тебе фундамент старой усадьбы.

Мы встаём и огибаем дом с тыльной стороны.

— Видишь, какие ступеньки? Прямо, когда ступаешь, мурашки по ногам, как будто предчувствие какое старины. Пошли, я провожу тебя и покурю там, а то мне здесь нельзя.

Выходим на аллею. Мне как-то грустно попрощаться с человеком, стоящим напротив. Кажется, что знакомы мы давным-давно. Хочется сказать напоследок что-нибудь приободряющее.

— Может, не случайно Вы сюда попали? Может, это судьба?

— Какой там! В кризис уволили. Сейчас-то уже в сорок восемь лет никому не нужен, не то, что в мои годы. И вот устроился, думал перезимовать. Два года уже зимую. Много я, конечно, здесь узнал за это время. Ну, не знаю, как это объяснить... Мне просто самому интересно как-то. Там пойду то послушаю, там — это. Где-то сымпровизируешь, ну, не наврёшь, конечно, а так чего-то добавишь.

— Спасибо Вам большое, было очень интересно. Мне было бы приятно отблагодарить Вас за экскурсию.

— Да, нет, не стоит, не стоит. Что ты!

— Надо приехать к Вам летом, на Красивую Мечу! Может, свидимся.

Видно, что Евгений тоже не хочет расставаться. Он сопровождает меня к выходу из парка и как будто хочет сказать ещё что-то.

— Приезжай! Природа тут и впрямь особенная. Сама-то область очень запущена. Липецкая лучше живёт, там губернатор хороший. Вот еду я на мотоцикле, заезжаю туда. Гречка, кукуруза, свёкла сахарная. Я раз, ныряю опять в Тульскую область. Степь да степь кругом, колючки и полынь. Совсем... Если бы кто увидел, американцы там, немцы, то сказали бы: «Вы что, русские, совсем оборзели?! Такая земля! Она в руках тает! Чернозём! Обалденный чернозём! Что же вы делаете?!» Понимаешь, пустота, совершенно пустота. Людей нет, все деревни повымерли. Ну вот, в моей во семьдесят восемь домов! И семь семей живёт только зимой. А летом, конечно, у каждого дома по две машины. Ну, все внуки, правнуки. Но мы приехали просто отдохнуть, погулять, а жить-то мы там не собираемся.

Становится ясно, что самое главное мой собеседник приберёт на конец. Всё, что наболело, всё, что саднит и точит сердце, рвётся сейчас наружу. И нет этому никакого удержу. Горький взгляд его повлажневших голубых глаз не оставляет в том никаких сомнений.

— Всё не так как-то... Не... Не правильно это. Я тут стишок сочинил. От обиды. Мелочь считал.

Так зачем копить добро по крохам
И с полочки денежки считать?
Все равно ты будешь старым лохом
И надежду можешь не питать...

— Просто я смотрю на этих старух и думаю: «Они пропахали всю жизнь. И вот она сидит и считает...» Да я не только про старух. Посмотрите, что у нас творится. Во! Приезжает группа и одна девочка, третьеклассница, достаёт из джинсиков при мне четыре тысячи — тысячи, пятисотки, сотки. У меня на глазах. Она оттуда стольник достала, раз небрежно сунула в окошко и говорит: «Шкапулочку». А я просто наблюдаю. А вторая девочка, её одноклассница, стоит и считает жёлтенькие монетки, полтиннички и десюнчики. Говорит: «Серёжа, ты мне не добавишь пятьдесят копеек, я хочу календарик купить?» Понимаешь?! Я вспоминаю своё детство, когда нам всем давали по пятнадцать копеек, и мы брали по три пирожка. Вот чего обидно! И вот это вот теперешнее детское распределение... Они вырастают... Одни озлобляются, вторые борзеют, наглеют. Они хамеют, просто хамеют! Они человека за человека просто не считают. Один подходит, чёрненький такой. Иногда в классе много таких, по семь или восемь человек. По сундуку так вдарил. Ты видел там, в коридоре сундуки стоят большие, дорожные?

Я киваю.

— Бах! Ногой так стукнул. Ему говорят: «Что такое, ты чего бьёшь?! Это раритет!» Он: «Да какая

раритет! Сколько он стоит, скажи?» Вот этот пятиклассник или шестиклассник. Ему смотрительница говорит: «Не продаётся!» Он: «Сейчас нет такого, чтобы ничего не продавалось!» Он, эта сопля зелёная, говорит такие вещи. Почему-то мы на других принципах росли. Я говорю, когда-то было написано: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Ну, про ум я промолчу. Но сейчас чести и совести совершенно нету! Всё, загнали в угол! И она сидит там тихонечко. Тебя там оскорбили по-всякому. А ты думаешь, какая дуэль! Я сейчас тихо боком обойду и всё. Вот наша честь и совесть!

Последние слова он почти выкрикнул. Потом резко развернулся и пошёл быстрым шагом в сторону усадьбы, бросив мне: «Давай, счастливо!». Очень скоро фигура охранника скрылась в усадьбе.

Дорога назад была необременительной. Солнечный день находился в самом разгаре, воздух прогрелся, и к его свежести примешивался аромат едва слышной дымки. Пространство вдоль шоссе ещё утопало в зелёном море, которое, впрочем, уже утратило летнюю сочность. Пробок не было вплоть до Москвы, расширенная автострада манила и распахивалась, приглашая промчатся с ветерком. Поддаваясь желанию, я обгонял и нёсся вперед, навстречу горизонту, игнорируя недовольное рывканье двигателя и укоризненное покачивание стрелки тахометра взад-вперёд.

Не хотелось ни думать, ни вспоминать, ни представлять. Казалось, сознание задремало, уставшее от полученных впечатлений, и всё тело, организм, существо моё теперь подчинилось одному лишь природному инстинкту. Лишь иногда в голове вспыхивали и таяли мягкие глаза пожилой женщины из захаровской усадьбы.



Поэзия

Сэда Вермишева



Сэда Константиновна Вермишева — поэт, публицист, учёный, общественный деятель, председатель Российского культурно-исторического общества им. Грибоедова, сопредседатель Московского общества дружбы с Арменией, сопредседатель русскоязычной секции СП Армении, член правления Международной ассоциации содействия культуре, член правления Союза армян в России. Родилась в Тбилиси. Окончила экономический факультет Ереванского государственного университета, затем — аспирантуру. Успешную научную, аналитическую, публицистическую и общественную работу сочетает с творческой работой в литературе. Автор 17 поэтических сборников. В издательстве «Узкоречье» вышли книги о её жизни и творчестве (Алла Аракс-Айвазян. «Дочь народа моего» (Рязань, 2001); Нина Пименова. «Лица необщее выраженьё» (Рязань, 2002); «Феномен Сэды Вермишевой» (Рязань, 2003). Член Союза писателей России. Лауреат многочисленных государственных и литературных наград. Живёт и работает в Москве и Ереване.

Из цикла «Начало»

Поэт

Ты пребываешь здесь
Инкогнито,
Никто не должен в мире знать,
Что солнце ввысь
Тобою поднято,
Что ты велел ему
Сиять.

Ты есть Закон.
Твои Владенья
Лежат везде,
Где солнца свет!..

Ты — сын побед,
Не поражений —
Для духа поражений
Нет!

Ещё идут твои сражения.
Гори,
Владей,
Твори,
Поэт!..

* * *

Я почему-то жить — не тороплюсь.
Мне кажется,
Что впереди
Всего так много будет...
Я день не отпущу,
Пока не наслажусь
Неторопливо ходом буден...
Они мне так милы и дороги —
И тень листвы, и мягкий
Шёпот крон...
Я так люблю и пыль, и даль дороги —
Идти по ней без шума и знамён.
Мне кажется,
Что много мне отмерено,
И ни к чему сдвигать свершений срок.
Когда душа в бессмертии уверена,
То не спеша
Возводит свой
Чертог...

* * *

Мне трудно подниматься
По утрам.
Спешить к делам.

Преследовать удачу.
 Мне кажется,
 Что я тогда лишь что-то значу,
 Когда я льну
 Щекою тёплой к снам,
 Подсвеченным проснувшимся
 Сознанием.
 И кажется мне домом
 Мирозданье...
 И тишина,
 И сумрак по углам.
 Как я люблю,
 Как верю этим снам...

* * *

Туманы с тучами слились,
 И неба свет так сер
 И скуден...
 Ручьи,
 Как реки,
 Растеклись,
 Базар немногочелюден.
 Визжит пила на лесопилке
 И заполняет звуком дали.
 Пройдёшь —
 И мягкие опилки
 Набьются в мокрые сандалии.
 Забор укрыла повиллика...
 Проходят серо дни,
 Безлико,
 Безликостью не тяготясь своею.

Здесь вызревают зёрна тихо,
 И я их торопить
 Не смею.

* * *

Начну письмо.
 Под дождь так тянет
 Лелеять слов обугленную хворь...
 Раскрыть окно,
 Приставить к двери камень,
 Начать письмо.
 Писать в стихах.
 Без адреса
 Без почты,
 Которая бы приняла его.
 А шум дождя
 Вберут,
 Впитают строчки —
 Так сладостно с природою родство...

И только к утру тихо прозревая,
 Со лба откинуть вымокшую прядь,
 И, с подоконных досок дождь стирая,
 Легко вздохнуть.
 И снова жизнь
 Начать.

* * *

Какая тишь стоит над миром.
 Заснул мой город.
 Далеко
 Бросает свет полоской узкой
 В слепую ночь
 Моё окно.
 Белеет снегом занесённый
 Проспект,
 И, словно покровы,
 На снег ложатся запоздало
 Чеканных листьев кружева.
 Не шелохнётся тополь тонкий.
 Он зачарованно глядит,
 Как серп луны, прозрачный,
 Ломкий,
 Туманным облаком кадит.
 В саду скамеек тёмных тени
 Легли полосками на снег —
 Прощальный знак порою осенней.
 Остановило время бег.
 А тишь стоит.
 Стоит — над миром.
 Мне в тишь такую —
 Не уснуть.
 Застыло всё.
 Лишь звёзды в небе
 Неслышно строят
 Млечный Путь.

У памятника Туманяну

Просторной площади овальная ладья
 Меня к утёсу твоему выносит.
 И листьев золото
 Струит вослед мне осень —
 Прозрачный вздох
 И пламя бытия.
 И глыба воздуха сиреневого,
 Тая,
 Мне постепенно заполняет грудь,
 И нет у жизни
 Ни конца, ни края,
 И бесконечен по земле
 Мой путь.

Мне птицы опускаются на плечи,
И что-то строгое и стройное
Поют.
И предвещают мне
Большой и сложный вечер,
И будет с хлебом добрым схож мой труд.
Я завершаю первую страницу.
Я ощущаю счастье полных сил.
И в небе вижу я
Своей свободы птицу,
Которую никто
Не покорил!

* * *

Вы умирали когда-нибудь
Летом,
Лёжа в высокой зелёной траве?
Глаза закрывало вам
Солнечным светом,
Играли сверчки на волшебной
Трубе?
Птицы в зените над вами
Стенали,
Взмахами крыльев благословив?
Взглядом печальным цветы
Провожали,
В запахах тонкие вас обрядив?
Где-то поодаль плакали реки,
Камень точили,
Дробясь о скалу,
Плыл над полями сказочный реквием,
Сладко смешавши
Скорбь и хвалу?
Синие ветры вас окликали,
Голосом крови,
Просторов,
Глубин?
Вы умирали,
Вы уплывали,
Вы отрывались от всех
Пуповин?

* * *

Я так хочу стихотворенье
Придумать нежное тебе.
Страшит возможность разночтений —
Так много прочерков в судьбе.
И чаще все слова в молчанье
Уходят,
Как под хрупкий лёд.
И немотой,

Взамен признанья,
Всё чаще терпко вяжет рот.
Несоответствий горьких нота
Звучит.

И рушится строка.
О, если бы умел хоть кто-то
Слова переметать в стога,
Чтоб потянуло летним зноем
От их печали и молчанья,
Чтоб сентября густым настоем
Наполнить тишины звучанье,
Когда над ними облака
Проходят медленно,
Полого,
Не задевая крыш крылом,
Дорогой ветра, звёзд и Бога
В своём молчанье роковом.

* * *

Только бы имя услышать твоё...
Пусть его произносят чужие
Полузнакомые люди.
Какое это имеет значенье,
Если имя твоё —
Это первая песня,
Которую в жизни услышала я.
Если взгляд твой
Был первым лучом,
Что заставил меня
Опустить тихо веки,
И потом их поднять,
Чтоб вобрать тебя в душу свою?

Этой радости весть
Я поведала солнечным птицам,
И они вознесли её к небесам,
И поведали небу.
И небо вздохнуло глубоко,
И плавно поплыл белый свет
Облаков.

А когда крылья птиц утомились,
Они весть передали деревьям и листьям,
И шорох упругий
Тронул стебли и травы,
Но на камни земли
Этот звук не упал. Подхватил его ветер
В свои осторожные руки
И понёс мне навстречу,
И бережно мне
Передал...

* * *

Я видела тебя во сне.
Струился свет.
И леденило крышу.
Луна стояла, словно страж,
В окне.
И знала я,
Что я тебя увижу.
Я шла бесшумно,
По большим путям,
Раскинув руки,
Словно для объятия.
По разметавшимся по всем дорогам
Снам,
Которые должна была
Осмыслить
И понять я.

* * *

За пологом пурги.
За толщей снегопада,
Угадывала я
Твоё тепло и свет.
И как за Каином
Легко ступала Ада,*
Я за тобою шла
На голоса примет.
Ты был везде —
В движении,
В дыханье...
Ты был угоден жизни
И любим.
И тысячи явлений и названий
Я замыкала
Именем
Твоим.

* * *

Пусть отмирает.
Не уходит.
Я боль не выдержу.
Молчи...
Кружатся звёзды
В хороводе
Моей пустующей ночи...

Ты слышал взлеты куропаток, —
Такой шуршащий, быстрый звук?...
Вот так всё кончилось.
Когда-то
Мир выхватил меня из рук
Твоих.
И бросил в небо.
И вновь на землю
Уронил.
И не дал мне
Земного хлеба,
И для полёта
Не дал
Крыл.
Озеро «Парз Лич»*
Здесь тишина — сквозь гвалт лягушек.
На всю округу —
Ни души.
Деревья круглы,
Без макушек,
С изгибом грусти — камыши.
Всегда сырые здесь тропинки,
Ромашек россыпи — легки.
Здесь на воде цветут кувшинки,
На их ладонях — лепестки.
Здесь люди не дымят кострами,
И заросла травой межа.
Здесь сосны думают стихами,
Роняя хвою не спеша
*Парз лич — с арм. Прозрачное озеро

* * *

Я не хочу твоего возвращенья,
Свобода дороже любви.
Ни слёз,
Ни упрёков,
Ни гнева,
Ни мщенья —
Отплакали те соловьи.

И только — дорога.
Вся в лунном сиянье,
Над нею — морозная синь.

Дорога свободы.
Дорога деянья.
До смертного часа!
Аминь!

* Ада — жена и сестра Каина в драматической поэме
Дж. Байрона «Каин»

Поэзия

Олег Рябов

Родился в 1948 году в г. Горьком (сейчас Нижний Новгород). Поэт и прозаик, член Союза писателей России, директор издательства «Книги», член Российского Союза антикваров, Национального союза библиофилов. Главный редактор литературно-художественного журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», председатель Нижегородского отделения Литературного фонда России. Печатался в журналах: «Нева», «Север», «Сельская молодёжь», «Молодая гвардия», «Родина», «Кириллица», «Невский альманах» и других. Участник антологий: «Русские поэты. XXI век», «Молитвы русских поэтов», «Антология военной поэзии». Лауреат ряда литературных премий: «Нижний Новгород» в области литературы (трижды), им. Шукишина (г. Вологда), Бориса Корнилова (г. Нижний Новгород), лонг-листер премий: «Ясная Поляна-2011», «Золотой Дельвиг-2013» за роман «Когиз», им. И. Бунина в 2012 году за сборник стихов «Утки не возвратились». Живёт и работает в Нижнем Новгороде.

* * *

Ну, обидели! Так что же —
Так теперь — конец пути?
Что ж теперь — страдать до дрожи,
И не петь, и не светить?

И не пить вина с друзьями,
Бросить, не писать стихов?
Помолясь под образами,
Вновь идти в страну грехов?

Стыдно в поисках награды
Примерять чужой венец.
Есть на свете просто правда.
Есть же Пушкин, наконец!

Деревья

Как с ними говорить, когда они молчат?
Молчат они в любви, молчат в тревоге,
Молчат берёзки стайкою девчат,
Дубы молчат сурово вдоль дороги.

Как с ними говорить, когда они
Тебе внимают прямо с полуслова?
И ты молчи, тревогу прогони
И тождества достигни золотого.

И на тебя опустится с небес
Неведомого имени знаменье,
И можно будет без словес и без
Других... Но я забыл местоименье.

Черновик

Хотел — намёк на тонкий смысл,
А ничего не получилось.
Потратил чувство, время, силы,
А потерял резон и мысль.

Опять обрывки слов и строк,
Они в цветном калейдоскопе
Лежат фрагментами раскопок.
Зачем? — уже и невдомёк.

Я шёл, меня вела судьба
К столу, карандашу, бумаге
С сознанием цепной собаки
И со смирением раба.

И каждый раз, и снова, снова,
Как судный день и как беда,
Одна словесная руда!
Но, может быть, родится СЛОВО.

Твой сон

Да будет свят, как этот сад,
Проснувшийся уже в апреле,
Как этот мальчик, что в трусах
Кричит, качаясь на качелях.

Да будет свят, как женский стыд,
Твой сон, как продолженье бденья,
Как почка, полная листвы,
Но в ожиданье пробужденья.

Да будет сон твой свят, как сын,
Который вон — уже всесилен.
Спи — дождик льёт ручьём косым
И не найдёт достойных линий.

Да будет свят, как весь обряд,
Где есть зачатие и рожденье,
Но будет мир весенний рад,
Исполнив радость пробужденья.

Кузнечик

Как он ноту выверяет,
Ростропович изумрудный,
Под листом капусты рваным
Разбудив меня под утро.

А в ветвях колючей сливы
Слушатель его неловкий,
Серенький и молчаливый —
Воробей склонил головку.

А кузнечик — он в оркестре,
В песне вся его забота.
А на воробьином месте
Он — прекрасный суп с компотом.

* * *

Дарил цветы и на свиданья
Я приглашал прекрасных дам.
Там были ручек целованья,
Горели щёки со стыда
При неприличных комплиментах,
Там были вздохи и мечты,
И были тонкие моменты,
И ощущение пустоты.
Они прошли, все дамы, мимо,
И потому я, верно, жив,
Что называл своей любимой
Свою жену, а не чужих.

* * *

Мы все — из двадцатого века,
И те, кто родился вчера,
И те, кто в сознании ветхом
Дремлют по вечерам.

Мы все — только пороха запах
И кровь на горячей земле,
И нету надежды, что завтра
Мне будет чуть-чуть веселей.

Знамёна, знамёна, знамёна!
Сладка ли ты, радость побед,
Когда мы их всех поимённо
Не можем?.. А нужен ответ.

* * *

Утро. Чуть-чуть подморозило. Это
Нет, не прощанье — разрыв окончательный,
Это не просто закончилось лето,
Это зима, пусть и в самом начале.

Это разрыв — не болезнь, не простуда,
С корнем невысказанность многолетий,
Это не в доме разбита посуда,
Это не в кухне каскад междометий.

Ангел мой, что мы с тобою наделали!
Ну, переждали бы, перетерпели,
Может, заштопали б нитками белыми —
Нет, вон на липах сидят свиристели.

Значит, зима и простор одиночеству.
В лес? — там листва под ногами гремит.
Выпить? — чего-то сегодня не хочется,
Так ведь бывает в преддверье зимы?



Поэзия

Григорий Пичуричко

Пичуричко Григорий Петрович родился 30 сентября 1960 года на Дальнем Востоке в семье офицера. Окончил Крымский медицинский институт в 1984 г. Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в апреле-мае 1986 года. Автор трёх сборников стихов: «Четвертованная мечта» (2006), «Молчание вдвоем» (2007), «Пока любовь ещё в цене...» (2009).

* * *

Ты хочешь сказать мне,
Что берег туманный
Во всех перископах исчез,
И ход нужен задний,
И боцман с командой
Ко мне потерял интерес?
Но нет!
Флаг над мачтою реет,
И полный вперёд парусам!
И лучший мой враг
Не повешен на рее,
И жив я пока ещё сам.
Ты хочешь сказать мне,
Что берег всё дальше,
И бьём по посудинам зря?
Упали в колодец постыдного марша
На дно и мои якоря?
Но
Всё не фальшиво и сыро,
Как берег родной впереди:
Мы флаг поднимаем,
Разорванный, в дырах,
Чтоб шаг до победы пройти.

* * *

Воспоминаний тягостный удел.
Сегодня здесь я —
И уже нигде,
Но тот, судьбу разбивший,
Мой апрель,
Те лучшие минуты на Днепре
Ушли в небытие...
А память помнит,
Едва дыша.
И как в полночном сонме
Звучит набат:
В Чернобыле пожар!
И снова за людей болит душа.
Никто не заставлял
И в спину не толкал:
Нас так учили — планка высока:

Коль ты воспитан сильным,
До утра
Решай — настала ли твоя пора.
За Родину!
Как в давние года
Пошли, презрев опасность и последы.
Славяне мы всегда,
Не деться никуда, —
И бились за своих,
Как наши деды!
Пожар в душе горит.
И, что ни говори,
Срывает сердца ритм
Чернобыльская драма.
За тех, кто в землю лёг,
Кто жизни не берёт,
Не вспомнив ни о папе, ни о маме.
*... Дома останутся верёвками качать
Хозяев бывших стиранные вещи,
И будет мир в безмолвии молчать,
Тяжёлый атом проглотив навечно...*

* * *

О любви так написано много,
Что боюсь повториться,
Но всё ж:
Ты прекрасна, моя недотрога.
Остальное — позорная ложь.

Остальное — позорное жало,
Что впивается в сердце моё,
Остальное — обычная жалость,
Как забытое в поле жнивье.

И рассказывать глупо, наверно,
Так любить может только один:
Он всегда будет честным и верным,
И у ножек твоих господин.
И белёсые памяти пряди
Нас от правды спасают едва.
Вы простите меня, Бога ради,
Что достигнуть не смог естества.

Но, поверьте, стремился и алкал,
И пытался, и плавил, и жёг...
И старался...
И очень мне жалко —
Получился неважный итог.

За любовь принимаю разлуку
За судьбу — недопитый бокал.
Но держу твою нежную руку,
Как молоденький глупый нахал.

Остальное — позорное жало,
Что впивается в сердце моё.
Остальное — обычная жалость,
Как забытое в поле жнивье...

* * *

А могла бы быть счастливая семья!
Но не получилось что-то.
В детство впал
И размечтался я,
Но сегодня четвёртое...
Суббота.

А завтра — новое воскресенье.
И новой жизни не остыть.
А я всегда любил Есенина,
Но не любила его ты.

Множим и делим
Наши пути.
Кто мы на деле,
Как нас спасти?

В детстве размечтался было.
Но!
Сегодня четвёртое...
Суббота.
Сводить бы тебя в кино,
Но не срастается что-то.

Или это я далеко,
Или ты не так близко?
Околесицу несёт гороскоп —
И не подать ему иска!

В детстве про запас столько лет!
Бесконечно много...
Я б тебя сводил на балет,
Где ноги.

Я б поставил крест
На наклейке «Зубровская»,

Но грозит мне страшный арест —
Ты не любишь Маяковского!

А кого же ты любишь, скажи?
Сегодня четвёртое...
Суббота.
И июльское утро свяжи
С котом Бегемотом.

Кто кого там убил,
Какого Ленского?
Я никогда не любил
Вознесенского.

А когда-то была
Печь за ричкою,
И назвали её
Пичуричкою.

А могла ведь случиться
Счастливая семья.
Пацанов родные лица
И девчонок во сне вижу я.

Но из радио опять — вау!
Поёт Розенбаум.
И опять четвёртое...
Суббота.
Это что-то...

* * *

О чём задумались рассветы,
Густую зелень беребя?
И где заумные советы,
Когда я снова без тебя?

Зачем вопросы и ответы
Трубой восторженно трубят?
И почему не надо света,
Когда я снова без тебя?

Моя ли песня не допета
В кругу танцующих ребят?
И почему случилось лето,
Когда я снова без тебя?

Продайте, глупые поэты,
Мне пару слов, себя любя!
Но ни к чему, поверьте, это,
Когда я снова без тебя...

Брянские берега

Владимир Сорочкин

Владимир Евгеньевич Сорочкин родился 21 января 1961 года в Брянске. Стихи и переводы публиковались в журналах и альманахах: «Наши современник», «Русская провинция», «Москва», «Молодая гвардия», «Юность», «Смена», «Дружба народов», «Форум», «Литературная учёба», «Поэзия», «Московский вестник», «Огни Кузбасса», «Вошебная гора» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Всемирная литература» (Минск), «Белая вежа» (Минск), переводились на белорусский, украинский и болгарский языки. Автор книг: «Луна» (1995), «Тихое «да» (1997), «Завтра и вчера» (2005). Лауреат Всероссийской премии им. Ф.И. Тютчева «Русский путь» (2001), им. А.К. Толстого «Серебряная Лира» (2014), литературной премии «На земле Бояна» (2009), им. Н.А. Мельникова (2010), международных литературных премий им. Кирилла Туровского (Белоруссия, 2010), им. В.И. Нарбута «Пять хлебов» (Украина, 2013), дипломант конкурса им. Сергея Есенина (1997), V и VIII Московских международных поэтических конкурсов «Золотое перо» (2008, 2011). Награждён медалью «За вклад в развитие города Брянска» (2013).

Председатель Брянской областной общественной писательской организации, секретарь Союза писателей России. Главный редактор альманаха «Литературный Брянск».

* * *

Да, поэты — всего лишь поэты,
Их юдоль не похожа на рай.
Где-то бродит средь звёздного света
Одиноко Поснов Николай.

Пеленою туманов, обманов
Он окутан меж горних высот.
Там едва ли Георгий Иванов
Кружку пива ему поднесёт.

Став травкою, водою, золою,
На уставшем, подбитом крыле
Он мытарствуется, предан землёю,
Он покоится, предан земле.

Живы строки с прозрением поздним,
Звонких рифм неустанен полёт,
Но, увы, перед ликом Господним
Нас стихов мишура не спасёт...

В ярком блеске небесного сонма,
В доброте, что течёт через край,
Ты замолви за тёзку хоть слово
Перед Богом, святой Николай!

* * *

Речь несвязна и убога.
Неизвестен смертный час.
Что же нам просить у Бога?
Бог и так услышит нас.

Перед небом в звёздных искрах,
Средь разверзшихся могил
Лишь о судьбах самых близких
Я бы Господа молил.

Божий свет — благой и милый
Разливается в груди.
Святой Господи, помилуй,
Сохрани и пощади!

К братьям-славянам

С лихвой нам хватило и горя, и славы,
Трудов и величия, страха и праха. —
Нам, дальним потомкам могучей державы
Святого Владимира и Мономаха.

Менялись века, времена, государи,
И строились крепости, храмы и струги.
Нас разъединяли Литва и татары,
Но тщетными их оказались потуги.

Щетинились наши щиты на Каяле,
Мы падали в травы под небом высоким,
Но нас всё равно под себя не подмяли
Безудержный Запад с бездушным Востоком.

Мы помним заветы отцов и былины,
Славянскую мощь и славянские лики. —
Мы будем, как некогда, снова едины,
А значит, как некогда — снова велики!

* * *

Пусть холодная тень пробежит по судьбе,
Но лишь станут прочней нас связавшие нити.
Как легко каждый миг вспоминать о тебе —
Невесомой, как летнее солнце в зените.

Эти дни, словно сны, пролетают, и в них
Остаётся надежда сияющим следом.
Как легко о тебе вспоминать каждый миг
Бесконечного дня, осиянного светом.

Не хочу ничего забывать и менять.
Не прервётся горчащая память живая.
Как легко каждый миг о тебе вспоминать,
Нити солнца в волшебный клубочек свивая.

* * *

О, как спешит сирень цвести,
Когда ночами бьёт остуда.
Шепчу: «Прости меня, прости,
Моё нечаянное чудо...»

Пусть я ни в чём не виноват,
Но посмотри, как, изнывая,
Сирень горит, слова горят,
Своей вины не признавая.

Готов вобрать духмяный вихрь
Любой каприз, любую шалость,
Когда дыханье губ твоих
С небесным сумраком смешалось.

Как густ и сладок аромат
Цветенья, мая и печали. -
Мы столько лет уже подряд
Лишь этим воздухом дышали. -

Так неразрывны и просты,
И бесконечны в дымке смутной
И эта жизнь, и май, и ты,
И этот день сиюминутный.

Черёмуха цветёт

Как ночь черна! Черёмуха цветёт,
И кажется, за неимением веры,
Что в этом городке — наперечёт
Знакомы мне все улочки и двери.

Я здесь — впервые. В мареве весны
Пусты глухие окна, как стаканы.

Спит городок. И сны ему тесны,
Но так наивны и благоуханны.

Лишь нависает влажною стеной
Черёмуха, обрушиваясь в плаче.
Ты — далеко. Ты даже не со мной.
Ты — там, где всё иначе. Всё иначе.

Как ночь черна в углах зелёных ниш!
Как жжётся запах блёклой пеленою...
Я жду звонка. Сейчас ты позвонишь,
И эту ночь рассеешь надо мною.

* * *

Судьба завяжет в узел нить —
Руби с плеча, не то
Дашь повод, чтобы говорить
О том, что ты — никто.

И чтобы не сгущался мрак —
Прочь из привычных ниш!
Не смей молчать! Лишь только так
Ты имя сохранишь.

Да не совьёт змея гнездо
В душе, где Божий знак,
Пусть даже если ты никто
И звать тебя никак.

* * *

Разлука меня измотала,
Как будто, сливаясь в огне,
Тяжёлые струи металла
Тебя выжигали во мне.

С дыханьем рвалась ты наружу,
И мне не хотелось дышать,
И можно — казалось бы — душу,
Как слиток в руке подержать.

Когда-то алхимики так же,
Иного не зная греха,
Испачкавшись в угле и саже,
Крестясь, раздували меха,

И с тихой улыбкою счастья
Молились на образ святой,
И серый свинец превращался
В сияющий луч золотой.

* * *

Юрию Фатневу

1.

Вижу, как в зрачках змеи,
Сны тяжёлые земли.
В них — до кончиков волос —
Наше прошлое сплелось.
Жернова времён былых
Страх и горечь мелют в них,
В снах, которые сотрут
Жизнь, что мы оставим тут.

2.

Снятся и теряют вес
Сны счастливые небес.
Сны — белее молока,
Легче крыльев мотылька.
Эти сны, что было сил,
Лучик вечности пронзил,
Сны, которые подчас
Не всегда находят нас.

3.

Бесконечностью дыша,
Проплывают не спеша
Через нас, как через брешь,
Сны земли и сны небес,
Обжигая светом дня,
Обдавая и дразня
Незнакомым хохотком,
Синим звёздным холодком.

* * *

Тинькает синица,
Прячется в кусты.
Белый свет струится
Тихо на кресты,

Теплится, как будто
Сам себе не рад.
Тает в это утро
Снег среди оград.

Рядом с вереницей
Скорби и вины
Мечется синицей
Песенка весны.

Пролетая мимо,
Жизнь — как посмотреть —
Неостановима.
Так же, как и смерть.

* * *

Осени признаки явные
Видишь на каждом шагу.
Слышно, как падают яблоки
В стареньком нашем саду.

Дальнее поле распаханно —
Всё — из полос и заплат.
Дверь ненароком распахнута
На догоревший закат.

Можно простить и покаяться,
Можно забыться виной.
Вместе с тобой мы пока ещё,
Ты ещё рядом со мной.

Помню себя каждой толикой
Только твоим и ничьим.
Пахнет зелёной антоновкой,
Детством и небом ночным.

И расставаться не хочется,
Но, словно загнанный зверь,
Из темноты одиночество
Смотрит в раскрытую дверь.

Петру Проскурину ¹

Отзвуки поправленной славы.
Боль позабытой любви...
Родина, горькие травы —
Разве они не твои?..

Разве, хрипя на коленях,
Ты растеряла, терпя,
Память о тех поколениях,
Что поднимали тебя?..

Родина, милая, если
Ты не настолько слаба,
Встань, чтоб навек не исчезли
Имя твоё и судьба!

Видишь, взлетев над толпою
Татей, пошедших вразнос,
Крылья крестом над тобою
Огненный ангел вознёс.

¹ «Горькие травы», «Имя твоё», «Судьба», «Огненный ангел» — названия книг П.Л. Проскурина.

* * *

Казалось: вся жизнь впереди.
Коль молод — плевать на потери.
Но шёпот твой: «Не уходи» -
Меня удержал возле двери.

С тех пор пролетели года.
Я столько оставил и вышел
Из столько дверей — в никуда,
Но слов этих больше не слышал.

Давно отшумели сады,
Давно уже выросли дети,
Но шёпот твой: «Не уходи»
Ещё меня держит на свете.

Поэты

Когда ослеплённая светом,
Земная царит круговерть,
Рождаются в мире поэты,
Чтоб песни весёлые петь.

Им выстлана солнцем дорога,
Их ангел несёт на крыле...
Но песен счастливых немного
Я слышал на этой земле.

Когда разрывают планету
Раздоры, война и чума,
Рождаются в мире поэты,
Чтоб мы не сходили с ума.

В их строчках бывшее сойдётся
С грядущим, но, врезав под дых,
Безумное время смеётся
Над грустными судьбами их.

Сгорают, как свечки, сгорают
Поэты, и, вскинув чело,
Поют и, как будто не знают –
Зачем, для кого, для чего...

Воздав и победам, и бедам,
Лишь Слово — сильнее меча.
И новым затеплится светом
Спасённого мира свеча.

И звёзды сомкнутся над нею,
И пламенем станут огни. –
Чем судьбы поэтов темнее,
Тем ярче сгорают они.

И новые будут рассветы,
И ангела вздрогнет крыло...
Рождаются в мире поэты.
Зачем, для чего, для кого?..



Брянские берега

Дмитрий Стахорский

Дмитрий Васильевич Стахорский родился 11 сентября 1937 года в Харькове в актёрской семье. Окончил геологоразведочный факультет Донецкого политехнического института, Литературный институт им. Горького. Работал геологом в Забайкалье, на разведке угольных месторождений Печорского бассейна.

Член Союза писателей с 1982 года. Участник Всесоюзных семинаров молодых, депутат VIII Съезда писателей России от писательской организации Коми. Автор нескольких книг художественной прозы, а также радио- и театральных пьес, которые шли на сценах драматических театров Воркуты, Петрозаводска (Карелия), Кызыла (Тува), звучали по всесоюзному радио. Произведения Дмитрия Стахорского переводились на финский, польский и коми языки, да и сам он занимался переводами.

Лауреат ежегодного Открытого литературного конкурса короткого рассказа им. В.М. Шукшина «Светлые души» за рассказ «Пернатые зэки» (2006). С 1994 года живёт в Трубчевске.

Роднички

Любая река, даже самая большая и могучая, начинается с крохотного родничка. Эти роднички, бьющие из земли-матушки, питают реку до самого устья, тем она жива, и если иссякнут они — иссякнет река, исчезнет с лица земли.

Так и литература. Она естественно вытекает из реальной жизни, и каждый житейский случай, каждый живой характер, каждое проявление добра и зла, ума и глупости, силы и слабости человека — это как родничок, питающий творческую мысль литератора и в совокупности с другими составляющий жизненную основу его произведений.

Такие роднички рассеяны в записных книжках, годами накапливаются впрок, и хотя далеко не все вливаются потом в общий поток повестей и романов, каждый из них при внимательном взгляде наполнен жизнью и сам по себе может быть интересен.

Взгляни на них, дорогой мой читатель! Может быть, немудрёные эти крохи жизни хотя бы на миг отвлекут тебя от забот повседневных, разгладят морщины на лбу, согреют изначально добрую душу твою...

* * *

Парень из армии пишет письма домой, в вятскую деревню: «...А вес мой 92 кг, рост 184, правой рукой жму 60 кг, левой 53, на перекладине подтягиваюсь 11 раз...»

Младшая сестрёнка читает вслух, старики родители слушают. Мать плачет, краем шали промокает глаза, отец кряхтит, удивляется:

— Глянь-ко, штё армия делает-то! А туто-ка был балбес балбесом, зайца в петлю имать не мог...

* * *

Старый Тимофеич рассказывает о том, как жили помещики в их деревне до революции. Он был мальчишкой, но многое помнит.

— Дом большой с мезиментом у их стоял.

— А как это — с мезиментом?

— С мезиментом-то? Это когда на потолке ишшо комната стоит. Мезимент называется.

* * *

По улице медленно, мелкими шажками, едва переставляя полусогнутые ноги, движется человек.

Голова чуть набок, не очень старый. Либо сильно больной, либо просто износившийся от пьянства. Навстречу — знакомый, того же возраста примерно, но бодрей.

— Коля! Привет! — говорит этот знакомый и, остановившись, протягивает руку.

Коля же, продолжая переставлять дрожащие ноги и, устремлённо глядя вперёд, мимо собеседника, на ходу суёт ладонь и говорит:

— Спешу.

Так спешить можно только на кладбище...

* * *

Ребёнок сидит на снегу. Ходят люди, и время от времени кто-нибудь из взрослых приостанавливается, склоняется над ним, говорит строго:

— Встань, простудишься.

Или:

— Вставай, а то сейчас придёт милиция, заберёт.

Или, подхватив под мышки, насильно поднимает на ноги:

— Вставай, вставай, здесь нельзя сидеть!

Малыш на все эти увещевания отрицательно мотает головой, а когда поднимают насильно, упрямо садится снова.

Но вот подходит нестарый дяденька с бородкой, садится на корточки рядом и молчит. Долго молчит, склоняет голову в одну, в другую сторону, будто прислушивается. Малыш удивлённо и уже заинтересованно смотрит на него.

— Слышишь? — спрашивает дяденька с бородкой.

Малыш неуверенно качает головой. Он не слышит.

— Ну вот, теперь слышишь? Под тобой мышка в снегу. Ей дышать нечем.

Встал и ушёл.

А малыш поднялся и стоя копал лопаткой, пока мать не пришла...

* * *

Воркутинский ребёнок с мамой на пляже в Геленджике. Играл с мячиком, в песке возился, мать загорала, прикрыв шляпой голову от солнца. Налетел порыв ветра — один, второй. Взвихрил песок. Малыш всё бросил, стал собирать вещи, терзать мать:

— Мама, мама! Пойдём домой! Пурга начинается!

* * *

В городской квартире ночью прорвало батарею. Жилец, пометавшись и поняв, что без специалистов не справиться, звонит в мастерские ЖЭКа. Кипяток хлещет на стены и мебель, и ему кажется, что трубку не берут очень долго. Но вот щёлкнуло, и слышится там залиvistый женский смех. Жилец понимает, что попал не вовремя и покорно ждёт, пока отсмеются, переминаясь голыми ногами на горячем набухшем ковре. Наконец, уже в трубку:

— Алло-о!

Торопясь, он называет адрес и говорит: авария, мол, хорошо бы прислать слесаря.

— Что там у вас? — весело спрашивает дежурная.

— Из батареи трубу вырвало, вода хлещет.

— Как вырвало?

— Ну как, вырвало и всё. Затопило квартиру, и пар, как в бане.

— Ничего не понимаю, чего там вырвало. Федя, иди, послушай, может поймёшь.

— Алло!

— Да!

— Так чего там?

— Трубу, говорю, из батареи вырвало.

— Трубу? Какую трубу?

— Ну, трубу, трубу, — которая в батарею входит! От вертикальной трубы отходит горизонтальная...

— Стоп, тихо, мужик, не мудри. Вертикаль у него... Толком говори: стояк течёт?

— Что течёт?

— Стояк, стояк! Ты что там, вообще?..

— Нет, нет! Вода течёт. Горячая.

— Да понятно, что вода, не пиво. Откуда течёт-то?

— Я же вам объясняю: труба, которая входит в батарею...

— Сгон, что ли?

— Почему сгон? Я говорю — трубка, которая отходит...

— Да нету там никаких трубок! От стояка на радиатор сгон идёт.

— Ну, не знаю, сгон так сгон, только всю квартиру затопило. Там такая шестигранная гайка на батарее, вот из неё, из-под трубки, фонтаном бьёт.

— Какая ещё гайка? Футарка?

Ну, и так далее. Слесари пришли только утром, когда затопило уже весь подъезд до первого этажа...

* * *

В конце 60-х годов на Сейде, как и сейчас, располагался совхоз «Победа», и была база геолого-разведочной партии — бурили на Усинском месторождении.

В совхозе работал по снабжению сухонький пожилой Аркадий Моисеич, а его жена, пышная и румяная женщина, намного его моложе, заведовала поселковой столовой.

Однажды Аркадий Моисеич явился на приём к начальнику геологической партии и вручил ему письменное заявление: «Ваш работник электросварщик Ермаков ходит к моей жене. Прошу принять меры».

Год для партии выдался тяжёлый, с планом плохо, аварийность высокая, и начальник мотался по буровым, редко бывал в кабинете. Но он никогда ничего не забывал, и поэтому всё-таки вызвал электросварщика Ермакова, дал ему прочесть заявление совхозного снабженца, сказал:

— Кончай. Человек переживает.

Тот обещал. И, кажется, действительно выполнил обещание, переключившись на дневальную одной из буровых.

Однако Аркадий Моисеич не успокоился. Он долго выяснял, как наказали электросварщика, и когда выяснил, что никак, написал в райком уже на начальника:

«Я сигнализировал тов. Спирина о недостойном и аморальном поведении его работника тов. Ермакова, но тов. Спирин отнёсся к моему заявлению без должного внимания, виновного не наказал. Считаю, что тов. Спирин, как коммунист, обязан был прислушаться, а он, по существу, поощряет разврат».

Спирин вызвали в райком, посмеялись. Но когда из обкома облепленное печатями и штампами пришло письмо Аркадия Моисеича с жалобой уже на «райком, который поощряет разврат» и грозной резолюцией «разобраться и наказать виновных», спохватились, и на полном серьёзе вкатили Спирина строгий выговор.

Для этого вызывали его из Сейды в Воркуту в самый разгар полевых работ...

* * *

В прежние времена главы «административно-командных» структур Воркуты были, как правило, членами бюро, комитетов и президиумов аналогичных структур Республики Коми, летали туда на заседания. Один из них и рассказал мне эту историю — о своём сыктывкарском шефе. С уважением к шефу:

«...Однажды поправил меня, очень неудобно было. Вызвали на ковёр кого-то из наших, из воркутян. Крепко ему досталось, да он и сам напрашивался, огрызался. Ну, я хотел поддержать, подбодрить как-то, на обороте проекта постановления пишу: «А ты всё ищешь бури, как будто в бурях есть покой» — ну, слова Горького пишу. И надо же, к шефу попадает. Закончилось, он зовёт:

— Ты что же это на документе ерунду всякую пишешь?

— Так не ерунда ведь, говорю, — слова Горького.

— Горький, конечно, пролетарский писатель и всё такое, но на проекте постановления всё равно не место...»

В том, что это сказал «буревестник», оба так и не усомнились...

* * *

Секретарь обкома Коми Попов летел из Сыктывкара в Ухту на местный пленум. Это по тем временам — событие, как для Ухты, так и для республиканского «Аэрофлота». Высшие чины и там и там — обострённо ответственны: такое начальство жалуется! Здесь провожают, там — встречают, и хотя персональными самолётами, как позднейшее высшее руководство, тогда не летали, летали рейсовыми, всё же привилегии были нешуточные.

Аэрофлотовский начальник выходит к чёрной «Волге» аж на привокзальную площадь, чтобы проводить секретаря к самолёту, как обычно, через «депутатскую» комнату. Тишина, мягкие кресла, свежесваренный чай, улыбчивый томительный сервис — пока там, в суетном внешнем мире идёт регистрация. Наконец — пора, хотя посадка ещё не объявлена. Секретарь должен быть препровождён на борт и усажен заранее. Таков порядок. Аэрофлотовский командир, руководитель тысячного коллектива, берёт портфель секретаря и готов исполнять свой долг до конца, однако Попов крут, многоопытен и любит озадачить иной раз необычностью своих поступков.

— Что Вы думаете, — говорит он сердито, — я уже такой старый и беспомощный, что портфеля не донесу?

Командир, естественно, смущён, а Попов берёт у него свой билет, заранее зарегистрированный без его участия, берёт портфель и сам идёт через лётное поле к самолёту. На поле два самолёта, оба с трапами, пустые, один прилетел, второй готовится к вылету. Он поднимается в ближайший, садится на своё место и в ожидании посадки... засыпает. Хоть не старый и не беспомощный, а всё же пожилой, да и устал — работа у обкомовских секретарей была, что там ни говори, не из лёгких...

А тем временем в другой самолёт посадили людей и улетели в Ухту.

Можно представить себе паническое состояние тех, кто встречал, и тех, кто провожал, в течение последующих нескольких часов. Ухтинский горком встречает самолёт с секретарем, а секретаря нет. Связываются с Сыктывкаром, а там говорят: проводили, вылетел. И перелёт беспосадочный...

Как случилось, что не проследили хотя бы, куда сел секретарь, почему улетели без зарегистрированного пассажира — этого я не знаю. Но сам факт — не выдумка и не анекдот. О нём поведал мне Попов самолично...

* * *

Совещание в горкоме со строителями. Объект заваливают, «на ковре» — начальник стройуправления.

— Сколько рабочих у тебя на объекте? — спрашивает Дереча, заведующий промышленным отделом.

— Пять. Больше не могу.

— А если будет шесть, быстрее дело пойдёт?

— Конечно, но где ж взять?

— Ты будешь шестым. Понял? Но объект сдадим в срок.

Вот такие были методы партийного руководства. И что интересно — находили и «шестого», и «седьмого», и сколько нужно, и объект сдавали-таки в срок...

В другой раз рассматривался вопрос ремонта жилья по жалобам трудящихся. Какой-то жилец уже третью жалобу пишет во все инстанции, последняя вот — в горком. Текут батареи. Отчитывается начальник жилищной конторы. Оправдывается:

— Мы изучили вопрос. Я сам лично с комиссией там был...

— Ты б не с комиссией, — перебивает Дереча, — ты б со слесарями туда пошёл!

* * *

Сложна и неисповедима для нормального человека система межчиновничьего общения, бюрократических неписаных правил и номенклатурно-должностного этикета. Вспоминается мне в свя-

зи с этим эпизод из собственной горкомовской практики, когда кончилась уже мартиросоновская эпоха, воркутинский горком из незаурядного стал обычным, как все, и на посту первого секретаря оказался традиционно бывший второй — однофамилец первопроходца Чернов. Как-то при мне он вызвал кнопкой секретаршу из приёмной и велел позвонить одному из крупных хозяйственников города — пусть тот срочно перезвонит ему, секретарю горкома.

— День рождения у него, — поделился со мной Чернов. — Надо поздравить мужика.

И когда я по наивности удивился — почему так сложно, через секретаршу, не проще ли сразу позвонить и поздравить, он улыбнулся умудрённо, с сочувствием к моей неискренности:

— Так не делается. Здесь, ну... партийная этика. Я — секретарь горкома и всегда должен об этом помнить. — Он помолчал, потом добавил: — И он, кстати, тоже.

И засмеялся...

* * *

В конце 50-х годов прошлого теперь уже века проходил я преддипломную геологическую практику на буровой в тундре под Воркутой — вели разведку Воргашорского месторождения. Теперь на этом месте — самая крупная шахта Печорского бассейна, а тогда — голая тундра, буровые — в километрах друг от друга, и на каждой из них — бригада, как большая семья: бурмастер — глава и отец родной, сменные мастера, буровые рабочие, дневальная и геолог-коллектор.

Вот этим геологом был я, а одним из сменных мастеров был Давид Кампфляйш — худой как жердь, рыжий, необыкновенно весёлый и остроумный немец лет сорока, к тому времени вольный уже...

Помню, как дневальная, в работу которой входило варить еду, стирать и держать в балках чистоту, регулярно ругала Кампфляйша за грязные полотенца — у него они всегда, как ни у кого, за грязнились до черноты. На что Давид неизменно парировал:

— Клафное — это не карашо помыться, а карашо фытереться!

И получал этим полотенцем взбучку, и защищался, отмахивался, и хохотал...

* * *

А в начале 60-х, уже после института, работал я геологом на севере Забайкалья, искали золото. Помню знойный день в августе, очень длинный и сложный маршрут выдался, и мы с маршрутным рабочим, студентом из Иркутска (они у нас проходили практику) возвращались «на табор», к месту стоянки. До палаток оставалось километра полтора — пересечь широкий распадок с кочковатой марью, потом через сопку — и дома, уже и дымок из-за сопки виден. Идти, однако, тяжело — между высокими кочками вода, либо прыгать с кочки на кочку, балансировать с пудовым рюкзаком за спиной (там образцы пород, отобранные на всём маршруте, в них-то и весь смысл его), либо брести по воде, через кочки эти, задирая ноги выше пояса. И то, и другое — не подарок, да ещё после целого дня ходьбы по тайге. Бредёт мой студент сзади, спотыкается, матерится, всё это естественно, и вдруг слышу:

— «Держись геолог... крепись геолог»... Сюда бы эту Пахмутову, она бы «Бухенвальдский набат» написала!

Обе эти песни были тогда на слуху, только-только рождённые, звучали часто в эфире...

* * *

Набирая сезонных рабочих в поисковые отряды на лето, геологи обычно в поварихи берут женщину вместе с мужем — она кашеварит, а он бьет шурфы, копает канавы и в промежутках помогает ей по хозяйству. Так спокойнее. Холостая повариха — яблоко раздора, за целое лето в глухой тайге мужики из-за неё непременно переделерутся...

Одна такая пара работала как-то у меня в отряде. Сезон был напряжённый — лето выдалось дождливое, ясные дни наперечёт, их использовали максимально для маршрутов, а в дождь приходилось отсиживаться в палатках, иногда подолгу.

Питались, как всегда, из общего котла, повариха варила на всех, и на всех равномерно расписывалась потом стоимость всего, что съели за сезон. И только по трём продуктам учёт был индивиду-

альный: чай, сахар и курево. Кто-то из бичей чифирил, брал себе дополнительно чай, кто-то сладкого не любил, а кто-то не мог без него, кто-то курил много, а кто-то поменьше — короче, каждый запасы свои держал при себе.

Однажды долго шёл дождь, в общей шатровой палатке народ изнывал от безделья — кто пытался спать, кто перечитывал в который раз затрёпанную книжку, кто лениво играл в надоевшие карты, и только повариха не скучала — нужно было кормить отряд независимо от погоды. И муж её, здоровенный могучий белорус, тоже вынужден был не скучать — держать костёр, воду из ручья носить, да мало ли чем ещё супруге помочь.

В общем, сидим в палатке, дождь стучит по ней без перерыва вот уж несколько дней, костёр, слышно, трещит, еда варится, и вваливается в палатку мужик поварихи в мокром брезентовом плаще с капюшоном, постучал ладонями по коленкам, отряхиваясь, оглядел всех, спрашивает:

— Чей там цукар мокнуть?

У костра, оказывается, кто-то оставил мешочек с сахаром. А дождь ведь... И давно уже...

Ну, проверил каждый у себя, кто услышал. Не отозвался никто. Ушёл мужик. Через какое-то время опять заявляется:

— Чей цукар мокнуть?

Не взял этот «цукар», не забросил в палатку, чтоб не мок. Потом бы разобрались, чей. Нет. Не догадался.

Оказалось, в конце концов — это его собственный сахар мок под дождём, жена вынесла да замоталась с этой готовкой, забыла убрать...

* * *

Есть такой посёлок на севере Читинской области — Могоча называется. В 60-х годах там была перевалочная база нашей геолого-поисковой партии, оттуда мы выбирались в тайгу на полевой сезон — вначале на оленях, арендованных на всё лето в эвенкийском колхозе, позже, с приходом в геологию техники, на списанном армейском вездеходе, а потом уж и вертолётном забрасывали нас в нужный квадрат тайги.

Сама Могоча угнездилась в распадке между сопками, и одна из этих сопкок выделялась из прочих: у подножья её приютилось кладбище, а на склоне, обращённом к посёлку, выложена была надпись: «Мы идём к коммунизму!»

Каждая похоронная процессия, идущая из посёлка по дороге на кладбище, видела впереди эту надпись...

* * *

В Перми одно время на боках автобусов была очень модной надпись: «Жизнь только начинается». Моду эту ввели, очевидно, оптимисты-демократы на заре так называемых перемен. А потом примелькалась она уже пермякам, и уж внимание перестали обращать на неё, пока кто-то не умудрился арендовать такой расписанный автобус под катафалк.

И везут покойника с музыкой и этим бодрым текстом на борту...

* * *

В конце 1970-х годов стояла под Благовещенском на берегу Амура ракетная часть ПВО сухопутных войск. Обычная по тем временам воинская часть — плац в центре и постройки по периметру, как водится: штаб, столовая, ангары с техникой, склады и прочее. Вплотную к складам был пристроен спортивный зал, где полновластным хозяином был заместитель командира полка по физической подготовке майор Иванов. Сухошавый, рыжий, недалёкий, но, как бывает с такими людьми, упорный и устремлённый служака. Он сам из спортзала почти не выходил, ибо был фанатиком спорта, и личный состав гонял в свои часы до изнеможения. Солдаты, однако, не очень его боялись, за глаза подсмеивались над ним и дали ему кличку «майор Мускул».

И случился пожар. То ли окурок причиной, то ли замыкание в проводах, но запылало круто, не подступиться. Горел спортзал, пристроенный к складам, огонь грозил вот-вот перекинуться дальше, и от внезапности события в первые моменты постигла всех некоторая растерянность.

Не растерялся один — майор Мускул. Он бросился в огонь, и через несколько мгновений вынес оттуда... штангу. С напряжённым красным лицом он оттащил её на безопасное расстояние, аккуратно поставил на землю, сел на неё, снял фуражку, вытер струящийся пот рукавом кителя и... успокоился.

Он выполнил свой долг.

Сгорел спортзал со всем инвентарем, занялись, было, склады, но уже включился вдохновлённый поступком майора личный состав, быстро потушили.

А спасённую штангу не знали потом, куда пристроить...

* * *

Насмотревшийся криминальной телевизионщины отрок спрашивает у отца:

— Папа, что значит — «стоять на шухере»?

— Ну, значит, — на стрёме.

— А стрём — это что?

— Это, ну... Пост. Стоять на посту.

— А-а. Как у Ленина? Как возле мавзолея?

— Нет, у Ленина — это не на шухере... Это, в общем, ну... Ладно, всё. Иди уроки учи!

* * *

В воркутинском автобусе едет сердитая бабка с внуком, у которого на голове какое-то сооружение, обмотанное телогрейкой. На вопрос, что это у него, мальчишка громко и радостно заявляет:

— Я — лыцарь!

— Сволочь ты, а не лыцарь! — взрывается бабка и, едва не плача, рассказывает, что внук надвинул на голову, будто бы рыцарский шлем, хрустальную вазу. Снять её невозможно, мешают уши, а разбить жалко — хрусталь всё-таки. Она промучилась с ним полдня, а теперь везёт к матери на работу — пусть сама решает, что делать. Обмотала телогрейкой (зима на дворе, ещё простудится!) и везёт.

— Измаялась, — говорит, — пасти его. Не могу больше. Уеду к себе в деревню...

* * *

Знакомая учительница воркутинской школы рассказала мне эту историю.

После уроков и обычного обхода магазинов по пути с работы она ехала домой в автобусе. Народу было много, теснились, и она обратила внимание на мужчину в рыжей дублёнке и рыжей же лисьей шапке (чем и запомнился), который вёз над головами пассажиров сетку с куриными яйцами, держась за верхний поручень. С яйцами в Воркуте были перебои, и она ещё подумала, что надо бы спросить у него, где брал, да далеко стоит, не проберёшься. Подумала и забыла, и доехала до своей остановки, и вышла. Шла медленно (скользко было), прошла немного и увидела впереди — поскользнулся и упал мужчина в рыжей дублёнке, да так, что лисья шапка отдельно лежит, откатилась. Подняла эту шапку и, подавая ему, сочувственно поинтересовалась:

— Яйца хоть целы?

Уж больно жаль было ей дефицитного продукта.

— Яйца-то целы, — прохрипел он, поднимаясь. — Головой сильно ударился.

Прошла моя учительница дальше и вдруг видит: у киоска покупает сигареты мужчина в рыжей дублёнке, лисьей шапке и с сеткой, полной куриных яиц. Тот самый, из автобуса. А упал, оказывается, другой, похоже одетый.

Рассказывая мне это, учительница переживала всё заново и краснела, как девушка.

* * *

Как-то довелось ехать в одном купе с корреспондентом армейской газеты. Молодой розовощёкий капитан, вальяжно откинувшись в угол купе, рассказывал, с какими почестями встречают его в дальних гарнизонах, куда он наезжает за материалом: командиры и замполиты, подполковники, а то и полковники, лично встречают, козыряют, везут на охоту, на рыбалку, кормят на убой...

— Что же они так, перед капитаном-то?..

— Очень просто. Они знают, что помочь я им ничем не могу. А жизнь испортить — любому. Принимают как генерала...

* * *

Коммерческий магазин начала 1990-х годов, на заре пробуждения частного бизнеса и диковинного для России рынка. За прилавком — девчонка-продащица, в углу на ящике отдыхает подсобный рабочий. Витрины и полки заставлены импортной бакалеей, напитками в разномастных бутылках. Стандартный ассортимент тогдашних наших «комков».

Пожилая дама в изящной шляпке на седой голове близоруко вглядывается в ряды ярких баночек, потом спрашивает:

— У вас кофе гранулированный?

Продащица озадаченно смотрит на неё, явно не понимая, о чём речь. Неуверенно говорит:

— Р-растворимый...

— Я понимаю, растворимый, но — гранулированный?

Девушка берёт банку, вертит её в руках, безнадежно пытаюсь вникнуть в смысл зарубежного текста на ней. И в этой паузе мужик-подсобник говорит негромко, как бы думая вслух:

— Сало як сало, кофе як кофе...

Вот такая коммерция. А мы — «маркетинг», «лизинг», «холдинг»... Мудрим, ядрёна вошь.

Сало як сало...

* * *

Два алкаша идут по улице. Один — длинный, худой, вышагивает сосредоточенно, глядя перед собой. Второй — коренастый, семенит рядом и тычет во внутренний карман замызганной куртки мутную бутылку с затычкой из газеты, да всё мимо, мимо, никак не попадет. Пытаясь заглянуть в глаза длинному, спрашивает:

— Вить, я не понял. Почему мы с ними не пошли?

— Они извращенцы, — брезгливо говорит тот и крутит перед собою растопыренной пятернёй. — Им пиво подавай!

Сосед мой Витька, молодой парень, пашет свой огород, мы с женой копаемся на своём — рядом, через забор. Управляет Витька конём исключительно матом. Помимо двух-трёх обычных слов — «пшёл!», «назад!» и «ближе!» — сплошные матюки. Мне, «вшивому интеллигенту», неловко перед женой, и я делаю Витьке замечание: мол, нельзя ли поделикатней?..

Какое-то время, смиряясь, он пытался ещё продолжить работу, но не смог. Без мата — не смог. Да и лошадь, как оказалось, другого языка не понимает.

Пришлось мне супругу отправить в дом со двора. И снова пошла у Витьки работа. Допахал...

* * *

Татьяна К. работает главным бухгалтером нефтебазы. Муж её, классный токарь в прошлом, когда ещё заводы работали, теперь — ночной сторож на этой же нефтебазе. Есть у них машина «Таврия» (причёсанный «Запорожец»), купленная в своё время за деньги от продажи родительского дома в деревне (после их смерти).

Татьяна тайком от всех даёт мужу деньги, чтоб заправил машину на городской АЗС, а мне говорит:

— Не дай Бог кто узнает, засмеют. Главный бухгалтер нефтебазы заправляется на городской заправке за свой счёт! Уважать перестанут.

Брянские берега

Виктор Володин

Виктор Васильевич Володин родился 6 марта 1955 года в посёлке Навля Брянской области. Учился в школе, служил в армии, затем пролетарствовал: строил дороги и мосты в Ленинграде, Брянске, Подмоскowie. Стихи публиковались в периодической печати.

Член Союза писателей России, член правления Брянской областной писательской организации Союза писателей России. Автор трёх книг стихотворений («Человек с улицы», «Веди», «После дождя»).

Время

Нас мать обшивала; вязала-плела.
Глядела в окошко из дома –
Батяню с работы к обеду ждала.
Веселым подспорьем ей помощь была
Неугомонного гнома -

Меньшого братишки. Мы быстро росли.
На нас не хватало зарплаты.
А мы переулком носились; цвели
На наших штанишках заплаты.

Купались, гребли по-собачьему, вплавь.
А солнце садилось-вставало...
И мы просыпались, приветствуя явь
Лоскутную, как одеяло.

Едва отрешившись от магии снов,
Вращали послушные стрелки
По цифрам, по готике вражьих часов –
Трофейной немецкой поделке

За цацками сползть отца упросил
Дружок в обороне у Буга.
Их батя с нейтралки едва дотащил:
Часы и убитого друга.

Мы в игры играли из звонких наград,
А он торопился с обеда.
И строго смотрел на другой циферблат
С названием нашим: «Победа»!

Коррида

Бьётся горячей волною
Огненный плащ матадора.
Галина Карташова

Умираю... Опять... Я — ничто... Я для них —
вне закона

Из аорт, капилляров и сталью
пропоротых вен
Всё сочит и сочит ... Я — бычара,
убитый в загоне.
Стынет кровь на песке — сладкий
гематоген...
Глохнет сердце, питающий жизнь
генератор.
Под лоснящейся шерстью вздымаются
реже бока.
Но не зверь я! Я — павший когда-то в бою
гладиатор.
За грехи превращённый судьбой и богами
в быка.
Окруженье лжецов по-испански звучит
«камарилья»
А убийца зовётся от слова matar —
«матадор»
Мне загривок украсили пестрым тряпьем
бандерильи.
А его утащили в пугающий тьмой коридор.
Он игрался со мной, позабыв, что мы оба —
под Богом,
И дразнил, как теля неразумное,
алым плащом.
На потеху убил. Но и я зацепил его рогом,
И проткнул, словно римским коротким
и страшным мечом.
И теперь ухожу. В путь-дорожку надолго
собрался.
Вот уже различаю за синим прозрачным дымком
Луг у старицы. Там, где я власть напивался
Тёплым матушкиным молоком.
Там — стрекозы над речкой. То льнут к водяному
урезу
То летят, вертолетом каждая, выше осок.
И поют в золотых Богоносных лучах
«Марсельезу»,
Ошалев от свободы бессмертьем зовущих
высот.

Снегопад на Крещение Господне

Наши души цингою безбожья побиты, что молью,
С малолетства не слыша Христовых спасающих слов,
Как пеллагрики шуримся – взгляд оживает любовью –
В зеркалах золотых, Православных своих куполов.

В снегопад, в снегосвятье Господь укрывает Россию.
Я снежинки ловлю, подставляя пригоршней ладонь.
И лицо протираю, и шею (рифмую, как выю),
Отмывая болезни холодной Крещенской водой.

И равняю и Космос, и птахам упавшие крошки:
Всё — разумно, едино и свыше. И всё это — Бог!
И счастливый щенок, помечающий куст у дорожки;
И поэт, и прозаик; и тенью кочующий бомж.

Куролесит Январь. Загоняет зиму в закоулки.
Где — то тезисы пишет за хлеб эмигрантский Апрель,
И топырит карман половинка оставшейся булки.
И в снегу остывает густеющей клюквой кисель.

Лестница к Тютчеву

Эта лестница манит,
гранитом ступенек играет;
Двадцать полных октав
плюс пяток завершающих ног;
Только глянешь наверх,
а и сердце, и дух замирает
От звенящих металлом,
сияющих славой высот.

Ни к заслугам, ни к славе, ни к почестям
нет, не ревную.
Можно мимо пройти.
Можно плюнуть на всё и рискнуть.
Можно шею свернуть,
Можно просто к знакомым в пивную.
Но звучит нота «до», —
Я встаю на голгофистый путь.

И считаю шаги. Жаль не движется
мой эскалатор.
Отдаёт по суставам
едва ощутимая боль.
Притулился обочь
к парапету седой литератор,
Одинокий и старый,
торгующий книгой бемоль.

Я его узнаю и, приветствуя, тихо киваю

— Как себя не узнать
через сонм ожидающих дней —
Я почти — что дошёл,
пусть устал и заметно хромаю.
Нота «соль» замерзла, ну
а пауза стала длинней.
Дальше сквер бородатого,
умного дедушки Карла.
Прикипает к стопе
отживающий век сандалет
А налево — известная
кузница творческих кадров;
А направо — завод:
призадумайся крепко поэт!

Я беру наискось —
потянуло саванным и диким —
Мимо гипсовых львов,
разрывая дыханием грудь.
Я несусь; я спешу; я почти что
срываюсь на дискант:
«Здравствуй, барин — Иваныч!
Учитель и гений, и бог!
Я у Ваших СияТЕЛЬских ног;
чуть не сдох.
Глаз слепят Ваших строк
светозарные блики!

Так позвольте за это «чуть-чуть»
На скамейку присесть отдохнуть
Здесь, под тенью Вашей
и именем Вашим великим!»

Слово матери

Юре Куприкову,
земляку-навлинцу

Точен прицел у чеченца;
Не задрожала рука —
Тюкнула пуля под сердце
Юрку, дружка-земляка.

Вышла и прочь пролетела
Смертным плевком «калаша»,
И, отделяясь от тела,
Чуть покачнулась душа.

Грызла огнём десантура
Гор погребальный венек.
Голос слышался: «Юра!
Не уходи ты, сынок!

Не засыпай ты, мой сладкий:
Час не приспел для сна!» —
Мама звала из окна.
А на столе — тетрадки;
А на дворе — весна.

Нитью, Христовым Следом
Вывел её оберег
Сына с иного света
Снова на этот свет.

Тёплым укутал пледом
Детских забытых лет.
Юрка очнулся: небо,
Как голубой берет!

Вспенились кровью губы:
«Мама! Я — здесь, с тобой!»
Смерть проиграла бой
Ангелы дули в трубы;
Медью звенел отбой

Вишня цветы распускала
Белые, как седина.
Тихо в палате. Слышна
В школе её тишина.
Матери в сердце попала
Проклятая война!

* * *

Запутавшись в оборванных постромках
Упряжка встала; сани — набекрень.
Душа моя! Блуждай себе в потёмках,
Коли не мил проклянувшийся день.

Свобода? Смута? Чёрта ли нам в этом!?
Оваций новых не обманет гром.
Так в организме, вдруг, вином согретом
Уже заложен утренний синдром.

И жизнь дала бы свежую премьеру,
Да у актёров скулы сбиты в кровь
И жалко мне утерянную Веру,
И жалко и Надежду, и Любовь.

И всё ж утрём предательскую влагу.
Разворошим заветную стопу.
И карандаш вострится на бумагу,
Как мышь вострит на манную крупу.

* * *

А прежде, чем мы, наши руки влюбились.
Сомкнулись ладони, и пальцы сцепились.
И нежно запястья друг к другу припали,
И линии жизни почти что совпали.
И наполнились счастьем припухлые вены,
И были блаженны соприкосновенья.

И соком смородины губы марались,
И ягоды в круглый бидон собирались.
Ты — справа;
Я — слева.
Блуждала полярность
Сплеталась следов и судеб
паппилярность.
В цветные узоры. В них небо синело,
В них солнце сияло
И лето звенело.

Фокус

Играючи, почти шутя,
Нам подменили в этой драме
Колпак фригийский на
колпак шута —
Гуляй, дурак! По всей программе!

Заколосилась трин-трава —
Яри — медянки цвет зелёный...
И ловим колпаком слова,
Словно кузнечиков, едва
Те затрещат по тёплым склонам.

А словеса несут с поклоном:
Не отвалится ль голова!

На Родине

Скоро ехать. Окончена встреча.
На тарелке остывшая греча.
Побелел, закручинился вечер.
Не горюй, не печалься, Седой.
Что поделаешь, отпуск — короткий.
Ладит батя за печь сковородки;
Да горбатится куст черноплодки
У забора за мёрзлой грядой.

Мне бы в погреб,
открыть бы бочонок.
Мне бы мамкиных яблок мочёных
На соломках ржаных-золочёных
Под ликёр из вишнёвой зари...
Только матушка рядышком с Богом
Ждёт нас в доме и чистом, и строгом.

А рябину склевали до срока
Эх, разбойники-снегири.

Незадачей такой удручённый
Я достану сухариков чёрных,
Накрошу их под куст, облачённый
В первый снег, щегольцу-снегирию.
Мне бы мамкиных яблок мочёных...
Да рассыпался старый бочонок.
Догорает закат обречённо.
Закурить бы...
Да я — не курю.

* * *

Нет, не смочь!
Ни про дожди косые,
Ни как вольно дышит человек:
Ангелы-хранители России
Покидают родину навек.

Оплыли оставленные свечи;
Гимн прощальный замер и затих,
Осень поздняя. Удавленником вечер.
И зима, принявшая постриг.

Но я знаю — этому случиться!
Ты, Россия, только позови,
Прокурлычат в чистом небе птицы
О Надежде, Вере и Любви!

* * *

Ты родилась. И сельсоветчик
Вспотел над метрикой с пером!
А шмель жужжал и пел крылом...
На пироге цветные свечи
Задуты. Стало быть, уже
Отжита жизни половина.
А пух всё тот же тополиный,
И шмель кружит на вираже.

Но зелья по кругу налей
Нам за другую половину —
За старость горькую налей!
За редкий дождь, прямой и длинный, -
Скупые слезы журавлей.

Поэты

Как из нор, из домов и квартир
Мы выходим. — О, как нас мало!-
Мы идём во враждебный мир
Лишь на миг, приоткрыв забрало.

Дон Кихоты!? — помину нет;
Бубенцами гремят паяцы
Да копытится круглый след
Отрыгающий псиной граций.

И двоится их злой язык
Со слюной загулявшей суки;
Их куриной гортани крик
Пожирает иные звуки.

Бал. И ряженный, глаз бельмом,
Скалит пасть, и косит на вену,
Утирая у губ тайком
Людоедскую зверя пену.

Этот — мой. Он пришёл за мной.
Он давно мне глядит затылок.
И бежит ледяной озноб
От волос до мельчайших жилок.

Будь ты проклят, жующий рот,
И на жирном хребте щетина!
Шпагу — вон! И клокочет кровь
Из растопленного гуталина —

Скоротечный, смертельный бой;
Перебранка на птичьем базаре;
И погибельный, жуткий вой
Издыхающей подлой твари.

Рождественское стихотворение

Коровушка-муровушка,
Лети на небо.
Там твои детки
Кушают котлетки.
(Детская приговорка)

Мы каждый миг — у Бога на свидании.
Мы — плоть Его и Дух, и Естество,
И часть, и целое. И это волшебство,
Которое зовётся Рождество —
Святых Любви и Мира торжество!
Бог — милостив сверх всяких ожиданий!

Он — совести досадливый укор;
И знания законченный узор;
Закон и стыд; судья и прокурор!

Он выше бесконечности. И сил
Не хватит докричать до тех светил,
Где Он сады Эдемов распустил.
В них, подвязав крахмальные салфетки,

Коровушки-муровушкины детки
Картофельные кушают котлетки.
А значит, ты не зря в далёком детстве
Её с ладони в небо отпустил.

* * *

По столицам, по Богом забытым углам,
Словно беженцы, скарб разбирая,
Выгребаем под старость беспамятства хлам
Вдалеке от отцовского края.

Нам метнуться б до кассы, на зимний перрон.
Взять плацкарту, винца для сугреву!..
Но не мчит нас туда пассажирский вагон:

Там лишь яблоки, внемля напеву
Органиста разбитых окошек-икон,
Ждут-пождут меж заснеженных,
спутанных крон
Приплутавших Адама и Еву.

Там лишь ворон степной
Уже тысячу лет
Греет старые косточки к ночи;
Поплотнее закутавшись в шёлковый плед
Чёрных крыл, вспоминает те очи,
Что глядели, не видя, в кровавый рассвет.
То-то пир был горой! Нынче –
нет.



Брянские берега

Галина Карташова

Галина Вячеславовна Карташова родилась 7 февраля 1970 года в Брянске. Окончила Московский государственный институт культуры (ныне — МГУК) по специальности библиотечар-библиограф. Работает в гимназии № 2 заведующей библиотекой. Руководит фольклорным театром гимназии «Святки», студенческим литературным клубом «Экватор» Брянского государственного технического университета. Автор книг стихотворений «Закон всемирного совпадения» (2002), «Стрела» (2013). Произведения публиковались в журналах и альманахах «Пересвет», «Литературный Брянск», «На земле Бояна», «Славянские колокола» (Курск), «Черновик» (Нью-Йорк), «Журнал Поэтов» (Москва), в коллективном сборнике «Славянские перекрёстки» (Чернигов). Участница Всероссийского съезда молодых авторов в городе Гусь-Хрустальном (2009). Член Союза писателей России с 2009 года.

Седые сумерки

Седые сумерки — таинственный рубеж,
Час, когда свет и тьма играют в прятки.
Я мысленно прореживаю грядки
Воспоминаний, знаний и надежд.

Пытаюсь вызвать из небытия
Минувшее, его черты и лица,
И города, куда не возвратиться
Ни мне, ни той, носившей имя «я»

Когда-то и оставленной. Увы,
Мы оставляем то, что нам дороже
Всего, как змеи оставляют кожу
Мертвель среди испуганной травы.

Как ярок наш узорный переплёт —
Черновики, рисунки, письма, фото
И адреса в потрепанных блокнотах
Тех мест, где нас давно никто не ждёт.

А если ждут, то, в сущности, не те,
С кем мы когда-то были земляками
В стране экспериментов и исканий,
В пространстве идеалов и идей.

Оно зовётся юностью, его
Мы навещаем, памятью ведомы,
Спешим к нему и, как тепла бездомный,
В нём ищем утешенья от невзгод.

Там живы близкие, и цел снесённый дом
С крыльцом, усыпанным берёзовой трухой —
Не будь его, и я была б другою,
Другое находя в пережитом.

Но в индивидуальный лабиринт
Нет входа посторонним, что досадно —
Ты сам себе Тезей и Ариадна,
И Минотавр, и даже остров Крит.

В твоих руках спасительная нить —
Фрагмент замысловатой паутины,
Что вьётся, расходясь от пуповины,
Стремясь в свою орбиту заманить

Всё, что по праву чувствуешь своим,
Что вмиг опознано и разом взято,
Что временами то смешно, то свято,
Но навсегда останется родным.

Ведь нам, боюсь, до срока не узнать —
Возьмём с собой иль здесь навек оставим...
И я ищу разгадку этой тайны,
В белёсых сумерках высматривая знак.

Лесу

Впусти меня в свой благодатный скит,
Отшельник-лес, безмолвный мой учитель,
К тебе спешу в надежде излечиться
От сутолоки буден городских.

Припомнить вкус любимых с детства трав —
Мёд клевера, щекотный сок кислицы,
И вересковой пряностью умыться,
Благодаренье лету прошептав.

Припасть к тугим извилистым корням,
Красавца дуба на парной опушке,
Уткнуться в мха прогретую подушку,
Любовь земли растроганно приняв.

И сквозь литьё изысканной листвы
Следить, как солнце, краски подбирая,
Тенями разноцветными играет,
Скрывая в дымке призраков лесных.

И хлёстко, как свеча в аромалампе,
Пришпоривает запахи смолы,
Еловых шишек и сосновых игл,
И благодать сходит по древесным лапам.

* * *

А смерть нас забирает постепенно,
Как банк, взимающий кредит частями.
Так ловко совершается подмена,
Что мы не сразу это замечаем.

Безудержность сменяет осторожность,
Естественность — приличные манеры,
И то, что в юности казалось сложным,
Теперь мы упрощаем лицемерно.

И поучаем молодых, мол, нужно
Смотреть на жизнь светло и позитивно,
За мудростью скрывая равнодушие
И страх неотвратимой перспективы.

А смерть нас забирает постепенно...

* * *

Спящий город, как ручной удав
Свёрнут в кольца разноцветных улиц.
Тротуары, от людей устав,
Наконец, блаженно растянулись.

А над городом снуёт зима —
Притворясь услужливой невесткой,
Накрывает серые дома
Снеговой крахмальной занавеской.

Снег идёт, как в гавань мореход
Точным курсом, обходя все рифы,
Отчищая муть земных грехов
Белизной своей неповторимой.

Засыпает скверы и дворы,
Словно прячет зримые улики,
И планету набело творит
Рыхловатой глиной комьев липких.

И, казалось, не было, и нет
На земле неправды и несчастья.
Только тёплый милосердный снег,
Обновленье миру приносящий.

Памяти Гедды Габлер

Так-таки ушла. Наверняка.
На прощанье хлопнув дверью выстрела.
И посыпалась с дверного косяка
Побелка смысла.

Пошлость гладит обухом по темени,
Подстрекает, в мозг вгнездясь гадюкой,
Заменить уродство скуки временной
Вечной скукой.

До чего же, в сущности, нелепо
В окруженье горестей непрошенных
Материться, стряхивая пепел
Прошлого,

Совращать наивных обывателей
Наготой и яростью неистовой...
Лучше выйти в сад, нарисовать его
Виноградной кистью.

* * *

Блазнительный прищур болотных глаз,
Бездонно и бессовестно прозрачных,
Где сверху — полированный атлас,
А в бочагах засосы хлябей мрачных.

Косая чёлка ветерка волнит
Морщинами благу безмятежность
Упругого чела, тугих ланит,
Изламывая прибранную внешность.

Беспечный путник вряд ли разглядит
Коварный блеск очей твоих зелёных
И, охмурённый зноем, охладит
Свой жар, доверяясь сладостному лону.

Впуская гостя в стан своих святынь,
Оно сомкнёт расплывчатые своды
Чертогов призрачных, где даже цвет воды
Зависит от причуд метеосводки.

Вщиж

В этом имени ветер
возносит псалмы
над святилищем древним,

В этом имени
вздыбленность круч
и восторг высоты,

Свист полозьев,
скользящих под гору,
и сговор деревьев,

Чей встревоженный шёпот
будил на заставах посты.

Визг татарской стрелы,
лязг мечей
и предсмертные стоны,

Слёзы тихих озёр,
гнев реки
и рыданья ручья...

Над курганами скрытыми
рожь, отбивая поклоны,
Припадает к земле,
имена павших предков шепча.

Лебединые шипы,
зигзаги стрижей
и чижинные стаи,

Аритмия грозы,
в чьём дыханье
то грохот, то тишь:

Безупречная доблесть,
щемящая боль
и манящая тайна

В этом,
в сердце занозой сидящем,
названии — Вщиж.



Донские берега

Алексей Береговой



Береговой Алексей Григорьевич, родился 4 июля 1947 года в г. Новошахтинске Ростовской области. Прозаик, публицист, член Союза писателей России с 1992 года, автор 13 книг прозы и публицистики. С 1993 года постоянно избирался членом правления Ростовского регионального отделения Союза писателей России, с 2010 года — исполняющий обязанности председателя правления Ростовского отделения, с 2011 года — председатель правления РРО Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России, член Приёмной Коллегии СП России.

Награждён Почётной грамотой Союза писателей России «За вклад в современную русскую литературу».

Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

Черная птица с красными перьями

Рассказ

Нет, всё это не так просто. И теперь, когда Андрей ушёл, вместо желанного облегчения почему-то навалилась тоска. Да, всё вышло как-то неудачно, словно по чьему-то злому умыслу сложилось, точно должно было сложиться именно так, и вот теперь не было за этой тоской ничего, кроме глухой душевной пустоты.

Она сама не знала, не поняла ещё, как сумела решиться сказать это самое трудное в её жизни «нет», произнести решительно, наступив на самоё себя, помимо воли и сил...

Тамара Константиновна включила телевизор, опустила в кресло. С экрана какой-то ответственный товарищ рассказывал очередные сказки из жизни честных продавцов и внимательных, бескорыстных работников службы быта.

Может быть, он говорил о будущем или вспоминал о прошлом, но с таким выражением радости на лице, будто всё это уже есть на самом деле — сегодня и навсегда. Только веяло с экрана от этого упитанного, холёного дядьки всё той же безысходной, непробиваемой пустотой, разбавленной невозможностью что-либо изменить. Прочно засевшая в сердце, пустота эта теперь окружила Тамару Константиновну ещё и снаружи.

Тамара Константиновна упёрла голову в ладонь, прикрыла глаза. Ей не хотелось слушать хорошие дядькины речи, но и тишина в пустой квартире была бы сейчас невыносима. Андрей ушёл теперь уже навсегда. И так решила она.

Нет, вся беда — она теперь уверена в этом, как никогда, — в её удивительной, редкостной красоте. Она была очень красивой женщиной! Была? Наверное, и сейчас многое осталось. Но тогда, двенадцать лет назад, её красота цвела всюю, и она это знала очень хорошо. От женихов, как говорится, отбоя не было, но всегда давило её несомненное превосходство. Каждого она сравнивала с собой, смеялась над их безмерной терпеливостью и отказывалась. Нет, это были не только капризы красивой девчонки — она поняла всё, когда встретила Андрея, и словно что-то вмиг подсказало ей: это твой единственный, ты искала его, вот он! И сразу исчезли, попрятались куда-то бесчисленные женихи и претенденты.

Она знала себе цену, даже очень знала и, когда впервые увидела Андрея, ещё не познакомившись, решила: только этот парень сможет дать ей то, что она потребует. Высокий, стройный, под чёрными кудрями на красивом, мужественном лице весёлые карие глаза. А сложен! Мечта любой женщины!

Держался он всегда свободно, в минуту становился своим в любой компании, в любом обществе

находил нужный тон, словно всегда был в нём, родился в нём и вырос. Ни тени смущения ни перед кем, ни робости, но и нахальства, замешанного на пустой хвастливости, он никогда себе не позволял, и это нравилось ей. Андрей только раз поймал Тамарин взгляд и всё понял. Они потанцевали совсем немного, потом он сказал просто: «Ты моя грузинская царица, и я у ног твоих навсегда». И это, самое первое его «ты», прозвучало так естественно, словно другого обращения и не могло быть, и Тамара не вспыхнула, не смутилась перед таким натиском, она пошла с ним намного раньше окончания танцев под удивлёнными взглядами подруг, под тихий шок имевших на неё виды парней.

Она быстро забыла очень печальные глаза Павлика Нефёдова. Он выпил длинную хрустальную стопку водки на их свадьбе, как-то хрипло произнёс: «Горько...», а потом долго сидел в одиночестве за столом и вымученно, виновато улыбался.

Бедный Павлик! Тогда она любила его, любила, как друга, но, если честно признаться, — как вещь, очень удобную и привычную, совсем не задумываясь, как «эта вещь» реагирует на такую любовь.

А Павлик любил её по-настоящему, она не скоро поняла это или не хотела понимать раньше — не очень-то нравилось ей быть кому-то обязанной, а бездушной она себя никогда не считала. Павлик любил её, кажется, с восьмого класса, писал ей записки и получил её дружбу — тогда они ещё были равны, — был верен ей, как слуга, как пёс. Они взрослели, их отношения менялись, и привыкали они к этому по-разному. Он уже ни на что не претендовал, ничего не просил, понимая: куда ему? Отстал от роста, густые веснушки на курносом лице и рыжие-рыжие, почти медные, патлы.

Вроде бы в шутку он звал Тамару Афродитой, но она знала, это для посторонних — шутка, но не для Павлика, — каждая его шутка по отношению к ней была верхом серьёзности, только не мог он сказать ничего прямо, боялся потерять её расположение. И потому Тамара прощала ему всё, прощала со снисходительностью богини, скрывая даже от себя самой, что такой расклад её очень устраивает: нужен ей пока Павлик — всегда под рукой, всегда безотказный, хотя и понимала: не станет он никогда для неё тем, кем хочет быть.

К его любви она постепенно привыкла, перестала замечать, да и не очень уже её волновали проявления чужой любви — она становилась старше и сталкивалась с ними всё чаще, но ни одно из них не взволновало, не загло, не заставило ответить, — а Павлика она ценила только за верность, которой он жил. Он всегда ей был ближе других.

Дня через три после свадьбы Павлик зашёл к ним вечером с букетом цветов, и они долго и невесело пили чай, потом Андрей проводил его, а вернувшись, почти от дверей сказал:

— Хороший парнишка этот твой Павлик.

Она вытирала полотенцем чашки, и это Андреево «твой» слегка покорило её, но она промолчала.

— Слышь, Тамрико? — на грузинский манер позвал он её. — Отличный парняга, говорю.

— Да, — согласилась она.

— Во, хороший! — Он поднял вверх большой палец руки. — Только вот, понимаешь, сказал я ему, ну... чтобы он больше сюда не приходил. Понимаешь, мы тут семейные, он холостой, неудобно как-то. Он молодец, всё понял, не обиделся. Ты меня не укокошишь теперь за это? — весело спросил он и, обняв за талию, привлёк к себе. — А, царица моя, повелительница?

Она посмотрела ему в глаза и сразу поняла сердцем: вот с этой прямо минуты теперь всегда любое его желание будет для неё законом! Она приняла это сама, сдалась ему, как сдаются тому, кому нет сил ни в чём сопротивляться. И улыбнулась...

И было несколько лет счастья — да, сейчас она не сомневалась в этом. Родились хорошие дети: Лёша и Лара — оба красивые. Сын похож на мать, а дочь — вылитая отец. И всегда, с самого первого дня, она старалась быть нежной женой Андрею, хорошей матерью детям, а о возможных отношениях Андрея с другими женщинами она запретила себе думать, потому что верила ему безгранично. И он, наверное, платил ей за это верностью. По крайней мере, за все эти годы ничего плохого о нём она нигде не слышала и не узнала. Иногда она ловила себя на мысли: подгуляй он на стороне, такой красивый мужчина, она не стала бы делать из этого трагедии, лишь бы он всегда был с ней, рядом, и эти мысли были похожи на мысли о собственных болезнях абсолютно здорового человека.

Как они любили друг друга! Все эти годы отдыхать ездили вместе и только вместе, начисто отвергая теорию некоторых супругов о том, что отпуск — пора отдыха от семьи. Наоборот, они бы-

стро уставали друг без друга и, если в отпуск удавалось пристроить детей к бабушкам или в лагерь, каждый их совместный отдых превращался в новый медовый месяц, он был наполнен страстью и влечением, и это была любовь, возросшая до небес. Тамара тогда думала, что созданы они только для любви, огромной, беспредельной любви, иначе зачем же природе было стараться, создавая таких людей...

Всё кончилось внезапно. По-житейски примитивно и подло до слёз.

Тогда, в октябре, дождь лил непрерывно. Над городом висела полоса серого, нудного тумана, и казалось, солнце на небе уже никогда не появится, и осень, преждевременная осень, в городе была всегда, есть и будет, заполнит весь год пронизывающей сыростью, никогда не кончится. Дождь посбивал листву с деревьев, которая побурела, не успев покраснеть, наполнил природу и души проникающей слякотью. Тамара даже вспомнила чьи-то стихи: «Слякотно в душе и слякотно на улицах...» Хотя воды проливалось с неба вроде бы и не так много, мокрым становилось всё буквально в считанные минуты: и одежда, и обувь, лицо, волосы, а дома, деревья и тротуары вообще никогда не просыхали. Люди на улицах ёжились на слабом ветерке и привычно молча возмущались нелепостью календарных сроков наступления отопительного сезона.

Тамара Константиновна, как всегда, торопилась на работу, автобус, как обычно, где-то пропал, и народ на остановках законно нервничал, поминал недобрым словом начальство, спешащее мимо к месту своего величия в просторных, как сарай, персональных «Волгах».

Тамара Константиновна поминутно бросала отрывистые взгляды на часики, теребила ручку зонтика, предчувствуя нехороший разговор с руководителем группы. Тот жил через улицу, приходил на работу ровно в восемь и не терпел опозданий. Сегодня она чуток задержалась: ни с того ни с сего позвонила школьная подруга Сонечка Носкова, ныне Уборевич, и пятнадцать минут тянула жилы ничего не стоящими вопросами, которые могла бы задать и вечером. Сонечка нигде не работала и сегодня совершила подвиг — проснулась в семь часов «специально позвонить», и хотя было непонятно, о чём таком срочном она хотела сообщить, сказать ей об этом прямо Тамара Константиновна не решилась, и спасительные минуты ушли, уплыли, теперь их катастрофически не хватало.

Нет, только такси может её спасти! Такси! Такси! Тамара Константиновна рванулась к летящей мимо в грязном водяном облаке жёлтой машине, подняла руку и в спешке ступила с тротуара в небольшую лужу на краю проезжей части...

Дальше она помнит плохо. Словно жуткий, тягучий сон. Какая-то безмерная глубина лужи, резкая, как вспышка молнии, боль в ноге, и тут же налетела на неё какая-то страшная, чёрная птица с красными перьями, ударила в лицо, грудь, руки, ноги разноцветной, грязной жижей, дернула когтями по всему телу и, радостно, победно закричав, пропала. Тамара потеряла сознание. Открыла глаза и увидела над собой низкий, качающийся потолок. Догадалась как-то — санитарная машина. Чувствовала себя ужасно, словно вся она состояла из грязной, мокрой боли. Боль напитывала всё тело, и казалось, не будет ей конца, не хватит сил справиться с нею — она разламывала душу и пахла уличной, сточной водой. Ещё совсем не думая о том, что же случилось, Тамара поняла: её подобрала «скорая» и везёт в больницу. Нелепость случившегося обидой стрельнула в голову с такой силой, что она застонала и снова провалилась в пустоту...

Потом узнала: под той лужей, куда впопыхах шагнула она, скрывалась горловина переполненной ливнёвой канализации. Решётку кто-то выломал или вынул да и забыл поставить после ремонта — виноватых, как всегда, нет, поди, сыщи их! Она ступила прямо в люк и упала, в результате — перелом бедра в двух местах да ещё кой-какие, как говорят, мелочи.

Соседка по палате, круглолицая и курносая, вечно забигудёванная, точно каждый вечер собиравшаяся на свидание, Шура Киреева сказала, что Тамара Константиновна ещё легко отделалась. Она, мол, могла бы провалиться в люк насовсем, оглушиться при падении и утонуть — глубина там огого! — и никто бы мог и не заметить, ведь каждый на улице занят своим делом, и что такие случаи якобы уже бывали.

Легко отделалась... Куда уж легче? Тамара Константиновна глянула на вечно улыбающееся, глуповатое Шурино лицо и ничего не сказала.

Лечилась она долго и трудно. Нога срасталась плохо, почему-то всё время неправильно, несколько раз её ломали заново, опять сращивали и сращивали, и Тамара уже считала — эта процедура для неё скоро станет привычной, как утренний туалет, и нога никогда не срастётся. Предчувствуя беду,

Тамара Константиновна тихонечко плакала длинными больничными ночами, накрывшись с головой одеялом. О, как она ненавидела уверенные высказывания лечащего врача, каменную твёрдость сестры, рублёвую ласковость нянечки. Она ведь понимала: всё это от неумения по-настоящему помочь ей. Оставалось только ждать и без надежды надеяться. Её раздражали и эта палата на восемь человек, и вечные сумерки за осенним окном, чужие страдания, всегдашняя весёлая болтливость Шурочки — она чувствовала, как постепенно становится злой, нетерпимой. Эх, нервы, нервы...

Соседки по палате изредка менялись, и лишь Тамара, казалось, прописалась здесь навсегда. Тяжёлые своей мрачностью, липкие мысли непрерывно душили её.

Наверное, единственным светлым пятном во всём этом её больничном существовании был приход мужа. Она ловила себя на преступной мысли, что рада Андрею больше, чем детям, старалась не думать так, но ничего поделать с собой не могла. Только он, только он — сильный и добрый — поймёт, поддержит, поможет. Она ловила эту поддержку в его глазах и не видела ничего, кроме виноватой растерянности, переносила всё на следующий раз, начиная ждать его, как только он уходил. Она ждала мучительно и непрерывно, ждала даже во сне. Приходили родственники, друзья, товарищи по работе — ободряли, даже шутили: ничего, мол, страшного, это временно, недолговечно, она выздоровеет и будет такой же, как прежде, — приносили подарки, цветы. Всё это было пустым, как выпитая бутылка шампанского, и ненужным, как шум прошедшей машины. Только его слова что-то для неё значили, она ловила их жадно, взахлёб, впитывала всеми клеточками тела, но слов он почему-то говорил мало и всё не те, что она хотела бы слышать, больше как-то печально и растерянно улыбался, и ей казалось — сидит он на раскалённом стуле, мучается и ждёт минуты, когда можно будет убежать. От этой улыбки ей становилось ещё хуже, и она через силу говорила ему:

— Иди, Андрей, иди. У тебя столько дел...

Он уходил, и Тамара снова накрывалась одеялом и беззвучно плакала, стараясь его оправдать — обстановка здесь в самом деле была тяжёлая, — потом пыталась ругать себя за слезоточивость. Но тоска есть тоска, и ничего тут не поделаешь. Она не хотела понимать этой тоски и всё гнала от себя вопрос: «Ну почему ты так?..»

Пришёл день, и она шагнула без костылей, хромая и боясь наступить на правую ногу. Нога казалась короткой и слабой, и хотя врач Никита Павлович, молодой мужчина с чёрными расчёсанными усиками, долго внушал ей, что лечебная физкультура, мол, сделает своё дело, она быстро поняла, что останется на всю жизнь кривоногой и хромой, и от этого понимания ей не хотелось жить. Уж кто-то, наверное, очень сильно позавидовал её красоте, счастью, раз судьба так жестоко обошлась с ней, поставила всё с ног на голову.

Да, жить не хотелось. Но жить надо было, ведь рядом же были Андрей, Лёша с Ларой — самые близкие и родные, ради них нужно было жить, — ведь она по-прежнему оставалась женой и матерью, а от этого освобождает только смерть. И она жила.

Только вот сильно она стеснялась своей хромоты, и к этому уродству нужно было ещё привыкать. Но почему, за какие грехи?!

Она вспомнила, как приходил в больницу Павлик, как печально и грустно смотрел на неё, но она не заметила в его глазах той пустоты и настороженности, что постоянно горели во взгляде Андрея. Но всё равно, под этой грустью у неё пекло всё тело. Ей думалось: вот как всё оборачивается порой, нельзя никого оценивать с позиции своей высоты, всё может быстро измениться, и уже на тебя будут смотреть сверху вниз, жалеть или презирать — всё равно. Ей было стыдно, словно она знала, что станет такой, но старательно скрывала это от Павлика.

Конечно, может, ничего подобного в голове у него и не было, может, печалился он совсем о другом, но она была уверена, что всё именно так, и потому облегчённо вздохнула, когда он ушёл.

Жарким июньским днём, после кошмарных месяцев в больнице, она впервые вышла на улицу, прихромала к нанятому Андреем такси и уже здесь, в машине, снова заплакала. Суетилась жизнь, гудели автомобили, бежали куда-то люди, ветер трепал молодую листву на деревьях, и даже птицы весело занимались какими-то своими делами. И всё это, всё мимо неё...

— Ну что ты, Тома, успокойся, — как-то неуверенно попросил Андрей, усаживаясь рядом.

— Да, да... — ответила она. Уж что-то чересчур сильно повернули её глаза на мокрое место.

Дети, конечно, были счастливы, мама — тоже, и даже свекровь со свёкром выглядели весёлыми

и довольными. Они болтали, рассказывали, как тут Андрей без неё трудился в поте лица, как дружно они помогали ему и только их совместными усилиями не запущена квартира, ухожены дети. Она улыбалась, понимая, что все старательно не замечают её увечья, делают вид, будто всё прекрасно, как и прежде. Они ни о чём не расспрашивали, не сожалели, и от этого их фальшивого незамечания болела душа; праздник её возвращения домой показался ей тягучим и нудным.

Ах, Андрей, Андрей! Он стал никаким, она быстро заметила это. И сердце впервые заныло подозрением. Нет, не в измене. Охладел, разлюбил... Но может ли быть такое?

В это она ни за что не хотела верить, не в состоянии была представить. Но мысли, мысли... тоскливые и мрачные, съедали душу, они появлялись в голове помимо желания, и с ними нужно было бороться. Но как?..

Начинать пришлось с привыкания. К своей хромоте, безнадежно испорченной фигуре, сочувственным взглядам знакомых, уступкам в общественном транспорте и даже к затаённой отчуждённости мужа. А ей не хотелось ни к чему привыкать, она боялась этого. Ей-то всего двадцать восемь лет, и всё в ней отказывалось принимать случившееся. Нельзя же в таком возрасте на всём ставить крест, нельзя! Но желания, протест — это одно, а действительная жизнь — совсем другое. Привыкать было необходимо, и она привыкала. Она понимала: теперь уже она не Тамара Константиновна Кулишевская, красивая, счастливая, немного беспечная, нет, теперь она совсем другая Тамара Константиновна Кулишевская — чужая всем и себе женщина, жить которая в состоянии только по-другому. Она начала жизнь сначала, потому что отправные точки этой новой жизни были совсем иные.

Дети — она не боялась их, — они не поймут ещё, для них она всегда останется мамой, мамочкой. Она до ужаса опасалась, что догадается Андрей, тогда всё, конец, — он ведь не имел права любить совсем другую женщину, и она жалела его, тайно надеясь на понимание: скажет он когда-нибудь так нужные ей слова, обнимет, ободрит, развеет её страх перед их несчастьем, и она поверит ему. Пусть даже поругает, прикрикнет, но потом пожалеет, скажет весело: «Тамрико», и всё вернется к прежнему, такому лёгкому и ладному, чему отдано столько лет — нет, не может он выбросить их просто так, измять, растоптать, забыть. Да и не виновата же она ни в чём!..

И Андрей сказал. Только совсем не то, что она хотела слышать от него. Пришёл поздним августовским вечером домой хмурый, непривычно злой, походил по квартире, словно не зная, куда приткнуться, — она следила за ним тревожно, уже понимая, — и сказал как-то глухо, точно в пустоту:

— Не мо-о-огу...

И эта его вымученная голосовая глухота заставила её вздрогнуть.

Она молчала, ждала, что он продолжит, не остановится на этом.

— Ты прости меня, Тамара, но не могу я, — наконец решился, произнёс он и словно испугался, что она перебьёт, не даст высказаться, понёс дальше скороговоркой:

— Ухожу я, Тамара, ухожу. Ты прости меня, не могу я...

— Как уходишь? — каменно не поверила она, хотя знала как.

— Нет сил смотреть на тебя такую! Понимаешь, не мо-гу-у я видеть, сравнивать, помнить, жалеть и всё тут! Хочешь — казни, хочешь — в морду плюнь, но всё уже, через край!..

Она молчала. И комната почему-то не перевернулась, и свет не померк. Поняла: где-то в самой глубине души она ждала этого, ждала, пугаясь и прогоняя мысли об этом, и ещё она поняла, что никогда не была уверена в Андрее «на все сто», отсюда и думки такие, и страх, нервозность, и всё прочее... Может быть, на секундочку ей стало легче.

Он быстро собрал чемодан и исчез, ушёл просто, тихонько скрипнув дверью, точно уехал в командировку, только что не сказал на прощанье ничего хорошего, не чмокнул в щёку.

Она похромала в спальню, и тут опять налетела та же птица с красными перьями, теперь уже молча саданула в голову, сбила с ног, и Тамара рухнула на палас.

Поднялась нескоро, с трудом села на кровать. А потом было плохо, очень плохо. Ночью, когда лежала без сна, всем телом ощущая безмерную пустоту и холод постели, а за окном стояла душная августовская ночь, она чувствовала, как ей не хватает воздуха, но не хотела думать, почему. И позже, когда в одиночку встречала и провожала детей в школу, старательно пряча от них тревожные, тоскливые взгляды. Она вышла на работу и видела на каждом знакомом лице страшные своими множеством и безответностью вопросы: что? как? почему? не может быть? Они били её тяжёлыми

ударами, и она убегала от них, пригнув голову, как одинокий путник в голой степи от молнии, и боясь сочувствия — оно доконало бы её...

Один из осенних дней принёс ей повестку на развод. В суд она не пошла, отослала только своё письменное согласие. Тамара чувствовала, как медленно и безвозвратно погружается в безразличие. Иногда только — всё реже и реже — простреливала своей очнулось мысль: всё бы поняла, согласилась, но только не так! «Не могу видеть такой!» Она же не разбитая чашка, не порванное платье, не сношенные сапоги. Она не вещь! Пока имела форму, свежесть, безупречность, была нужна, необходима, как воздух, как жизнь, потом её просто выбросили. Она же не изменилась, нет, она только немножко потеряла форму, внешность и — стала ненужной. Зачем же её постарались разбить, сломать, уничтожить? Даже тряпку можно перекроить, перешить, сделать что-то, пусть не первоклассное, но нужное, хранить, наконец, как дорогое воспоминание, как невесты хранят подвенечное платье. А она всё-таки человек! И ведь дети у них! Неужели этого мало, неужели даже это с годами не может сохранить любовь?

И тогда она жалела: лучше бы провалилась совсем, утонула, он бы не знал её такую и никогда не бросил бы, да и ей бы не довелось увидеть всего этого, пережить, переосмыслить.

Лучше, лучше... Она уже не знала, что лучше, а что хуже, она о многом думала и во всём сомневалась...

Как-то незаметно стал приходиться Павлик. Она не помнила, когда он пришёл впервые — через год или через два. Вечно совался со своей помощью, постоянно что-нибудь чинил в квартире, словно у них была разруха, возился с детьми. Она раздражалась, приходя с работы и встречая его в прихожей. Ей казалось, что он хочет воспользоваться её бедой, не упустить своего шанса заменить ей Андрея, а шанса-то такого она ему не давала. Всё это злило её, но выставить его из квартиры просто так Тамара не могла и потому всё время напряжённо ждала, что вот-вот он заговорит о своём. Но Павлик молчал. И сегодня, и завтра, и послезавтра — это тоже раздражало её, надо было всё решить одним махом, а он каждый раз только помогал ей снять пальто, потом тихонько прощался с детьми и уходил.

Дети, наоборот, быстро подружились с ним, так как Павлик излучал доброту и заботу, а им, глупым, всё равно было к кому тянуться, лишь бы к чистому, светлому. Когда она думала так, раздражение переходило на детей.

Она понимала, что это глупо, эгоистично, что надо бы сказать ему пару хороших слов, угостить хотя бы чаем, но между ними постоянно вставал Андрей, и она чувствовала: нет, не сможет, ничего у неё не получится. Как ни кляни себя, ни принуждай, хватит у неё сил только проводить его до двери. Часто она была уверена, что ненавидит его, ненавидит так, словно только он был виноват во всех её несчастьях.

Но время шло, и она вдруг заметила, что вернулось старое. Павлик служил ей исправно и тихо, ни на что не претендуя, и она с досадой заключила, что опять стала к этому привыкать! А Павлик, видимо, был счастлив одной только возможностью быть нужным ей, видеть её, и теперь уже Тамаре казались чудовищными собственными подозрения о том, что Павлик желает построить свои выгоды на её трудностях.

— Боже мой! — тоскливо говорила себе Тамара Константиновна. — Как давно я с ним знакома и как мало я знаю его...

Бывали минуты, когда ей уже не хотелось его бегства при её появлении. Она бы поговорила с ним, поделилась своими проблемами, но опять же, как это сделать, чтобы изменить всё, ничего не меняя? И всё-таки она уже ощущала в нём друга, и от этого ощущения чуточку становилось легче.

Иногда она пыталась что-то сделать, как-то найти общий язык с Павликом, но ничего не получалось, голос рвался, губы тяжелели, и она не могла поднять на него глаз. Она сомневалась: что из этого может выйти? Она не представляла, какими могут быть их новые отношения, ибо Тамара за много лет привыкла к тем, которые уже были.

Постепенно, понемногу раздражение перешло в благодарность, хотя и немую, затаённую, но глубокую, и она уже была в состоянии говорить ему нормальные слова.

А сам Павлик заговорил с ней по-настоящему только на четвёртый год её развода с Андреем.

Да что там заговорил! Он ворвался в квартиру, как солдат в крепость, и прямо с порога начал трясти какой-то газетой, орать так, что у Тамары невольно мелькнула мысль: не пьян ли?

— Тома, смотри, что я вычитал? — Он совал ей газету и весь трусился от её медлительности. — Смотри, быстрее смотри! Это шанс! Ты не должна его упустить...

— Да говори ты спокойно. Раскричался, как боцман на палубе...

— Не могу я спокойно, уволь! Ехал в трамвае — и тут эта заметка. — Он ткнул пальцем в газету. — Я бегом к тебе, читай! — И вдруг весело попросил:

— Налей мне рюмку водки...

Водку он выпил, как воду, не обратил внимания на огурец, поданный ею в тарелке. Он неотрывно смотрел, как Тамара читает газету, и скрёб, гладил дрожащими пальцами клеёнку в красную клетку на кухонном столе. Он ждал так, словно читала она ему приговор.

Заметка была обычной. Видимо, из тех, что часто преподносят в газетах как сенсацию, а потом быстро забывают. Мелким шрифтом на последней странице было напечатано о том, что в одной из клиник Ленинграда сделали несколько удачных операций по исправлению конечностей и наращиванию кости, об уникальности этих операций и дальнейших безграничных возможностях в этой области медицины. Вот эти-то последние строчки заметки и настораживали, прошивали нитью сомнений. Тамара отложила газету.

Наверное, он удивился, что она не запрыгала от радости, не закричала «ура!», потому спросил очень медленно и тихо:

— Ну что?

— Ничего. Реклама, по-видимому...

— Какая реклама, ты что, спятила? Я понимаю, конечно, мы все привыкли, что рекламируют у нас никуда не годный, неходовой товар, что мы с недоверием относимся к подобным извещениям, но это же правда! Тома, смотри, тут даже фамилии врачей, больных указаны, название клиники. Вот интервью приводят. Ты что, ничего не поняла?

— Поняла, — безучастно согласилась Тамара.

От водки и неснятого пальто, а может, и от волнения, он вспотел, рыжие кудри липли ко лбу, он загрёб их пятёрней в сторону, сказал твёрдо:

— Ты должна поехать! — потом закрутил весёлый репродуктор на кухонной стене и повторил:

— Обязана поехать!

— Так меня туда и приняли... У них без меня, знаешь?..

— Я напишу им, я поеду, добьюсь, чего бы это мне ни стоило, обещаю тебе...

— Нет, не надо, Павлик. Ничего у них не выйдет со мной. Пожалей меня, я и так уже год лечилась, а в этом, поверь, приятного мало.

Он присел на табуретку. Расстроенный, несчастный.

— Не огорчайся, Павлик. — Тамара села рядом, положила ладонь на его руку и тут впервые почувствовала: вот он, по-настоящему близкий ей, единственный человек! Глаза её стали огромными от блестящих карим светом в электрических лучах слёз.

— Нет, Тома, не стану я тебя жалеть, — тихо и твёрдо сказал Павлик. — Потому что верю: выйдет! Ты должна согласиться ради нас всех. Сама согласиться, иначе...

— Что иначе, Павлик? — улыбнулась Тамара.

— Иначе я повезу тебя силой! — неожиданно спокойно и очень серьёзно сказал Павлик.

Она глянула на него и поняла: этот маленький, всегда покорный Павлик сделает именно так, не зря же сейчас глаза его похожи на два маленьких серых кремня.

— Это же долго! — Она всё ещё не хотела сдаваться. — Как же дети?

— За детей не беспокойся. Вера Васильевна побудет, а остальное — за мной. Я сам поговорю с твоей мамой, всё сделаю, не волнуйся.

Нет, она не сказала ему «да». Она сомневалась по-прежнему. В возможностях медицины, ибо она испытала их уже на себе. В способностях Павлика — он никогда не числился среди пробивных людей. И потом, она была уверена: до окончательного решения ещё так далеко и у неё уйма времени всё обдумать.

Добился вызова Павлик неожиданно легко и быстро. Написал всего одно письмо, и вызов приехали. Она не знала, что он там, в своём письме, разрисовал, сколько наворочал страстей и что сработало там, в Ленинграде, но вызов был, и сколько ни гадай, ни удивляйся, надо было срочно что-то решать.

— Тома, не глупи. — Павлик расхаживал по комнате, и голос его был твёрдым и строгим — он принял решение и отдаст за него жизнь! — Ты едешь, собирайся...

«А ведь он — мужчина! — удивлённо слушая его, впервые подумала так о нём Тамара. — Настоящий мужчина!..» И — потом сдалась, притворно махнула рукой:

— А-а-а, ладно! Хуже не будет, куда уж хуже?! Еду...

Павлик на радостях замычал полонез Огинского...

Лечение было долгим и трудным. Одна операция, другая, третья. Но всё перенести можно, пере-терпеть, была бы только надежда на результат; на всё пойдёшь, если ждешь его, как солнце, как свет и жизнь. Глядя на её ногу, врачи хмурились, качали головами. Это пугало её, вгоняло в уныние. Но ведь не отослали же домой, не отказались от лечения, не объявили безнадёжной, пусть даже и не пообещали полного успеха, но сделали попытку — понимание всего этого давало силы держаться.

И результат пришёл! Хромота исчезла почти совсем, кривизну ноги мог заметить только опытный глаз, да и то лишь тогда, когда она была раздетой. Она снова, снова стала прежней Тамарой Константиновной Кулишевской!

После восьми месяцев клиники встречали её четверо: мама, Лёша с Ларой и Павлик. Как она была счастлива! Как были рады они! Словно вся семья в сборе — подумалось Тамаре. Она смотрела поющими глазами на эту разновеликую четвёрку на перроне с цветами в руках и уже не прятала счастливых слёз. Она обнимала их ещё из тамбура вагона, она летела к ним, и вдруг её взгляд остановился на Павлике.

— Ну почему, почему не Андрея?! — простонала она и отвернулась.

Нет, ничто не ушло, ничего не забылось. Она не представляла здесь сейчас Андрея, не желала этого, она только чуть-чуть подумала и пожалела, что не он, и этот её вопрос «почему?» был вопросом ко всем вокруг: почему же?! Он отозвался в её сердце глухой болью, каким-то безумным криком на всю вселенную.

Лица у встречающих весёлые, такие родные, Тамара смотрела на них и через силу улыбалась, чувствуя, как всё же проходит, отпускает сердце эта минутная боль, — в искренности этих лиц она бы не усомнилась ни на секунду, а весёлость — она от их праздника, как говорят, от души.

По дороге домой дети наперебой рассказывали о своих делах. Лёша уже заканчивал четвёртый класс, Лара училась в пятом. Тамара видела, они хотят похвастаться своими успехами, сделать ей приятно, обратить её внимание на их старания. Они тоже помогали ей, как могли. Она всё заметила, всё поняла, она ощущала счастье, глядя на них, самое простое житейское счастье, — теперь уже всё позади, рассеялся, исчез четырёхлетний кошмарный сон, и даже ходить, не хромя, она уже почти привыкла. Одна только мысль давила чёрной тенью: нет, она всё же не будет той первой Тамарой Константиновной Кулишевской, весёлой, счастливой в своей любви к Андрею и даже чуточку легкомысленной — это ведь точно! — потому что в жизни ничто не проходит бесследно и никогда назад не возвращается.

— Ну, что я говорил, что?! — воскликнул Павлик при встрече. — Это был шанс, ещё какой шанс! И ты его не упустила! Цветы победителю! — и опустил на Тамару охапку белых и красных роз, таких ранних, молодых и свежих! И где только умудрился достать?

«Замечательнейшая ты душа, Павлик, чудо! — неожиданно с нежностью подумала о нём Тамара Константиновна. — Только вот никогда, наверное, я не пойму, чего же ты хочешь? — и тут же выругала себя: — Дура, какая дура! Человек от души, от сердца, ради дружбы, а ты опять за своё. Ненормальная!»

А Павлик, видно, и в самом деле больше ничего не хотел. Он притих в такси, слушая болтовню детей, и снова счастливо улыбался. Может, он уже добился желаемого, может, это и есть для него самая большая радость: снова видеть свою богиню безупречной, найти юность в сегодняшнем дне. Наверное, так оно и было, кто знает? Вряд ли когда об этом он скажет сам...

А через несколько месяцев Тамара встретила на улице Андрея. Он остолбенел под горячим августовским солнцем, уставился на неё во всю ширь своих красивых глаз. Тамара кивнула и торопливо прошла мимо, остро чувствуя спиной, как он повернулся и смотрит вслед. Не заговорил, нет — она боялась его вопросов, малейшего интереса к себе. Ей было бы невыносимо что-то ему объяснять. Но пусть смотрит, пусть! Пусть шумят листвою тополя, пусть ветер ласкает ноги, такие же стройные и красивые, как прежде, пусть солнце золотит голову, и пусть он смотрит!

Она разглядела его разом, точно сфотографировала. Их разрыв зацепил и его. Это был уже не прежний Андрей. Заметно помятый, даже постаревший. Виски посеребрились, под глазами наметились мешки. Но всё-таки это был Андрей, такой знакомый, родной, словно ушёл он от неё только вчера, лишь сейчас вот прикрыл дверь. Она учащала шаги, чувствуя, как поднимается к горлу сердце.

Тамара где-то слышала, будто бы он дважды женился, оба раза неудачно. Она не торжествовала, нет. Он же сейчас одинок, конечно, одинок, потому и сник, постарел. И она подумала: ему же было труднее и хуже, чем ей; у неё всё-таки есть дети. Ей стало жаль Андрея, хотелось вернуться, протянуть руки, сказать, как когда-то: «Андрюшка, иди ко мне», помочь распрямиться. Она уже не радовалась, не гордилась своим исцелением, забыла про него, но... ноги упрямо уносили её по мягкому, пыльному асфальту — быстрее, быстрее, укрыться под кронами тополей и лип, раствориться в пестрой, текучей массе людей, исчезнуть, хоть на время, если не навсегда. Она хотела, но не могла!

О, когда же «хотеть» и «мочь» станет одним и тем же?! Она чувствовала себя виноватой, словно обманула Андрея. Долго ещё, долго жила Тамара этой встречей и всё время чего-то ждала.

Андрей пришёл серым осенним днем.

Он долго и как-то торопливо звонил, словно надеялся никого не застать дома. Она сразу узнала его звонок и замерла в кухне, чувствуя, как снова бешено колотится сердце. Потом попыталась обмануть себя. Неужели? Зачем? Надо успокоиться! Может, всего лишь забыл что? Нерешительными, но такими же торопливыми, как звонок, шагами пошла открывать дверь.

— Ты?! — спросила она так, точно хотела проверить, убедиться, даже пощупать Андрея. Нет, не ошиблась, не приснилось...

— Я, — ответил он тихо и как-то жалко. — Пустишь?

— Проходи...

Она пропустила его мимо себя в переднюю, на ходу отметив и оценив, во что Андрей одет, как выглядит. Нет, особо ни к чему не придерёшься! Она зачем-то поправила волосы перед зеркалом, пошла следом. Он снял плащ, шляпу, устроил всё это на вешалке, привычно поискал ногой тапочки (Боже мой! Почти пять лет прошло, а нога всё ещё не отвыкла!) и, не найдя, как-то боком протиснулся в комнату.

Он сидел в кресле и молчал, глядя на немой телевизор, а она стояла в дверях и ждала. Потом спросила устало:

— Кофе хочешь?

— Кофе? Ах, да, кофе... Хочу. Если можно...

Она убежала в кухню — побыть одной хоть несколько минут, опомниться, осмыслить, понять, — она ждала его все эти месяцы, но никогда не верила, что он придет; дать эти несколько минут и ему — наверное, они Андрею тоже необходимы...

Тамара принесла из кухни поднос с кофейником и чашками, а он стоял у окна и, отодвинув штопур, смотрел на знакомую, мокрую, красно-рыжую осень на улице.

Да, всё же не слишком сладко жилось тебе, Андрюша, все эти годы, раз столько печали в глазах, раз ты ссутулился, согнулся. А лет-то тебе всего тридцать пять, и ни одна из твоих бывших жён не вытянула тебя, не поддержала. Правду ведь говорят люди: только первая была и останется единственной навсегда, только она пойдёт на всё... А ты... Эх, зачем ты пришёл?..

Андрей зачем-то поднялся и, повернув голову, смотрел, как Тамара наливает кофе.

— Ну, садись.

Сел как-то нерешительно, взял чашку в руки, но пить не стал, только, наклонившись, нюхал кофе, долго и жадно втягивая горячий пар сквозь усы, словно наслаждался чем-то знакомым, радостно-родным, грелся домашним теплом. У Тамары защемило сердце.

— Дети как?

Ну, зачем ты начал с детей, зачем?! Не пришёл же ни разу за четыре года, не поинтересовался. Если и узнавал что, так заочно, через бабушек. И то редко. Не за тем ты пришёл...

Звенящее, сладостное напряжение исчезло, растворилось в синеватом сумраке комнаты, как ночь растворяется с восходом солнца. Она ответила вяло:

— Дети ничего. Всё нормально.

Ох уж это молчание! Как быстро оно становится тягостным, начинает давить на душу. Тамара

прошла по комнате, включила свет. Потом не выдержала, спросила:

— Ты что-то хотел, Андрей?

— Да... хотел... — Он не знал, как начать, лицо его горело, ему нужно было сломать себя окончательно, решиться, наконец, а это всегда так трудно. — Я... это... Тома. Хотел поговорить с тобой...

— Давай поговорим. Как будто не совсем чужие мы.

— Да, да! Мы не чужие! — Он сделал на это слово нажим. — Мы не чужие! Я никогда этого не забывал. Мне было трудно, Тома, пойми, так трудно...

— Чего ты хочешь, Андрей?

— Я?.. Ничего. — Он помолчал, покрутил ложечкой в чашке и вдруг решил:

— Нет, хочу. Ты не держи на меня зла, Тома. Все мы делаем глупости, и всех нас бьёт за это по-своему. И учит. Может, мы того... забудем обо всём, попробуем всё сначала?.. Ещё раз?..

Тамара встала, хотела что-то сказать, но каменная тяжесть обиды навалилась на грудь, сжала железными тисками губы, она оцепенела. Что, не ждала такого предложения? Ждала, конечно, предполагала и даже надеялась. Но почему он не пришёл год назад, до клиники? И не так же просто предлагать всё забыть! Будто бы сказали друг другу по паре резких слов, поссорились, глуповато надулись, и он первым одумался, предложил: хватит, давай мириться. Словно и не было прошедших лет, холодной пустоты души, тяжёлых, липких снов, вопросов детей, на которые приходилось отвечать, изворачиваясь и стараясь не лгать, не было жестокого удара в спину. Но как же быть? Он ведь нужен ей, нужен, она знала это, он просто необходим детям. Господи, ну зачем она его до сих пор любит?! Почему он знает об этом?!

Андрей тоже вскочил, глаза его были влажными, блестели в свете люстры, он вдруг упал на колени и, протягивая руки, так, на коленях, пошёл к Тамаре.

— Прости меня, Тома, прости! Дурак я, сволочь! Я всё понимаю, всё знаю, поверь, я столько передумал. Ужасно понимать, что всё натворил сам. Прости, Тома, умоляю, прости! Ведь должно же быть снисхождение к глупости! Ради детей, ради тех хороших дней, что у нас были! Вспомни, ведь были же они, были! Прости, Тома!..

Он обхватил руками её ноги, уткнулся головой в колени, потом стал часто целовать её правую ногу — виновницу их расставания и этой встречи. Она чувствовала, как подкашиваются ноги, сгибаются колени, комок в горле мешал дышать. Она боялась рухнуть на Андрея.

— Мне плохо, Тома, плохо! Я не могу без тебя!..

Неожиданно что-то толкнуло её в грудь, толкнуло так, что она задохнулась, зажмурила глаза. И снова перед глазами пронеслась чёрная птица с красными перьями, мелькнула широкими крыльями и стала удаляться, трусливо крича, пока не исчезла.

Тамара открыла глаза.

Плохо! Ему плохо! Только ему! Своё «плохо» она уже пережила, переболела в себе, не сказав никому ни слова. Было ли ей плохо, когда плакала ночами, проклиная судьбу и боясь, что услышат дети, а он в это время спал с другими женщинами и вряд ли думал о ней? Было ли плохо, когда катастрофически не хватало денег, а их детям, Лёше и Ларе, надо было срочно что-то купить? Она могла бы сейчас вспомнить сколько угодно таких «плохо», но не хотела, потому что знала о них только сама. И единственным хорошим во всех этих «плохо», пожалуй, была только встреча на вокзале после её возвращения из Ленинграда.

Да, кажется, она поняла всё. И вовсе не в её хромоте дело, не в ноге причина. Ты, Андрей, просто боялся чужой беды, потому что никогда не считал её своей. И если хорошенько порыться в памяти, можно найти ещё минуты, кое-что вспомнить, когда ты боялся и раньше, хотя хорошо умел это прятать. И тогда, тем жарким летом Тамариного возвращения из больницы, ты испугался снова, не захотел разделить её беду, понести через свою жизнь. И потому ты сбежал. Из страха...

Нет, это не Андрей! Не её Андрей. Боже, как он жалок! Её Андрей сильный, мужественный, она всегда верила ему и покорялась. Её Андрей ни за что не стал бы просить на коленях, он взял бы её за руку и повёл бы твёрдо, уверенно...

— Тома, всё будет хорошо, всё забудется, я никогда больше... — бормотал Андрей, принимая мягкую податливость её тела за начало прощения, но она, чувствуя знакомые руки уже выше бёдер, а голову — на животе, вдруг резко отстранилась и закричала:

— Не-е-ет!

И когда он ошалело, непонимающе уставился на неё, не вставая со старенького ковра на полу, она повторила твёрдо и почти спокойно:

— Нет! Уходи!

Наверное, он уходил, как побитая собака. Так часто говорят в подобных случаях. Она не видела его ухода, убежала в спальню, упала на кровать лицом вниз и там дала волю чувствам.

Пусть ей будет плохо, пусть даже хуже, чем было, пусть! Она стерпит, сумеет, переживёт! Но пусть её Андрей останется таким, каким она оставила его в своей памяти, каким хотела знать его. И пусть никогда больше не появляется перед её закрытыми глазами эта хищная птица с красными перьями!

Сколько она пролежала так, Тамара не знала. Она поднялась, прикрыла за Андреем дверь. Теперь уже навсегда. И всё смешалось, завертелось клубком. Она уже не знала, чего хотела, и как всё получилось: обдуманно или мимолётно, выстрадано ли её решение безмерными ночами или оно внезапно, как удар молнии, но всё свершилось, изменить уже ничего было нельзя, и она даже не пыталась думать, как ей ко всему этому относиться: то ли вздохнуть с облегчением, то ли снова мучиться и клясть себя за резкость. Скорее всего, ей было безразлично.

Тамара Константиновна вернулась в комнату, включила телевизор, опустилась в кресло. Холёный дядька сыпал с экрана «сказками», но она их не понимала. Очнулась, когда за окном совсем стемнело, а место дядьки на экране заняла какая-то счастливая коровья жизнь в некоем передовом колхозе.

Скоро вернутся дети — ушли с бабушкой в кино, и, кажется, в этом походе замешан и Павлик. Пора готовить ужин.

— Господи, ну почему я такая?.. — прошептала она.

Потом поднялась, пошла на кухню. Жизнь продолжалась...



Донские берега

Галина Студеникина

Родилась в 1957 году в Молдавии. С двухлетнего возраста живёт на Дону, в городе Новочеркасске. Член Союза писателей России с 2008 года, заместитель председателя правления Ростовского регионального отделения СП России с 2011 года, автор восьми поэтических сборников. Главный редактор журнала «ДОН_новый».



Чур, я буду...

Забудь, душа!..

Забывая и тьму,
и свет,
не в закат день тяну —
в рассвет.
Но напомнит мне в снах
вещун:
звёзды — в мёртвых глазах ищу...
Это я умерла —
не ты.
Без господня тепла — в цветы...
Позабыта (забудь, душа!) —
до эдема чуть-чуть
не дошла.

Забывая меня —
забудь.
Звёзды, жизнью пьяня,
зовут —
без господня тепла
сберечь
сад любви и молельных свеч...
Это ты, невпопад, —
не я —
стерегущая клад змея,
охраняешь эдемов быт...
позабыв, что и он
позабыт.

С порога

Скажу с порога.
Да, я — загадка. Что ж такого?
Но, то не от тебя знать — от другого —
привыкла, соглашаясь и терпя.
И как нелепо слышать... от тебя,
как гром средь ясна дня,
что я — загадка!

Пусть неразгаданное сладко,
но подтверди, что только
для «порядка»,
когда... я после *да*
сказала *нет*,
так подсластил — чтоб, улучив момент,
под липкий комплимент
вернуть меня
с порога!

Догонялки

Мёрзлый лист воткнулся в снег,
лёг цветастую заплаткой...
На тебя взгляну украдкой
и продолжу... бег, не бег —
догонялки!
Нет, в глаза
не гляжусь, чтоб не попасться.
Неприглядность в роли зайца,
потому-то ты — лиса.

В благородном деле риск,
потому-то ты — за мною.
Мне ж — хоть как!.. — пропасть зимою.
Первый снег, последний лист —
то ль начало,
то ль... увы.
И, закончив догонялки,
начинаю об-ни-мал-ки
среди снега, средь листвы!...

Чёртов или Божий сглаз,
но я вязну в рыжей страсти
и в глазах, других опасней:
нет опасней милых глаз.

Значит, в следующий раз
чур, я буду...
снова зайцем!

Письмо с утра

С утра письмо принёс мне почтальон.
В лощёном неподписанном конверте,
настоян на смородиновом цвете,
томился аромат.
На миллион –
не менее! — «тянул» чудной сюрприз!
Стрелой сердце щекотнул как будто
розовощёкий шалунишка и поблуда:
ужель
ты сокровенный мой каприз
решился ублажить, да и всерьёз!?!..
Ужель отважился ты
на любви признание?
В смородиновом таю я лобзанье
и...не догадываюсь, что принёс
мне почтальон
не от тебя письмо.
Не замечаю я,
как май в томленьё
волос моих разворошил сплетенье
и подвязал душистой тесьмой
благоухающего поцелуя...

Ветряк

К телу льнёт прозрачный шёлк
льстивой, ластящейся кошкой...
Даже тувелька на ножке
в угожденье знает толк,
обнимаясь — ладно так! —
с изогнувшейся стопою.
Мной, как тканью голубою,
заигрался май-ветряк.

Шёлк вокруг упругих ног
то уложит он спиралью,
то лазоревой эмалью
вверх струит!
Волос венки
то сплетёт, то расплетёт...
Май, сводя с ума цветами,
поведёт меня садами...
И добавит мне... забот:
ты серьёзен, даже строг.
Неужели так заметно,
что и я по-майски

ветрена
в майский ветренный денёк?..

Туман

К волосам туман прилип
росной, капельной вуалью.
За парной молочной далью
золотой увижу ль нимб?..

Попадаю под гипноз
буйной вьюги лепестковой,
и дурман весны садовой
захлестнул меня до слёз!

Тает яблоневый снег
в ненадёжном, чудном царстве.
Но, не помня о коварстве,
я кружусь, как вешний смех...

Колокольный перезвон
то со мной кружит, то с маем...
Божий нимб — я понимаю! —
тем же чудом осенён.

Вдруг одним из лепестков
смирно лягу среди сада —
обо мне страдать не надо
из-за майских... пустяков.

Утром

Обольщать не пристало тебя
интригующей уни-вуалью:
скроет праведника... и каналью
импозантный лоскутик тряпья.

Как-то пошло себя подавать
так открыто, на праздничном блюде:
полюбуйтесь, мол, добрые люди!
Дорогой, охвати благодать!

Увести можно силой — пойдёшь.
Силой можно оставить на месте.
Но — смиренье христовой невесте...
И от влаги предутренней дрожь.

В густомазанной жирной тени
мне и смелость, и страх находиться:
утро росные вскинёт ресницы
и увидит, что мы с ним
одни.

Сердце схватит, как дёрнет чеку:
— Где же тот, что был рядом с тобою?!
С несмирной глумливой толпою
отпустила его
почему?..

Оправдаюсь ли тем, что сам Бог
на авось нас, на совесть оставил?
Чтобы выбор мы сделали сами.
Чтобы стали мы, каждый, — кем смог.

Умиление

И тих, и лёгок, словно сон,
осенний вечер.
Мотива шалого шансон,
гулливый ветер,
умчал в заморские края...
Где сердцу чуждо.
Где — слава Богу! — грусть тая,
мне быть
не нужно.

Я погрущу открыто здесь.
Какая строгость:
не про мою, как будто, честь
души весёлость!
Но в ложе летнее Прокруст
не втиснет осень.
Веселье тягостней, чем грусть —
когда не просим.

Я опадаю — как закат
над горизонтом,
я вписываюсь в листопад
осенним золотом...
То ль не про честь,
то ль не под стать
весны цветенье:
не расцветать, но... опадать —
мне умиление.

В декабре

На окне моём в обнимку —
осень и весенний кот.
Солнце райскую заимку
(будто не светило год!)
осеняет: жаль последних
слов...
и глупого кота...
В солнечных лучах, как в летних,
дремлет-млеет слепота,
о прошедшем не тоскуя —
ни о зле, ни о добре...
Мне бы слепоту такую
в победившем декабре:
млеть,
на время не взирая!..
Солнце, позабыв свой бег,
нам, неизгнанным из рая,
будет свет стелить — как снег —
целый век.



Донские берега

Клавдия Павленко



Павленко Клавдия Ивановна. Родилась на Кубани. С 1962 года постоянно проживает в Ростове-на-Дону. Член Союза писателей России с 2008 года. Автор сборников лирических стихотворений «Не оставляй меня одну», «Смотреть на дорогу», «Ах, эти шаткие мосты», нескольких книг для детей.

В 2015 году вышла ещё одна книга, для детей — «Синеглазый кот Кефир».

* * *

Несносен с друзьями
старинными,
Синеет сентябрь
сентябринами!
То кажет натуру
спесивую,
То манит поспевшею
сливою,
То глянет луной
круглоликою,
То спутает вдруг
повиликою.

А то — вспыхает
закатами,
На счастье и горе
богатыми!
Он, рыжеволосая
бестия,
Не лучшие дарит
известия!

Чтоб стаи поднять
журавлиные,
Дожди насылает
попынные!
А мы, по-апрельски
беспечные,
Не помним про капли
сердечные.

* * *

Утопила в объятьях
лиловая хмарь,
Перепутав
хореи и ямбы.
Второпях растерял
все листки календарь.
И тебе — возвратиться
пора бы!..
Ты всегда возвращаешься.
Как бумеранг.
Вновь заполнишь, как воздух,
пустоты,
Опьянишь и подлечишь,
как иланг-иланг,
Отберёшь все земные
заботы.
Акварелью зелёной
распишешь листву,
Ярко-синей —
лиловые тучи.
Брызнув золотом, выведешь
жизни канву
На цветущей
безоблачной круче.
В сотый раз позовёшь
полетать в небесах
Несравненно сказочной
птицей.
В сотый раз не заметишь
вопроса в глазах:
«Как мне, рухнув с небес, —
не разбиться»?!

* * *

По тебе я уже не тоскую.
Может, холодом душу сковало.
Тихой речкой по жизни теку я,
Будто вовсе и не тосковала!

В воду смотрится небо бездомно,
Рассыпает фиалки горстями,
Дарит звёзды изысканно-скромно,
Высоко-высоко, над страстями.

А бывало, с небес покрывала
Я букет для тебя собирала.
И бывало, ты знаешь, бывало, —
От тепла твоего угорала!

Почему же теперь не тоскую?
Видно, холодом душу сковало.
Тихой речкой по жизни теку я,
Будто вовсе и не тосковала.

* * *

Смотри, звезда
 в блестящих брызгах!
А вон, смотри,
 Созвездье Льва!..
С тобой опять мы
 близко-близко,
Моя обида
 чуть жива.
Моей обиды
 век недолог.
Теперь, как сломанный
 каблук,
Подобьем целого,
 осколок
Стучит в груди
 «тук-тук, тук-тук»...

* * *

Вышивает золотом по зелени
Осени волшебная рука.
Замечает рыжими метелями
Встречу, не забытую пока.
И желанья новые загаданы,
Осенью я знаю, что жива.
Слышу: «Ваши пальцы пахнут
 ладаном»
И шепчу нездешние слова.
Город, тишиною заколдованный,
Листьями сгоревшими горчит.
Глаз моих заплаканных-
 зарёванных
Не заметит. Или промолчит.

* * *

Чтобы вслед перекрестить,
Я лечу — дворами — птицей.
Не хочу тебя простить, —
Не могу с тобой проститься.

Ты уходишь, чтоб забыть, —
Непрощённый, виноватый.
В голос хочется завывать:
«Да опомнись же, куда ты»!

Ты уходишь... Ну, и пусть.
Не судьба. Отцеловала.
Жить сначала научусь.
Унижаться — не пристало.

Чтобы вслед перекрестить,
Я лечу — дворами — птицей.
Не хочу тебя простить.
Не могу с тобой проститься...



Донские берега

Ирина Сазонова



Сазонова Ирина Анатольевна. Родилась и живёт в Ростове-на-Дону. Автор книг: «Муза вольного поэта», «Сотворены и кистью, и строкой», «Сто имён», «Наследница апреля», «Отдашь своим детям», «К живой красоте приникая» и др. Печаталась в донской, столичной и зарубежной периодике. Член Союза писателей России с 2008 года. Член правления Ростовского регионального отделения СП России с 2011 года. Призёр Международного фестиваля русскоязычной поэзии «Дрезден-2007».

Плакала о тебе

Плакала о тебе — взгляд устремив в дорогу,
Упаковав багаж, в сердце беду замкнув!
Плакала о тебе — видеть бы вновь — живого!
Но облака размёл быстрой «Люфтганзы» клюв!

Плакать бы о себе в небоугодьях Бога,
Мантры беззвучно петь, страх отогнав едва...
Но о тебе молюсь — видеть бы вновь — живого!
Спутав и переврав знаковые слова!

Плакала о тебе — пусть не увижу долго!
Силой моей мольбы в свет бытия вернись!
Ливнем любви прольюсь, лишь бы продлить
немного
Тлеющую твою, еле живую жизнь...

Забывтое

Изредка скучаю по тебе
и себе — позавчерашней —
на канате выпляски домашней,
но неодомащенной в борьбе
с вечною нехваткою всего:
нежности, кефира, неба, платья,
но случались редкие объятия —
и рождались дети оттого...
Падал недокрученный карниз,
спор переряжался ссорой разом,
отпрыск добивал подбитым глазом
под долбёж бетховенских «Элиз».
Книги — на полу и на окне,
псины лай в невыспавшемся доме.
Всё, пожалуй. Нет, ещё припомню —
ты варил с проклятьем кофе мне...

Мысли в дождь

Дождь перетасовывает мысли
Заунывной дробною капелью,
Струи-нити с облака повисли
В напрочь отсыревшие недели.
Этот водопад сорокадневный
Кажется карающим потоком,
Посланным на землю силой гневной —
Доуразумить неверных — скопом...
Но найдётся ль место паре грешной
В заново построенном ковчеге —
Вместе одолев поток безбрежный,
Душу очищать на дальнем берегу?..
Но оставим мысли о потопе
И неуловимые уловки —
Мой ковчег уютен и натоплен:
Приезжай! Всего три остановки...

Ты меня рисовал

По картону метался грифель,
В полумгле простыня мерцала,
Вольным росчерком, будто в мифе,
Я уснувшей Венерой стала.
Ты писал, малевал, беснуясь
В перебивах штрихов и линий...
Дерзким помыслам повинуюсь,
Я вращала в нутро богини.
Как тиран, — приковал и мучил, —
Но под взглядом твоим — стройнела.
Стан светлел, изгибался круче,
Тетивою звенело тело!
Вызревала душой беспечной,
Я, пророчески понимая,
Что в наброске богини вечной
Ипостась не моя — иная!

Но когда ты волшебной властью
В плоть мою облакал другую,
Ты вершил на вершине страсти —
И меня рисовал, нагую...

Прощание

В каре непроснувшихся зданий
Шаги растревоженно гулки;
Взамен полуночных свиданий —
Смирение ранней прогулки.
В нападках разнuzданных ветров,
Изгибах проулков забытых,
В шлее завитых километров —
Прощание двух ненасытных!
«Прощайтесь! Прощайтесь навечно! —
Подснежную кашу топчите,
В тумане нетающем, млечном
Рыдайте, кляните, ропщите!
Молитесь продрогшей рябине,
К живой красоте приникайте,
В её заалевшем рубине
Былые пожары читайте!
Сближайте во мгле ваши лица
И в храме заутреннем кайтесь!
Прощание долго продлится —
Но всё же: прощайтесь! Прощайтесь!»

* * *

Снова мы бесприютны и нищи —
Наш очаг разметелился в дым;
В обихоженных тёплых жилищах
Нет лакун, где укрыться двоим...
Обретаясь и в сквере садовом,
И на плитах у жухлой воды,
Мы жонглируем истово словом —
От заклятий до белиберды.
Нас гнобит разухабистый ветер,
Колет дождь, словно веерный душ,
Окружающий мир неприветен
Для неюных рифмующих душ!..
Но заспинный смеющийся ангел
Нам прошепчет, крылами обвив:
Не отказано смертному в благе —
Стать Бессмертным в стихах о любви!»

* * *

В темноте ослепило разум,
Слово, вспыхнув, умчалось прочь...
И предчувствия слились разом:

Осветишь ты мне эту ночь!
Ты вошёл, что посланец Божий,
Самой скрытой из тайных троп
И ладонной прохладной кожей
Успокоил горящий лоб.
Полуночных кварталов блики
Под всегдашний дворовый визг
Высветляли не лица — лики
Нас, вернувших себя на миг!
Схватка двух несвятых страдальцев,
Лебединого стона час!..
Танец наших сплетённых пальцев
На стене то пылал, то гас...
Но когда занялось светило,
Ты исчез, бестелесно тих;
И вопрос: это было?.. было?..
Перетёк в набегавший стих...

День твоего рождения

День твоего рожденья
Снегокруженьем соткан,
Сказкой хитросплетенья
Белозорных окон.

Гладкою амальгамой
Льда над живой водою,
Белым пареньем храма
Над маетою земною...

Проблеском вышней дали —
Робким излучьем света,
Пухом ажурной шали
На перезябших ветках.

День твоего рожденья —
Белозюдный вечер
С пиршеством утоленья
Предождиданья встречи,
С месяцем серповидным
Над сединой сугроба,
Где никому не видно:
Двое — седые оба.

* * *

Расстались — только на мгновенье вздоха,
Не ведая коварного подвоха
Судьбы, — всегда разлучницы и сводни, —
Которая не скажет, что сегодня
Свиданье второпях, закатом летним
Для нас двоих назначено последним...

Маме

Ты незримым дымком растаяла
В душной хмари июльских дней...
Мама, сердце мне ночь измаяла —
Как ты в царстве ничьих теней?..

В стане общего блага жаждущих
Ты под стягами бедных шла;
Исцеляя заботой страждущих —
Царства божьего не ждала...

Одаряла добром убогого
Не заради церковных лир,
Не платила ты Богу богово —
Умягчала реальный мир!

Ты была необманно мужняя,
Ты качала сердцем детей...
Мама, что ещё Господу нужно,
Для приюта души твоей?..

Знаю: Бога суровы правила
И безверья не отмолить,
Но дрожащей рукой поставила
Свечку — к Небу надежды нить...



Берега истории и культуры

Лидия Довыденко

Русский герой Франции. К 100-летию Николая Васильевича Вырубова

Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына подготовил выставку, открывшуюся 15 июля 2015 года, «Русский герой Франции — Николай Васильевич Вырубов».

Речь идёт о русском дворянине, герое войны, герое Франции, рождённом в России, меценате и общественном деятеле. Он не дожил до своего столетнего юбилея всего шесть лет, и вековой юбилей — повод для того, чтобы лучше узнать жизнь и деятельность этого выдающегося человека в истории русского зарубежья XX века и новейшей истории культуры России.

Дары и экспонаты

Вклад Николая Васильевича Вырубова в возвращение культурного наследия русской эмиграции в национальную культурно-историческую сокровищницу России, в её музейные собрания огромен. По сути дела, выставка к 100-летию юбилею мецената высветила всю глубину личности Николая Васильевича, показав, какую огромную ценность представляют его дары музеям и архивам России. Директор ДРЗ им. А.И. Солженицына Виктор Александрович Москвин во время торжественной церемонии открытия выставки выразил благодарность тем, кто предоставил экспонаты на выставочные стенды: Орловскому объединённому государственному литературному музею им. И.С. Тургенева (ОГЛМТ), передавшему для выставки двенадцать подлинных музейных предметов. Это военные фотографии Н.В. Вырубова 1940-х годов, приказ о награждении Н.В. Вырубова Орденом Почётного легиона, цветная карта с изображением маршрута освободительной армии Шарля де Голля во время Второй мировой войны, Благодарственное письмо Ш. де Голля Н.В. Вырубову 1945 года. Центром выставки стала высшая награда Франции — Крест Освобождения. Свои экспонаты привезли на выставку самые выдающиеся музеи: Государственный музей А.С. Пушкина, Пензенский государственный краеведческий музей, Музей М.И. Цветаевой, Алексинский художественно-краеведческий музей, Российский фонд культуры, а также выставочные материалы представили князь Н.Д. Лобанов-Ростовский, Ю.А. Трубников, княгиня Е.Ю. Львова и адресат переписки с Н.В. Вырубовым профессор Михаил Ковалёв из Саратова.

На выставке экспонируются мемориальные предметы и документы, картины, книги, газеты, фотографии, шевроны, нашивки, орденские планки, принадлежавшие Н.В. Вырубову. Простое перечисление экспонатов выставки немного говорит читателю, поэтому остановлюсь, например, у центрального стенда, где висит уникальный документ 1923 года, рассказывающий о взаимоотношениях русской эмиграции и молодой Страны Советов. Он представлен из личного собрания Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского и свидетельствует о том, как оказался Н.В. Вырубов за границей. Это «Договор о покупке» у РСФСР семи душ за 100 тысяч марок, заключённый 9 мая 1923 года. Среди семи душ — восьмилетний Николай Вырубов, его брат Василий и сестра Ирина. Николай Васильевич вспоминал позже, живя в Париже: «Дядя Саша (Александр Николаевич Галахов), в первом браке женатый на сестре моего отца, Василия Васильевича Вырубова, оказался после Гражданской войны вместе с Дикой дивизией в Югославии, оттуда приехал в Германию. Там он познакомился с красивой, доброй и богатой немкой по имени Грета Рейсвиц и женился на ней. Узнав о наших невзгодах, Грета решила нас спасти и, воспользовавшись тогдашней возможностью выкупать людей из Советской России, внесла в советское консульство 100 тысяч марок, которые, судя по распискам, были приняты в пользу Красного Креста, и мы приехали из Петрограда в Берлин». Здесь своих детей, потерявших мать в советской России, встретил Василий Васильевич Вырубов, оказавшийся в Париже во время Гражданской войны.

А вот дар Николая Васильевича Вырубова Государственному музею А.С. Пушкина, о котором

рассказал заместитель директора музея А.Я. Невский. Какие пласты истории и культуры России открываются за потрясающим рассказом учёного! «Это папка с документами рода Вырубовых, начиная с конца XVIII века и заканчивая 1902 годом...

Уже в гостинице, разбирая документы один за другим, я смог оценить, сколь интересны они для исследователя. Текст первого же прочитанного документа (бумаги в папке лежали нерассортированными, вперемешку) настолько занял моё воображение, что я возвращался к нему несколько раз. Речь в бумаге шла о судьбе построенного в XVIII веке московского особняка Вырубовых. Он находился в Демидовском переулке — в Басманной части — неподалёку от тех мест, где провёл своё детство Пушкин, по соседству с домом дяди поэта — Василия Львовича. Оба эти особняка сгорели во время пожара 1812 года. Вскоре после изгнания французов московские власти стали принимать от погорельцев прошения с перечнем потерянного имущества и указанием цены, за оное причитающейся. Одно из них было подано Анной Петровной Вырубовой. Текст документа, «со слов просительницы сочинённый и писанный коллежским регистратором Кочетовым» в «генваре 1813 года», показался мне примечательным по обилию характерных признаков времени и любопытных примет быта, явственно сквозь него проступающих. В прошении говорилось:

«Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Александр Павлович — Самодержец Всероссийский, Государь Всемиловитивейший.

Просит дочь действительного статского советника, камергера, сенатора и разных орденов кавалера Петра Ивановича Вырубова девица Анна Петрова, дочь Вырубова.

Жительство я имела в Москве Басманной части в собственном своём доме, который, а равно и имение моё во время бывшего в Москве неприятеля сгорело. Прилагаю оному регистр с назначением по долгу христианскому и чистой совести цены.

Дом состоящий в 3-х флигелях стоил 40 000 [рублей]. 18 картин писанных на масле — 1500. Фарфоровой посуды на 3000. Хрустальной посуды на 1500. Сервиз фарфоровой английской — 1000. Чернилица серебряная весом 2 1/2 фунта — 250. Вещей золотых с бриллиантами и изумрудами — 1500. Шаль турецкая — 1000. Шуба чернобурых лисиц крытая чёрным отласом — 1000. 80 пар платьев из разной материи женских — 4000. 1 карета четвероместная и 1 двухместная — 4000. Разных винов в погребе — 2000. Запас годовой, как то: мука, крупы, масло, овёс, сено, дрова, сахар, чай, кофей, свечи восковые и прочее — 2500. Одежда дворовых людей и имущество, им принадлежащее — 1500. Кровать китайская рисованная по гарнитуру с серебром — 1500. мехов разнородных: соболей, горностаев, лисьих, беличьих — 1000. Разных книг коих звание не упомяну на 400. Гитара — 100...»

Я вчитывался в «Регистр», и мне казалось, что это своеобразный путеводитель по неторопливому и обильному «боярскому дому» Москвы пушкинского детства — города, где, по словам поэта, «жили по-своему, забавлялись, как хотели» люди «независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешёвому хлебосольству». И ещё я думал о той странной, долгой и тяжёлой дороге, которая привела этот пожелтевший от времени лист гербовой бумаги из послепожарной Москвы 1813 года в Париж года 1994-го...

У музейных даров есть чудесное свойство: хранимые в выставочных залах или фондовых помещениях, они сами сохраняют память о своих владельцах-дарителях.

Дар, полученный из Франции, ещё описывается и изучается. Его полномасштабное осмысление, несомненно, впереди. Но имя и судьба Николая Васильевича Вырубова — это уже частица судьбы и истории Московского пушкинского музея».

Церемония открытия выставки

Большой зал Дома русского зарубежья был переполнен, и в нём царил волнительное оживление приобщения к чему-то большому и значительному.

В церемонии открытия выставки приняли участие ближайшие родственники, которые наравне со своим дядей также являются щедрыми дарителями России, возвращая родине сокровища русской культуры, оказавшиеся на Западе, племянники Николая Васильевича Вырубова: Юрий Александрович Трубников из Парижа, Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский из Лондона, Мария Васильевна Вырубова из Чили.

Прибыл на открытие выставки военно-морской атташе посольства Франции в России, капитан 1-го ранга Александр де Лаперье. Он подчеркнул, что Франция высоко ценит подвиг Николая Вы-



рубова, который, воюя в составе армии де Голля с 1940 по 1945 год, не отрицая своего происхождения, сумел защитить страну, которая его приняла...»

Торжественная церемония открытия выставки в ДРЗ, которую вёл инициатор выставки, директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин и куратор, организатор выставки Виктор Леонидов, началась демонстрацией части документального фильма, ещё не выходявшего на экраны, известного кинорежиссёра Эльдара Александровича Рязанова о Николае Вырубове из цикла «Парижские тайны». Сразу бросилось в глаза, насколько похожи Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский и его дядя, говорящий с экрана: стройные, подтянутые, с безупречными манерами, мощной харизмой. Но главное, что их объединяет — общая любовь к России, к национальной культуре и истории, чувство причастности к её традициям, благородство, великодушие, понятие чести, желание сделать максимально возможное для процветания русского народа.

Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский в своём выступлении поднял тему выбора, которая в начале Второй мировой войны настигла русскую эмиграцию, разделив её на тех, кто считал нацистов освободителями России от большевизма, и на тех, кто решил воевать за Россию, независимо от идеологических разногласий. Молодой Николай Вырубов сделал выбор — бороться с нацизмом, просил французское командование перебросить его на территорию Советского Союза, хотя этому не суждено было случиться, но он вынес все тяготы, выпавшие на его долю на территории Африки.

Князь поделился воспоминаниями о том, как впервые в 1953 году очутился в гостях у дяди в Париже и увидел в его спальне трофейный немецкий «Шмайссер», узнав от владельца оружия, что это эффективное средство ведения боя рядового бойца на близком расстоянии. Солдат Николай Вырубов большую часть войны провёл именно в пехоте, закончив войну в чине младшего лейтенанта...

После окончания речи Никиту Дмитриевича ожидал сюрприз. Молодой скульптор Дмитрий Астафьев, студент 4-го курса Суриковского института, привёз созданный им бронзовый бюст Н.Д. Лобанова-Ростовского и вручил ему на сцене.

Юрий Александрович Трубников на церемонии открытия выставки в своей речи рассказал о деятельности Земгора. Он также коснулся темы прощания в 2009 году во Франции с добровольцем Николаем Вырубовым, со всеми полагающимися ему военными почестями на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа. На выставку Ю.А. Трубников предоставил семейные фото и портрет матери Николая Васильевича — Ольги Николаевны Вырубовой (урождённой Галаховой).

На открытии выставки Владимир Петрович Енишерлов, главный редактор журнала «Наше наследие», зачитал текст статьи Вырубова «Встречи», написанной в 2002 году, но не утратившей актуальности сегодня: «Настанет день, когда сознание преобладания этики над всем остальным (во что мы искренне верим) вновь вернётся в страну... Премьер-министр России во время своего недавнего визита в Париж сказал, обращаясь к журналисту «Figaro»: «Россия скорее нуждается в изменении менталитета, чем в реформах». Путь указан».

Директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин рассказал о своих незабываемых встречах с Н.В. Вырубовым в Париже, подчеркнув, что «Николай Васильевич жил Россией, помогал ей своими дарами: картинами, рукописями, книгами».

Виктор Леонидов охарактеризовал свои впечатления от личности Н.В. Вырубова, как невероятные. Как всегда, он украсил вечер своими песнями под гитару, так же, как и Андрей Шестопапов, исполнивший «Утро туманное» на стихи И.С. Тургенева и другие романсы и песни.

Своим воспоминаниями поделился директор Государственного музея А.С.Пушкина Евгений Анатольевич Богатырёв, предложивший своим коллегам-музейщикам выпустить совместный каталог архивных и музейных предметов, переданных в дар музеям Николаем Васильевичем.

Потом на сцену поднялась представительница рода Львовых Екатерина Юрьевна Львова, рассказавшая, как, найдя в Париже могилы своих родственников, была удивлена их ухоженности, и, как потом выяснилось, это была забота Н.В. Вырубова. Директор Орловского тургеневского музея Вера Витальевна Ефремова рассказала о реставрационных работах, о подготовке новой экспозиции, посвящённой Галаховым, сохранившим «в русских руках» тургеневское наследие из Спасского-Лутовинова, и подарила ДРЗ ежегодный «Тургеневский сборник» с воспоминаниями Ю.А. Трубникова о родословной Вырубовых. Ведущий научный сотрудник Орловского музея Людмила Анатольевна Балыкова поделилась воспоминаниями о встрече с Н.В. Вырубовым в Париже, о его словах: «Я хочу, чтобы эти вещи возвратились на своё место...»

Род Вырубовых

Никита Дмитриевич Лобанов Ростовский в своей книге «Эпоха. Судьба. Коллекция» (Москва, Русский путь, 2010) подробно рассказывает о представителях рода Вырубовых, о том, какую спасительную роль сыграл Николай Васильевич Вырубов, работая после войны в секретариате ООН, в том, чтобы голодающие в Болгарии Никита Дмитриевич и его мама Ирина Васильевна Лобанова-Ростовская (урожд. Вырубова) смогли в 1953 году перебраться в Париж, куда их, семью расстрелянного белоэмигранта, не выпускали болгарские власти.

В книге «Эпоха. Судьба. Коллекция» Никита Дмитриевич написал: «Мой дядя родился 25 февраля 1915 года в городе Орле, где ныне музей Тургенева.

В 1940 году студентом Оксфордского университета стал одним из первых добровольцев, записавшихся в армию де Голля, воевал с ним в Африке, участвовал в десанте в Италии, где был дважды тяжело ранен, но вернулся на фронт и провоевал с де Голлем до конца войны в 1945 году. Только двое россиян, он и полковник А. Милахвари, убитый при Эль-Аламейне, были награждены де Голлем Орденом Креста Освобождения. В своих статьях Вырубов объяснял, что воевал он и за освобождение Франции, и за то, чтобы Россия не была завоевана Гитлером».

На вопрос в интервью Н. Паклину («Российская газета», Париж, 2002), почему он пошёл воевать, Николай Васильевич, отвечал: «Есть такое понятие, как нравственный долг. Когда находишься в гостях, а в дом врывается разбойник, то, естественно, помогаешь хозяину прогнать его. К Советскому Союзу и советской власти я относился отрицательно. Знаете, за что я невзлюбил большевиков? Нет, не из-за политических или идеологических разногласий, а потому что мне пришлось жить здесь, а не на моей Родине. Если бы мой отец мог спокойно жить и работать в советской России, не бояться за себя и своих близких, ходить на службу, получать зарплату, то он остался бы в Советском Союзе. Он очень снисходительно относился к тому, что там происходило, хотя и не был согласен с происходящим. Духовно он был связан с родиной».

Николай Вырубов — дважды герой Франции, получивший в 1944 году из рук Шарля де Голля одну из высших наград страны — Крест Освобождения. А затем уже другой президент Франции — Жак Ширак — вручил в 1996 году Вырубову Орден Почетного Легиона. Среди других героев его имя выбито на мраморной доске в ансамбле Дома инвалидов в Париже.

Отец Николая Васильевича, Василий Васильевич Вырубов, живя в Париже, принимал у себя довольно часто писателя Алексея Николаевича Толстого, посвятившего хозяину дома свой очерк. Он писал, как приехал в главную квартиру комитета Западного фронта Всероссийского Земского союза в январе 1917 года: «Прежде всего, это — свежая организующая сила. Начавшись с десятка санитарных поездов, эвакуирующих раненых из тыла в глубь России, Союз строит сейчас мосты, сооружает больницы, ангары, целые городки для рабочих, солдат, беженцев, имеет свои механические мастерские, колонны автомобилей, prepares палатки, телеги, повозки, сани, кухни, упряжь, одежду, обувь, противогазовые маски и т. д. (я не считаю тыловых предприятий). Имеет свои заводы — химические, мыловаренные, кожевенные, лесопильные и пр. Собирает на фронте кожи, металлы, тряпьё. Раскидывает повсюду питательные и перевязочные пункты, госпитали, бани и прачечные. Приобретает рудники. Организовав «Земгор», — инженерно-строительные дружины, — роет окопы. Наконец, в собственных столовых кормит и обучает грамоте более десяти тысяч беженских детей, по большей части сирот, до которых раньше не было никому дела. И не отказывается ни от одной поставки военному ведомству, в каком бы размере ни было предъявлено требование. Всего учреждений Западного комитета свыше 1500, и ежемесячный оборот их — около 80-ти миллионов.

В одном Западном комитете работают более 100 000 человек. Всё новые людские потоки из Финляндии и Владивостока, с Белого моря и Черного — киргизы, калмыки, финны, буряты, корейцы и проч. — ежедневно вливаются в распределительные пункты Союза. Закупщики материалов разбросаны по всей стране и за границей. И, конечно, конец войны не может остановить организующих и строительных работ Союза, — только изменит их направление, повернет лицом к тылу».

Комитет возглавлял В.В. Вырубов, которого писатель характеризует как человека непреклонной воли. Это был видный земский деятель. В 1963 году его сын Николай Васильевич возглавил одну из авторитетнейших организаций русского зарубежья — Земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей (Земгор) и руководил ею до 1990 года, передав руководство Земгором в руки племянника Ю.А. Трубникова.

Отец Николая Васильевича — В. В. Вырубов сумел передать своему сыну энергию деятельности на благо общества. Как написал в своей книге Никита Лобанов-Ростовский, в главе «Смерти нет», о своём дедушке: «Он много сделал для поддержания русской культуры за рубежом. Он стал инициатором создания «Золотой книги» Русского Зарубежья. Василий Васильевич Вырубов скончался в Париже в 1963 году и похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа под Парижем.

Текст «Земской союз. Вырубов» из дневника А. Толстого был опубликован в газете «Русские ведомости», № 12, в воскресенье 15 января 1917 года. Толстой передал вырезку из газеты моему деду Василию Васильевичу Вырубому, когда приезжал в Париж на международный съезд писателей в 1937 году. Статью мне передал его сын и мой дядя по матери Николай Васильевич Вырубов. Толстой и мой дед дружили в молодости; дядя Николай Васильевич сопровождал отца и Алексея Толстого в 1937 году в Театр Елисейских полей, где труппа из Москвы представляла пьесу «Анна Каренина». Рассказ Б. Подгорного о личности Василия Васильевича я также получил от моего дяди Николая Васильевича Вырובה, который нашёл текст в архиве отца».

Николай Вырубов был прекрасным знатоком искусства. В своё время, в середине 20-х годов прошлого века, на его развитие и воспитание повлияла Саломея Николаевна Андроникова-Гальперн, дружившая с Мариной Цветаевой и Осипом Мандельштамом. Она была с ними в переписке и являлась адресатом их стихов. В её доме юный Николай Вырубов познакомился со многими русскими представителями литературы и искусства.

После перестройки, когда появилась возможность бывать в России, началась его деятельность по наполнению музеев, библиотек, архивов в России произведениями искусства, документами, книгами, связанными с русской историей и культурой.

Гатчинскому дворцу-музею он передал портреты великого князя Константина Павловича и его потомков. Это семейные реликвии Вырубовых-Львовых, с XIX века находившиеся в Париже.

В Пензу Н.В. Вырубов передал документы, касающиеся семьи его отца (Вырубовы были пензенскими помещиками).

Множество документов, касающихся Временного правительства, письма князя Львова, Керенского, Маклакова переданы Фонду культуры. Многие семейные реликвии поступили в музей И.С. Тургенева в Орле.

Н.В. Вырубов был женат на Сабине де Ноай, у которой в предках был генерал Жан-Виктор Моро, противник Наполеона, похороненный у стен одной из католических церквей Святой Екатерины в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Николай Васильевич и его жена помогли в восстановлении храма, связанного со многими судьбами известных людей России и европейских стран. Щедрым дарителем стал Николай Вырубов для Государственного музея А.С. Пушкина.

А.Я. Невский, старший научный сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина, рассказывает в статье «Дар Н.В. Вырובה Госмузею А.С. Пушкина» о том, что музей пополнился двумя изящными русскими миниатюрами первой трети XIX века. Это портрет Николая Андреевича Небольсина и его первой жены Евдокии Дмитриевны, урождённой Львовой. Её племянница Евдокия Александровна была замужем за прадедом Н.В. Вырובה. Также от Вырובה музею были подарены акварельные гравюры французских художников 1814-1815 годов, рассказывающие о пребывании русских войск в покорённом Париже.

Как рассказал Владимир Енишерлов в журнале «Наше наследие», № 91-92, 2009, в статье «Рыцарь чести. Памяти В.В. Вырובה», «в течение почти 20 лет Н.В. Вырубов состоял членом редакционного совета журнала «Наше наследие», полностью разделяя заложенное Д.С.Лихачёвым просветительское направление журнала. Он был очень глубоким, интересным автором, писал и печатал статьи о взаимоотношениях России и Европы в политике и культуре. Удивительно, как, будучи, казалось, всецело погружённым в европейскую цивилизацию, прожив восемь десятилетий на Западе, он сумел сохранить свою русскость, живо интересуясь не только и не столько прошлым России, но более её настоящим, глубоко и озабоченно размышляя о политике, экономике, культуре. Истинный русский европеец Н.В. Вырубов отчётливо сознавал роль, которая уготована России в мире: «Она торит собственный путь, независимо от того, будет ли ей благодарна та или иная страна. Стремясь вступить в единое мировое культурное пространство, она ещё не исполнила своей роли, но великое предназначение, о котором говорил Пушкин, ей ещё предстоит исполнить в будущем».

Александр Медведев

Мастер умирающего сфинкса

Искусство полно тайн. Нельзя сказать ни об одном шедевре: о нём известно досконально. Особенно, когда его история переплетается с мифологемами, глобальными идеями.

Петербург славен памятниками, многие из которых — в ауре легенд. Охочие до мистики наслышаны о тайне сфинксов у Академии художеств, но об исторической её стороне знают единицы. Суть тайны очерчена почти гамлетовским вопросом: быть или казаться?

Быть Москве Третьим Римом или третьестепенной столицей окраины Европы, пропитанной азиатским духом? Вопрос открыт. По Малевичу: «то, что мы открыли, уже не закрыть». Рука не поднимется закрыть бутылку вина, если в ней ещё хотя бы слабый плеск. Так актёр, открывший в себе черты персонажа, вживается — римлянин, евразиец, кто угодно, и это неисчерпаемо. Главное, забыть себя, не сделав попытки узнать, кто ты на самом деле. И надо ли? Хорош, плох сценарий — играй. Человек играющий, homo ludens, а русские люди — играющие не на шутку. Иногда, правда, шутят по этому поводу.

Миф о Третьем Риме заслонил реальную жизнь Москвы–России. Так и с Петербургом. Быть или не быть ему пусто? Миф о городе-призраке искажает картину прошлого и настоящего удивительного города, вынуждает видеть на нём маску призрака, костюм иностранца, мифического, впрочем. Так и увидишь! Среди сырых снегов — египетские сфинксы, странники в столь странном месте. Как не вспомнить Мицкевича:

У зодчих поговорка есть одна:
Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.

Проницательный, как и положено поэту: два месяца побыл в Петербурге и всё понял, разгадал тайну города. Но оставим сатанизм тем, кто верит, что сваи в Петербурге вбивали рабы, а в Венеции и Риме — боги.

Откуда эта идея, стяжка севера и юга, узловатая нить магии, тайных знаний? Крепка ли? Сказать: сфинксы на Неве появились для красоты, — кто поверит? Они для тайны, без тайн, легенд, город не город.

Легенды. Алексей Венецианов, классик бытового жанра русской живописи, академик Академии художеств, в марте 1821 года посвящён в ложе Лабзина «Умирающий Сфинкс». В ней же поручительством Новикова посвящён Дмитрий Левицкий, знаменитый художник-портретист, автор картины «Екатерина-законодательница». Александр Фёдорович Лабзин — вице-президент Академии художеств при президенте А.Н. Оленине, питомец И.Е. Шварца и Н.И. Новикова, масон высоких степеней, талантливый переводчик мистических книг, его бюст и сегодня можно увидеть в Русском музее. 15 января 1800 года Лабзин основал ложу «Умирающий сфинкс», стал великим мастером. В октябре 1822 года за дерзкий и остроумный отзыв о влиятельных вельможах отправлен в отставку с поста вице-президента Императорской академии художеств, выслан из Петербурга. Десять лет спустя, перед Академией художеств появляются египетские сфинксы. Умирающий сфинкс, не живой и не мёртвый, — какая удачная символика для спекулятивной фантастики «петербургского мифа».

Наполеон перехватил было идею Третьего Рима у русской монархии, завоевав Европу. Стал владыкой, подобно Юлию Цезарю, вырвав это право в сражениях, в том числе в Египте. Там он коснул-



ся мистической тайны, оттуда началось возвышение, стремительный взлёт, от египетских пирамид к семи римским холмам славы. Египетский поход сделал Бонапарта Наполеоном. Именно в Египте он вспомнил: имя его от Наполи (Неаполь — новый город), он приступит к обновлению мира!

После знаменитой битвы у пирамид 21 июля 1798 года Бонапарт, желая обосноваться в Египте и вернуть ему статус центра мира, создаёт Научный институт, о чём 22 августа вышло постановление. Официально в документе указано: цель создания Института — в «исследовании, изучении природных явлений, промышленной деятельности и исторических событий этой страны».

Наполеон решает привезти сфинкса в Париж. Подолгу и не раз вглядывался он в гранитный лик, и однажды увидел нечто. Тайный знак из глубины веков заставил спешно покинуть армию, броситься в Париж.

Англичане же неспешно перевезли из Египта в Британский музей и другие сокровищницы множество объектов, культурных и мистических. И хотя на сегодня Британией в значительной мере утрачены колонии, имперская сущность остаётся неприкосновенна. Британская монархия хранит открывшуюся ей тайну мирового господства, тайну египетского сфинкса.

В античности в Египет отправляется Гней Помпей, соперник Цезаря и соправитель Рима. Он не увидел тайные знаки, указатели к императорскому трону, Помпея убили по приказу египетского царя Птолемея XIII, угрождающего Риму. Их узрел Цезарь. Он возвёл на трон Клеопатру, и получил посвящение.

Все дороги ведут в Рим, самая короткая — через Египет. И — самая тёмная.

Александр I, победившему Наполеона, открылось: России не быть Третьим Римом, покуда не получит египетского посвящения. Русские дипломаты, учёные, вплотную приблизились к тайне сфинксов: мистические изваяния могут способствовать подлинному имперскому посвящению России. У Академии художеств устанавливают магических сфинксов, как символы имперского могущества и тайных знаний.

Александр I слишком доверял англичанам, а они искусно подводили его к вынужденной доверчивости. Британия всегда опасалась укрепления России, и после свержения русскими корсиканского чудовища, властителя Европы, не могла допустить мистического посвящения русской монархии.

Александр, царственному мистика, не удалось направить светоносный луч от дельты Нила к зеркальной ей дельте Невы. Решение задачи легло на плечи брата, Николая I.

В.С. Татищев отыскал слова Николая I, сказанные вскоре после восшествия на престол, французскому чрезвычайному послу графу Сен-При: «Брат мой завещал мне крайне важные дела, и самое важное из всех: восточное дело...» Фразу обсуждали во всех европейских кабинетах. Не случайно государь подчёркивал преемственность восточной политики, Россия давно смотрела в эту сторону. Но истинных устремлений не раскрывала.

8 августа 1834 года тридцатидевятилетний действительный статский советник Авраам Сергеевич Норов увольняется в отпуск «для поклонения Гробу Господню». В тексте официального документа дополнительное указание: «При проезде через Александрию войти в непосредственное сношение с генеральным консулом полковником Дюгамелем о способах к выгоднейшему приобретению и доставлению из тех мест в Россию некоторых аптечных материалов и сделать по этому предмету подробный доклад» (с выдачей на расходы 3 тыс. рублей). На первый взгляд, текст — свидетельство давней осведомлённости русских государей об изобилии лекарственных растений в Египте. Ещё в XVII веке паломник Арсений Суханов сообщал в «Проскинитарии» о покупке в Египте в «государеву аптеку» 130 золотников (более 500 г) таинственного «андрагрыза» («мужского корня»). Для шифровальщиков, современников Норова, слова «некоторые аптечные материалы» могли указывать и на нечто иное. Вот и более раннее паломничество Суханова не ограничивалось интересом к церковной дискуссии с Иерусалимским патриархом Паисием о перстосложении. В «Проскинитарии» Арсения Суханова просматривается и не столь очевидный интерес: основной путь паломничества 1649 года пролегал по турецким владениям, Суханов подробнее описал турецкие крепости и укрепления, их фортификационную силу и слабость, исполнив роль военного разведчика. Не случайно и Муравьёву, посетившему в 1830 году Палестину и Египет, оказали финансовую поддержку, высочайше одоблив «смирное желание быть в местах освященных». Андрей Николаевич Муравьёв, молодой офицер и путешественник, поэт и историк церкви, первым из русских увидел сфинксов, откопанных археологом Яни. Он организовал перевозку сфинксов в Петербург.

Русская монархия вплотную подошла к воплощению идеи Третьего Рима. «Никогда дотоле имя наше не было в такой силе и славе на Востоке», — подчёркивает А.Н. Муравьёв в книге «Путешествие ко святым местам в 1830 году». И добавляет: даже «Царьград в 1830 году имел вид только южной столицы России», «казалось... во дворце посольства русского решались судьбы империи Оттоманской».

Могли ли на это спокойно смотреть из Лондона?

Для доставки сорокашеститонных сфинксов из Александрии в Петербург Муравьёв зафрахтовал итальянский парусник «Буэна Сперанца» («Добрая Надежда»). Английская королевская разведка подготовила операцию по уничтожению сфинксов в порту во время погрузки, но её осуществить не удалось — английская точность споткнулась о русское авось, график доставки сфинксов в порт, время погрузки, к тому же бригады такелажников несколько раз менялись. Тогда в набираемую команду корабля внедрили человека с заданием: любыми способами не допустить доставки мистического груза в Россию. Ему это удалось. Наполовину. Английский шпион подрубил канаты таким образом, что даже при небольшом шторме массивные сфинксы неминуемо сорвались бы с палубы в море. Шторм, действительно, разыгрался, и серьёзный. Не выдержав качки и ударов волн, подрубленные канаты лопнули. Один из сфинксов сдвинулся, но упёрся в спасательную шлюпку, продавил её борт, но и расщеплённая, она препятствовала соскальзыванию изваяния в море. Тогда шпион, рискуя быть сбитым волнами, перерубил канат, крепивший шлюпку, и ящик со сфинксом беспрепятственно ушёл в пучину. Шпиона швырнуло на мачту, он потерял сознание и лишь чудом остался жив.

По другой версии капитан велел рубить мачты; так нередко спасали корабли от верной гибели в шторм. Обвязанные верёвками, несколько матросов приступили к делу. Воспользовавшись суматохой, плохой видимостью, шпион перерубил канаты, удерживающие сфинкса. От второго сфинкса его отбросила волна, и он выронил топор.

«Буэна Сперанца» доставила в Петербург вместо двух одного сфинкса.

Электрическая батарея двухполюсная, источник египетского мистического могущества тоже состоял из двух компонентов. Сфинксы символизировали царскую и жреческую власть. Одно без другого недолговечно. Николая I огорчило известие об утонувшем сфинксе, он запретил оглашать его, идея Москвы Третьего Рима должна жить, и получить развитие во что бы то ни стало именно сейчас, здесь, в Петербурге.

Возвращаясь из Петербурга, «Буэна Сперанца» потерпела кораблекрушение.

Царь поручил Алексею Николаевичу Оленину, президенту Академии художеств, в кратчайший срок изготовить копию доставленного сфинкса, дабы ни у кого не возникло сомнение в утрате подлинного.

Как Менгс — рисует сам,
Как Винкельман красноречивый — пишет.

Таков Оленин, портретируемый Константином Батюшковым. Оленин, знаток античности, приложил много усилий, пополняя академическое собрание скульптурными копиями. Ему надлежало найти достойного монаршей воли художника для изваяния царственного колосса с челом, исполненным думы.

Оленин нашёл художника.

Фёдор Львов, ученик Ивана Петровича Мартоса, заслуженного ректора скульптуры Высшего художественного училища при Академии художеств, был сыном крепостного художника. Его отец, Пётр Львов, внебрачный сын князя Владимира Семёновича Львова и горничной Авдотьи Хромовой, получил вольную, и сын его Фёдор имел законное основание для поступления в училище при Академии.

Бедный, но чрезвычайно талантливый и работоспособный, Фёдор Львов добился по протекции Мартоса должности управляющего каменоломни в Олонецкой губернии, поставляющей гранит для архитектурных проектов Императорской Академии, и готовился к отъезду. Он без сожаления намеревался покинуть Петербург и по личным мотивам, оставаться отвергнутым женихом было выше сил. Оленин сочувственно отнёсся к молодому скульптору. Он не мог предоставить Львову наи-

лучшего лекарства от любви, новую влюблённость, но верный способ не пасть духом, достойную всепоглощающую работу дал. Фёдор соглашается стать затворником, как минимум, на год, а может, и дольше. Пусть Лиза знает, кого отвергла, большого мастера, работающего государев заказ. Только она не узнает, и никто не узнает. Чувство тайного превосходства над более удачливыми сокурсниками, юношами из богатых семей со связями, остудило жгучую обиду. Авторство тайного заказа известно на небесах, знает государь и довольно, думал Львов.

На Литейном дворе соорудили деревянное строение, мастерскую. Из полковой канцелярии Преображенского полка прислали двух солдат надзирать за ходом работы и обеспечить секретность.

Особой трудности с копией, а вернее, вариацией уцелевшего сфинкса у Фёдора Львова не было. Куда более сложной ему виделась работа мастера Самсона Суханова, изваявшего громадную гранитную «Царь-ванну» для Баболовского дворца в Царском Селе. Ванна вечной молодости — тайные ритуалы, расчёт, наука, искусство. А сфинкс... Изучая анатомию животных, он лепил, резал, вырубал фигурки собак, коз, лошадей. Получалось убедительно. Сфинкс египетский — стилизация, упрощённые формы, гладкая, условная поверхность, с этим ли не справиться?

Странная, впрочем, фигура.

Фёдор смотрел на сфинкса, освобождённого из ящика, провёл рукой по сбитому нижнему краю, ощупал повреждённую бороду. Всё повторимо. Улыбка — здесь загадка. Глаза без зрачков, но видят. Это от улыбки ощущение жизни — сфинкс прозревает вечность. Глаза, губы резать вполсилы, намёком, зритель сам дозреет, увидит невидимое, только направь его зрение, построй нужный угол. А вот уши сфинкса почему-то ближе к натуре, минимум стилизации, проработаны подробнее других частей изваяния.

Приступив к работе, Фёдор понял: самое сложное — фриз с иероглифами. Пришлось комбинировать знаки с подлинного сфинкса. Сомневался: ну, как найдётся кто, читающий египетскую премудрость? Спасал кураж художника, Фёдор забывал о возможном разоблачении, старательно переносил совы, соколов, полукруглые чаши, веретёнообразные пики в альбом, чтобы затем начать гравировать на камне, на постаменте сфинкса. Работал, забыв себя.

Вскоре Львов понимает: почётный заказ обернулся полной изоляцией, выйти во двор можно лишь ночью в сопровождении преображенца, облачившись в солдатскую форму. Для немногочисленных знакомых он отбыл в Олонецкий край, о нём никто не вспоминал. Любопытствующих о сарае или складе, спешно возведённом на Литейном дворе, удовлетворило объявление: хранится убранство строящейся набережной перед Академией художеств. Постепенно Львов начинает задумываться о дальнейшей судьбе. Что станет с ним по окончании работы? Всё навязчивей кружение обрывков легенд о печальной участи мастеров секретных ходов, тайников, строителей уникальных сооружений: по исполнению работы могущественные заказчики ослепляли, а то и убивали их, избавляя от пожизненного несения тягостной тайны.

На изготовление сфинкса ушёл год. Ощущение угнетённости, не покидавшее Львова, неожиданно отступило, чуть появилась возможность короткого общения. В последний месяц Фёдор занемог, переутомился, и вот простуда. Преображенцы вызвали доктора, он осмотрел художника, назначил постельный режим. Оленин, обеспокоенный задержкой, дабы не усугубить положение, вызвал сиделку.

Два дня у Львова был жар, бред.

Очнулся — сидит девушка. Показалось, Лиза?

— Надежда, — поправила девушка. — Вам уже лучше.

Львов смотрел на неё. Откровенно любовался лицом: чёткий овал, охваченный белым платком, будто гипсовая маска оттаивает, статуя просыпается.

Через несколько дней он уже мог сидеть на топчане, порывался встать, но Надя, ссылаясь на распоряжение доктора, воспротивилась.

— Вам скучно, понимаю. Работу хотите доделать, — она посмотрела на дверь в мастерскую. — В горячке всё рвались: работать, государев заказ, работать!.. Бредали.

— Что ж говорил?

— Лизу звали. Сокрушались: холодна, сфинкс надменный.

— Так сказал?

— Не так, громче, раз почти в голос закричали. А что это — сфинкс?

— Возьмите ту папку, — Львов указал на полку, — откройте.

Надя стала рассматривать гравюру с пирамидами на заднем плане, а на переднем — сфинкс. Затем подошла к двери, приоткрыла, но вход загородил солдат.

— Ой!

Скучавший преображенец оживился, распрямил плечи:

— Нельзя, — расплылся в улыбке, преградил вход. — Даже красивым, нельзя.

На следующий день художника навестил Оленин. Ободрил:

— Если в срок уложимся, государь обещает пенсионерство в Италии. Вам — три года!

Они осмотрели сфинкса. Оленин сдержанно похвалил художника, попросил с тем же тщанием завершить работу.

Львов с новыми силами приступил к последнему этапу, начал шлифовать сфинкса.

Спустя неделю, на ночной прогулке, солдат, что не пустил Надежду в мастерскую, сообщил:

— Сестра-то ваша, милосердия, умерла.

— Как умерла?

— Утонула. Говорят, с Исаакиевского моста упала...

Чуть рассвело, в мастерскую пришёл чиновник.

— Смоленцев, капитан Особой канцелярии квартирмейстерской части Главного штаба. Имеем сведения, что Надежда Семёнова, сестра милосердия, получала лестные предложения от некоего Смита, английского инженера из Адмиралтейства, склонявшего её к шпионству. Её кончина предполагает помыслить, что она имела осведомлённость о секретной работе, которую вам высочайше доверили, господин Львов...

— Господин капитан! Я никак не дал повода...

Смоленцев развернул письмо в осьмушку листа.

— От людей в доме Смита мы получили копию письма, датированного днём предполагаемой гибели Семёновой. Смит пишет: «...для большей уверенности посылаю ещё раз Вашему превосходительству достоверные подробности, почерпнутые из донесения нашего агента, копию с которого я вам уже отослал. Из этих сведений и последующего дополнения Вы увидите, что в действительности находится и происходит в известном Вам месте Васильевского острова...» Разумеется, оригинал писан по-английски, к тому же шифром.

— Как же вы...

— Не стоило труда, — Смоленцев, заговорил, будто старый знакомый. — На столе под сукном лист бумаги, а сукно с обратной стороны натёрто порохом. Вам как художнику известен эффект копировальной бумаги.

И другим тоном, чиновничьим, заключил:

— До выяснения, господин Львов, высочайшим повелением вы отстраняетесь от работы.

— Но ведь...

Смоленцев, тотчас вернув себе выражение участия, упредил объяснение художника:

— Не беспокойтесь, полировкой мы займёмся сами. Как видите, наша канцелярия в вопросах художественного ремесла тоже осведомлена. А сейчас пожалуйте за мной.

«Петербургские сфинксы уникальны по качеству исполнения и по своей иконографии. Царь в облике сфинкса изображён как одно из воплощений солнечного божества, на его плечах — широкое ожерелье усех, на голове — парадный царский платок клафт и па-схемти, корона Верхнего и Нижнего Египта. К сожалению, короны наиболее пострадали от времени и в XIX веке были скреплены металлическими штырями, которые, постепенно покрываясь коррозией, разрушали гранит».

В популярных описаниях сфинксов не указано, отчего они пострадали, да и металлические штыри, вставленные Фёдором Львовым, были заменены при реставрации сфинксов к празднованию 300-летия Петербурга. Реставрационные работы неожиданно дали повод исследователям вернуться к тайной истории сфинксов. В это время наполнялась и наша папка с материалами для книги о мистике и тайнах искусства.

Молодые берега

Вероника Морина

Вероника Морина учится в 10 классе гимназии при Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, окончила Калининградскую художественную школу, интересуется современным искусством.

«Гипсу ты мысли даёшь...»

О творчестве скульптора Виктора Морина

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даёшь, мрамор послушен тебе:
Сколько богов, и богинь, и героев!.. Вот Зевс Громовержец,
Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.
Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль...
Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров —
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В тёмной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!

«Художник». А.С. Пушкин, 1836

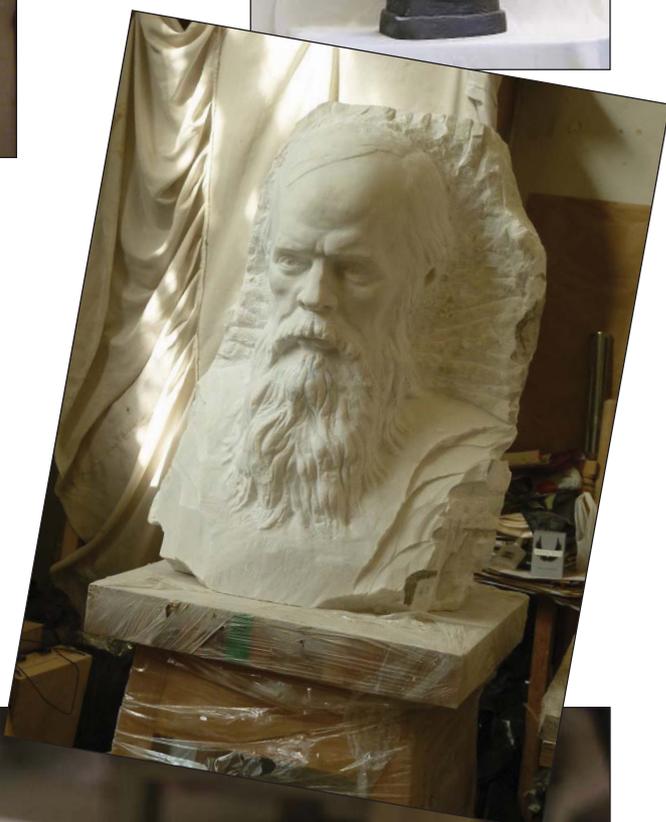
Как человек может познать себя и окружающий мир? В этом контексте творчество — главное понятие, которым мы оперируем. А творческая деятельность включает в себя несколько видов — социальный, научный, технический, художественный. Художественный вид берёт на себя решение главной задачи искусства — создание эстетической ценности. Одна из классификаций изобразительных искусств — скульптура. Скульптура, как и другое искусство, по-своему отражает реальный мир в художественных образах, используя свои способы. Условно говоря, специфика скульптуры заключается в трёхмерном изображении преимущественно человека, причём раскрывается его характер, настроение, действия. Скульптурные композиции создаются в разнообразных вариациях бытовых, аллегорических фигур. Особое внимание уделяется скульптурным портретам в изображении известных исторических деятелей.

Скульптору Виктору Морину, студенту III курса Санкт-Петербургской академии художеств, предстоит воплотить в жизнь такие материалы, как бронза, дерево, драгоценные материалы (пр. слоновая кость), искусственный камень, и он делает в этом направлении смелые шаги. Каждый материал имеет свою специфику подхода — и он пробует себя в каждом виде, хотя это тяжёлая физическая работа.

Один из главных разделов скульптуры — монументальный. К нему относятся бюсты-монументы и памятники (однофигурные и многофигурные) в честь выдающихся личностей и событий. Один из ярких примеров монументальных работ Виктора — его скульптурный портрет Ф.М. Достоевского, выполненный в мраморе. Он ему явно удался, так как теперь находится в фонде Академии художеств, а это высокая оценка профессионалов-преподавателей.

Ещё одна монументальная работа Виктора Морина — экспрессивно выполненный портрет Л.Н. Толстого, отличающийся продуманностью линий и необыкновенной мягкостью в подходе к личности писателя, который, несомненно, близок автору скульптуры.

Следующий раздел скульптуры — монументально-декоративный. Примером этого вида искусства служит другая работа Виктора — овеянный поэзией эскиз фонтана «Раковина». Эта садово-парковая скульптура берёт на себя определённые задачи, она должна удачно вписываться в окружение, хорошо гармонировать с зелёным фоном на улице, иметь соотношение объёма и пространства. Сюда же попадает ещё одна учебная скульптура Виктора — задумавшийся, сидящий на бревне молодой человек. Его взгляд устремлён к небу, к вечности, хотя сам герой скульптуры ещё так юн.



Переходим к разделу станковой скульптуры. Обычно она устанавливается на подставке и предназначена для выставок, музеев, общественных и жилых помещений. Её рассматривают на близком расстоянии вне зависимости от её окружения. Произведением станковой скульптуры может быть психологический образ героя (портрет) или жанровая сценка. У скульптора Виктора Морины множество отформованных гипсовых копий одной работы — психологического портрета индейца, лицо которого говорит о том, как много он понял и пережил, и в то же время ему известен вкус победы.

Ещё одна станковая скульптура Виктора — портрет донского казака Козьмы Крючкова, который участвовал в Гражданской войне на стороне белых. В августе 1914 года снискал славу героя, саблей и пикой одержав победу над одиннадцатью окружившими его врагами. Мужественный портрет казака явно удался молодому скульптору.

Виктору Морину близки все основные разделы скульптуры, он ощущает своё предназначение именно в этой сфере искусства. Работы талантливого художника говорят о том, что ему свойственны внимание, наблюдательность, терпение, хороший глазомер, умение импровизировать, отличная координация движений обеих рук.

Прежде чем создать скульптурный портрет, он погружается в историческую обстановку, окружающую его героя, знакомится с его жизнью или творчеством, чтобы найти какие-то детали и штрихи, характеризующие именно этого человека, изучает костюмы и быт того времени. Ему надо пропустить жизнь изображаемого человека через «своё сердце», слиться с ним. Работа над образом начинается у него с библиотек и музеев.

Виктор проводит в мастерской всё свободное время, с радостью перенимает опыт своего учителя — Владимира Эмильевича Горевоего, который поверил в его талант на самом начальном этапе. Владимир Горовой работает в области монументальной и станковой скульптуры. Он автор многочисленных памятников, кавалер Золотой медали Академии художеств СССР. Его работы представлены в отечественных и зарубежных музеях. Владимир Эмильевич — член Союза художников России, лауреат Государственной премии РФ имени И.Е. Репина.

Виктор гордится тем, что учится в Академии художеств. Это мировой авторитет российского изобразительного искусства, русской художественной школы. Это высшая школа мастеров русского искусства и центр художественной жизни страны. Академическая школа многое даёт. Без фундаментальных знаний творчество будет пустой игрой формами, цветом, всё будет мёртвым.

Академия стала родным домом для Виктора, в её стенах он постигает азы профессии, не боясь трудностей и поставленных задач.

Как писала Белла Ахмадулина:

Художник ищет совершенства —
неужто, он его нашёл?

Удел художника, поэта,
наверно, именно таков:
у классики просить совета,
ответа ждать от мастеров,

Разъятая на части цельность —
лишь символ творческих невзгод.
Художник ищет драгоценность
гармонии — и он найдёт.

Верится в это и по отношению к молодому скульптору Виктору Морину, который интересен уже тем, что в его работах отражается полнота жизни и в то же время необыкновенная близость человеку.

Молодые берега

Андрей Маменко

Меня зовут Андрей. Я живу в городе Калининграде. Здесь я родился в 1988 году и прожил уже 27 лет. На вопрос кого-либо о том, местный ли я, всегда отвечаю положительно. Очень частый это вопрос, ибо слышу его от каждого, с кем общаюсь впервые, но никто не спросит меня: как получилось, что я местный, как вышло, что я здесь родился? В ответ я не смогу привести разветвлённого генеалогического древа, уходящего корнями в калининградскую землю. Война посадила здесь новое дерево, взрыв землю глубоко и хорошенько удобрив её кровью человеческой. Я расскажу страшную историю о том, как люди убивали других людей — кто от страха, а кто от глупости...

Военная хроника моего деда

Многие задаются вопросом: зачем людям воевать, зачем друг друга убивать? Ответ, на мой взгляд, очевиден: люди действуют по приказам вышестоящего начальства. Для того чтобы понять, почему человек попадает в такие условия, приведу простой парадокс. Военным быть модно и престижно, по мнению многих. Красивая форма, идея героя-защитника Родины, привилегии государства — всё это привлекает, вызывает уважение у других. Родные гордятся тобой, твоей выправкой, униформой. Окружающие чтят твой высокий чин, и всё хорошо. Хорошо до момента приказа о высадке в чужой стране и нападении на так называемого врага с целью убийства и оккупации территорий. Мой посыл не нужно расценивать как протест против оборонной системы государства, она непременно нужна для защиты. Однако обратная сторона медали — нападение. Здесь важно помнить, что никто не может заставить вас убивать другого человека, если вы не хотите или не считаете нужным, не согласны с мотивацией. Большинство из здравых, живущих осмысленной и полноценной жизнью людей уверены, что никто не заставит их идти на войну, что они свободны от подобного давления, даже военные. Вспомните тогда фашистскую Германию и задумайтесь: из семи миллионов германцев, погибших на рубежах военных столкновений, кто был свободен от идеологической пропаганды превосходства нации одной над другой и от приказов вышестоящего начальства?

Вы, конечно, не во всем согласны со мной, но это ваша прерогатива. Каждый из вас — живой человек. Спорьте, вступайте в дебаты, доказывайте, выдумывайте какие угодно обоснования и приводите любые аргументы. Вы можете даже сочинить стих или песню с душевным текстом, трогающим сердце. Однако все ваши старания и творческие порывы, бесконечно широкие, как вселенные, разобьются о маленький кусочек свинца в цельнометаллической оболочке. Не с таким ли суждением каждый из нас шёл бы в огонь, уверенный сейчас в своём потенциале, в своих неизведанных бесчисленных способностях? И каждый из нас разве не сказал бы про себя: а я ведь мог бы?.. Конечно, мог бы, но теперь отмечен судьбой как мишень, нежеланный её ребёнок, раздражённый соблазнами. Вот теперь ты сменил отвагу на безразличие перед явными очертаниями смерти на горизонте.

Я только фантазёр, и пишу я, как могу и как хочу, насмотревшись фильмов и прочитав немного книг. Но дед мой был там, и он сейчас живой. О временах тех самых думать и вспоминать ему охоты нет никакой. Поток войны застыл в нём навсегда. Тяжело ему снова вспоминать глаза товарищей, которых он пережил в 45-м.

От Ельца до Кёнигсберга

— Расскажи дед, о войне...

— В 1941 году, когда мне было 17 лет, меня забрали в ополчение — искусству военному обучать. В 1942 году, когда меня зачислили в 771-й пехотный стрелковый полк, Красная Армия откинула выдохшихся фашистов от Москвы, задав им хорошую трёпку. Припоминаю, как ставил вместе со всеми «ежей». Простая, но очень удачная задумка одного инженера для сдерживания танков. Недра

земли в умелых руках не только заставят машину двигаться быстрее, но и наглухо остановиться, и металлический ёж — тому хороший пример.

Итак, теперь, когда немец был откинут от столицы, путь нашего полка в составе 2-го Белорусского фронта пролегал от московских земель прямо на отпрянувшую немецкую свинью до самого её логова. Тогда каждый, кто знал, где закончится путь, считал, что это место и будет последней адовой спиралью «Божественной комедии» Данте, где не останется никого из тех, кто начал путь. Гитлеровцы стягивали резервы, встречали подкрепления своих смертоносных танков, пока наши под открытым небом на тракторном заводе собирали новые «тридцатьчетвёрки».

Твоего деда, совсем юного, записали в разведывательную роту. Внезапная атака с пленением «языка» — излюбленный приём фрицев. Мы, как в стихах Н. Асеева, «сами литься лавою учились у врага». До 1943 года я не попадал в передраги в боях под Курском. Меня, как молодого и необстрелянного, старшие товарищи по-отцовски не допускали до серьёзных стычек. Самым грозным рубежом для меня был Брянск. Там стоял крупный резерв врага для сдерживания нашего наступления и начала нового контрнаступления, идеей которого был одержим Гитлер. Группа из примерно ста бойцов с моим участием выдвинулась к позициям врага, чтобы взять живём офицера для допроса. Линия фронта под Брянском проходила по открытым местам, и кругом стояли часовые. Подойти незаметно, даже ночью, не представлялось возможным, потому как нас ждали и высматривали неотрывно. К самым сумеркам мы заметили место для манёвра и выдвинулись глубокой ночью по-пластунски — на расстоянии выстрела трёхлинейки от траншеи неприятеля, когда нас заметил патруль. Тринадцать отчаянных солдат под шквальным беспорядочным огнём выдвинулись прямо внутрь укреплений, откуда мы их так не дождалось и вынуждены были отступить. Необстрелянного молодого Николая Фёдоровича к немецким окопам не приглашали, и я не знаю, как они погибли, доводы и подробности здесь ни к чему. Ни один из них не вернулся, а остальные, включая меня, еле унесли ноги. Русская рулетка на этом не остановила барабан. Приказ не выполнен, на следующую ночь всё по-новой. В этот раз «языка» взяли...

— Дед, как же подошли во второй раз?

— Подойти было очень тяжело! Ночью, только ночью. За «языком» пошёл весь полк, и они нас снова ждали. Патрулей было втрое больше, но мы даже не прятались, пошли в лоб. Захватили и отсекли участок траншеи по границам ближайших дотов, я с отрядом остался поодаль от атакованного участка прикрывать от удара сзади или с фланга. Примерно через 30 минут после начала атаки поступила команда на отход, а через два часа, когда посветлело, мы всем полком пешком уже направлялись к своим. Один из наших горько плакал; его друг не шёл с нами. Потеряли людей, славных солдат. Не смогли забрать тела убитых. Как горько и мрачно принимать смерти их как данность, как порядок вещей. Слово «потери» невозможно было выговорить. Не потери, а души, живые, будто с нами ещё, вот они — идут рядом. Зато молодой офицер СС шёл сам вполне твёрдой походкой, грязный, с окровавленной головой. Глаза его, полные уныния и безразличия, были устремлены вниз, через забрызганные круглые окуляры, алая свежая кровь растекалась по всему лицу, но он явно не думал о комфорте в тот момент. Его оберегали от ранней расправы несколько солдат, так как ненависть близких убитым людям брала над ними верх. Но фриц никак не реагировал на попытки покуситься на его жизнь. О чём может думать германский офицер, находясь в подобном положении. Кто он теперь и зачем всё это ему? Как он теперь судил о главенстве германской нации после удара прикладом ППШ по его превосходной арийской голове? Вели его под конвоем до командующего армией пешком, и я увидел его вблизи ещё один раз. Его уже не пытались ударить и не издевались над ним, однако я заметил, что глаза его повлажнели, он по-прежнему напряжённо смотрел вниз. Может, он жалел тех невинных, беззащитных людей, которых сжёт по пути в чужую столицу? А может, вспоминал маму свою, когда она радовалась высокому красивому сыну в военной униформе? Понимал ли он теперь, что его столько лет растили, питали, любили не для этого самого дня? Знал ли, что не умрёт теперь воином? Осознавал ли, что он вообще не воин, а варвар, вандал и захватчик, зверь? Какой штамп на себе ставил? Трус, предатель, мертвец, груда мяса, ещё тёплого и дрожащего, без имени и цели. Его грохнут, стоящего на коленях, в панике предсмертной орущего остервенело и жалобно. А может, он всерьёз смирился, простился со всеми предками и молча примет внутрь свинцовые таблетки от жизни...

— Дедушка, а ты часто думал о смерти?

— Я сжился со смертью с момента приказа о наступлении, когда меня зачислили в стрелки. Это неправда, что на передовой все с глубокой тяжестью в сердце, с непомерным страхом томятся и ожидают скорейшей кончины. Кто-то по кругу думает: ещё бы поест раз, ещё бы подышать, ещё бы хоть раз жену обнять. А кто-то нет...

— О чём же ты, дед, думал на передовой?

— О маме с папой. О сёстрах, у меня их пятеро. Писал им письма. Отцовские указы из головы ни на секунду не выпускал. Он, будучи участником Первой мировой войны, прошедший пешком от родного дома до австрийского плена и обратно в пехоте царской армии фельдшером, передал мне ценнейший опыт. Я ни разу не температурил за всё время войны. Каждый день растирал ноги снегом, чтобы не прели, и никогда не носил солдатские сапоги, только обмотки. Однажды при мне чуть не расстреляли солдата, который не мог от боли в ногах идти в атаку, и подобных случаев было много. На той войне только немец гиб от холода и слабости. В наших рядах не было ни миллиметра поблажки и ни доли секунды для торжества твоего тела. Каждая клетка тебя, как бессменный часовой в полной боевой готовности, и терпит самые тяжёлые лишения. Альтернатива — тебя быстрее грохнут свои. Ну, а коли до врага бежишь в самое пекло, вместе со всеми — не подставляйся. Крики «ура» и эйфория патриотизма на поле боя никому успеха не приносили. Наступать дружно надо, но с умом. Так отец мне говорил. Место надо искать неровное, с кочками, чтобы до самого вражьего горла украдкой ползти или короткими перебежками.

— Были среди вас вояки бывалые, с опытом?

— Конечно, были, но очень мало. В основном, необстрелянная молодёжь, сопляки. Та самая вылазка за «языком» под Брянском была последней для меня в составе разведывательной роты. Наши потери тогда были велики: 23 бойца обильно удобрили кровью землю брянскую. Мне повезло, как говорят, на этом свете, а что по этому поводу говорят на другом — мне никак не хотелось знать. Я упрямил командира перевести меня в обыкновенные стрелки. При наступлении на Брянск был ранен в кисть.

Госпиталь, в котором я пробыл около двух месяцев, находился в подмосковном Ельце, далеко от линии фронта. Помню, что мест спальных на всех не хватало. Солдаты с лёгким ранением, вроде меня, сдвигали кровати вместе и спали вповалку. Одеяд было мало. В первую ночь я заметил товарища, не нашедшего места для ночлега. Он чем-то вызвал неприязнь остальных солдат до моего появления здесь и одиноко прохаживался около кроватей. Разумеется, я поделился с ним своим одеялом, чему он был очень удивлён. Мужчина лет сорока на вид, имени его не помню, оказался очень общительным и жизнерадостным человеком. Тронутый моим равнодушием, он сразу завёл дружбу со мной и всячески старался мне чем-нибудь помочь. Он уже давненько находился на лечении и успел завести полезные связи на кухне, за что, вероятно, и был осуждён толпой. Он часто брал меня в деревню, куда его посылали за картошкой, потому как он обладал талантом менять «идею раненого героя» на разные продукты. Он часто рассказывал с гордостью о своём еврейском происхождении и очень сетовал на различные нападки из-за его национальной принадлежности. Начинал всегда с прибауток солдат из госпиталя и заканчивал идеями уничтожения Гитлера. Часто повторял, что Гитлер тоже начинал с анекдотов и прибауток. Глядя на его торгашеское мастерство и подвешенный язык, мне самому хотелось пошутить, но я не смел.

После возвращения из госпиталя на фронт меня записали в артиллерийский полк в составе миномётного расчёта. На том момент линия фронта сместилась к Белоруссии. Нас ждали измученные фашистским игмом жители Бобруйска и его окрестностей. Там твой дед получил первую награду — Орден Красной Звезды. Вот как это случилось. Наши форсировали Березину и укрепились там малым числом, но противник всерьёз взялся за них, и требовалась срочная поддержка артиллерии. Нужно было переправить миномёты к нашим позициям на другом берегу. Река обстреливалась гаубицами и одним пулемётным расчётом, что не оставляло шансов для переправы остальных наших войсковых соединений. Необходимо было прогнать немца от берега в месте прорыва обороны нашими войсками и прикрыть переправу остальных частей. На задание отправился наш отряд из шести человек. Мы закрепили миномёты и заряды на лошадях и ночью начали переправу. Гаубицы били постоянно, и под пулемётным шквалом, как на ладони, мы гибли один за другим. Я ничего перед собой не видел и не понимал вообще, что происходит вокруг, кроме того, что по нам сплошными очередями бьют немцы. Думал только о том, чтобы не отцепиться от лошади. На берег вышел

только я с одной лошадейю и одним миномётом. «Ангелы донесли», — такой фразой встретил меня один из солдат. Они наблюдали с берега, как нас нещадно расстреливали, и до сих пор не понимали, как я переправился. Я осмотрелся вокруг: «Где остальные? Нас должно быть шесть человек!» Солдат сдвинул брови, глядя в сторону водной глади, и тихо сказал: «Вечная память вам, братья, а мы постараемся, чтобы о вас было кому помнить»...

На этом дедушка закончил этот эпизод.

Вот наградной лист, написанный по диктовку командира батальона:

Дед в своих рассказах никогда не говорил об уничтожении противника. Сетовал на меня за то, что допрос ему устраиваю, и часто повторял: «Мог бы тебе рассказывать много и красиво, но зачем?» Материалы наградных листов, которые опубликованы на сайте [podvignarodov](http://podvignarodov.com), позволили мне глазами командира увидеть всё то, что произошло там.

— Бобруйчане, потерявшие свои дома, кто-то родню, избитые и истерзанные, не имевшие в большинстве своём ничего, кроме жизни, радовались, как дети. Город и деревня вздохнули и зажглись жизнью прямо на глазах. Никто из них не верил, что такое возможно, и так быстро.

Впереди нас ждал Минск. Я старался не думать о том, скольким смертям суждено случиться. Мы встречали ещё более ожесточённое сопротивление. Линия фронта с трудом прослеживалась из-за локальных прорывов, окружений. Ходили слухи о том, что командующий 2-м Белорусским фронтом, генерал Рокоссовский на встрече с Жуковым убедил его не наступать в открытую, а действовать хитрее: выманивать противника на себя, обманывать, раздёргивать, заставлять тратить снаряды впустую, организовывать «котлы» и контратаки. В лесу успешно действовали партизанские отряды. Всё получалось, но и немцы не растеряли мастерство. Наш батальон несколько раз отрезали от основных соединений. Приходилось сутками голодать и не спать. Однажды, находясь на позиции отрядом из трёх миномётных расчётов, мы заметили на горизонте группу фрицев. Они вышли из просеки и шли прямо на нас! Издалека казалось, что их около роты, с ними бронемашины. Командир расчёта, подвыпивший в тот вечер, быстро принял решение, и прозвучала команда: «В атаку!» На один миг всё замерло, в глазах каждого недоумение, ведь нас всего тринадцать человек и у нас есть миномёты. Никто не собирался умирать вот так. Смертоносная цепь стремительно приближалась, и уже легко различалась рота серых автоматчиков и две бронемашины. Командира быстро усмирили, и первое орудие заговорило. Снаряд попал прямо в них, за ним второй — с фланга. Они залегли, и расстояние не позволяло им нас расстреливать. На отрытой местности минами с трёх орудий мы обратили их в бегство.

— Как командир отреагировал на ваши действия?

— Командир благодарил нас на следующий день, и извинялся.

На подступах к Минску всё вокруг ополчилось против гитлеровцев, и этим всем была Красная Армия. Они планировали за две недели захватить наши города, но теперь русские не давали им ни одной секунды, чтобы убраться восвояси. Словно вирус в организме, идущем на поправку, немцы были обречены на уничтожение. Русского человека ещё ни одна зараза не извела...

Трудно было деду вспоминать освобождение польской деревни.

— Когда немцы отступили, благодарные местные жители приглашали советских солдат в свои дома, устраивали обильные застолья и предлагали ночлег. Меня с товарищами тоже звали очень настойчиво. В очередной раз вспомнил отца. Нельзя расслабляться на войне ни на секунду, не то что на целую ночь...

— Дедушка, ты не пошёл?

— Я-то пошёл. Поел, попил, но от ночлега отказался, так как в своём лагере спокойнее ночевать. Наутро в пустой от людей и вчерашнего радушия польской хате нашли сержанта в постели, зарезанного. Я сам не видел и не участвовал, но узнал от других, что виновников нашли друзья убитого сержанта и жестоко отомстили. Поднялся шум, даже вызвали комиссара. Однако тот, выяснив обстоятельства у командиров взводов, принял решение не проводить расследование.

— Дедушка, тобой овладевала злость, жажда отомстить?

— Ненависти не было. Я знал, что выпускаю снаряды по людям, пребывание которых в здравии означает для меня и для моих товарищей только смерть. Я старался не думать о своей вероятной кончине, но страшными муками давались мне и моим сослуживцам смерти тех, кого только что видел живым и полным сил рядом с нами, таких же служивых, как и мы. Смотрели друг другу в глаза и не могли наглядеться, зная, что завтра можно больше не увидеться. Мы изо всех сил старались не думать о плохом, жили здесь и сейчас, радовались мелочам. Лишь иногда шальная мысль пронзала душу. Шальные пули, шальные мысли о смерти — не мог понять, что из этого хуже.

На подступах к Кёнигсбергу я должен был перестать дышать вместе с бойцами моего миномётного расчёта, но смерть обошла меня, оставив ещё один Орден Красной Звезды. Во время взаимного артобстрела командир, ссылаясь на мой опыт, приобретённый в разведывательной роте, отправил меня на лесную просеку, отделяющую нас от неприятеля для наведения орудий по радиостанции. За двести метров позиции немца с дерева хорошо видны, но я не знал и не думал, что своих друзей я больше никогда не увижу. Конец войны приближался, все это понимали, и каждый верил, что вот-вот немцы капитулируют и, наконец, поедem домой. Мы часто говорили о том, как хотим жить и чем заниматься после войны, с отрадой думая о мирной жизни, которая скоро наступит. Чаще слышалась гармонь в лагере, среди окопов, снабжение не задерживало с едой и не скупилось. Немец встречался всё реже и сопротивлялся слабее. На фоне того, что было раньше, ощущался крутой перелом по всем фронтам. Всё это, несомненно, наполняло каждого оптимизмом и верой в завтрашний день. Накануне проклятого артобстрела мы с друзьями веселились, шутили, вели светские беседы.

Когда бой снарядов затих, и пехота наша двинулась к вражьиm окопам, где, как мне показалось, уже никого не было, я быстро слез и направился к своей позиции. Началась стрельба из автоматов в стороне вражеских траншей, и их артиллерия заговорила вновь. Я увидел своё миномётное гнездо издали и не верил, что так может быть! Я спешил туда, чтобы обнаружить своих друзей в здравии. В такие моменты не хотелось осознавать, что я живой. Никому не под силу понять и передать то, что там происходило. В один миг ты вырван, выволочен, опустошён до основания. В голове нет мыслей, и всё вокруг одномерно и пусто, всё одинаково и безразлично. Ты будто бы в аду, где наступила полная контузия всех твоих чувств, где одна только пустота, нет даже боли. Я не ощущал, что иду, ноги самостоятельно по привычке перемещали тело. Интуитивно дошёл до своего расчёта где споткнулся о что-то твёрдое, о моего друга Ваню. Они все были мертвы, все ребята из моего расчёта. Теперь я ясно осознавал это, растянувшись возле Вани и вдыхая судорожно смрад его обугленного тела. Меня разбудила от анабиоза боль ударом невероятной силы, и слёзы из глаз, как искры. Снаряды рвутся и падают где-то рядом. Вокруг есть живые, и нужно воевать. Нужно жить дальше. Не знаю, как, но нужно...

Вот что написал командир в наградном листе:

— «Родина, я умираю, но не сдаюсь» — слова, высеченные на камне самой жизнью, которая всегда будет побеждать смерть. Мы побеждали потому, что мы — есть жизнь, а они — умерли сами и несли смерть нам. Если бы фашисты осознали значение хоть одной из книг, которую сожгла их пропаганда, не осмелились бы напасть! Дай волю гордыне, и она завяжет тебе глаза, вручит топор, выльет на тебя море крови, а потом отсечёт твою голову. Так случилось с вермахтом.

Кёнигсберг взят. Первый крупный город, и у многих наших ненависть затмила разум. Угнетённые некогда люди становятся во много раз хладнокровнее по отношению к былым угнетателям, когда для последних наступает час расплаты. Я слышал о случаях вопиющего насилия и вандализма со стороны советских солдат, но всё жёстко пресекалось. Капитуляцию города принимали на Куршской косе, где меня назначили ответственным за пленение и конвой. Нас предостерегли: многие офицеры СС сознавали свою горькую участь и предпочитали умереть в бою, унеся с собой как можно больше жизней, и потому устраивали ловушки. Со страхом я думал о том, как досадно будет умереть накануне конца войны. Я за рулём американского «виллиса» с товарищем, младшим по званию, ехали впереди. Пехота на «зисах» сзади. Когда мы приехали, они стояли все до единого на улице и без оружия. Я вышел из машины. Увиденное меня впечатлило. Все, как на подбор, высокие, холёные, с иголки. Стояли хаотично. Мы осмотрели их на наличие какого-либо оружия и ничего не нашли. Вели фрицы себя послушно, в глаза старались не смотреть, и потому трудно

было понять, что у них на уме. Их главный отстрочил доклад на родном языке младшему сержанту, который стоял и обмерял его глазами с ног до головы. Никто из нас не знал немецкого языка, мы смеялись с другими солдатами и подшучивали, созерцая их невозмутимый и серьёзный вид. Они запросто могли бы расстрелять наш конвой, устроить засаду, но теперь — всё кончено, пришёл конец смертям и стрельбе. В моей голове эта мысль никак не укладывалась. Пленные выстроились, и их старший подал знак готовности к пешему переходу. Я не спешил, зная, что такого больше никогда не увижу: настолько безупречна и точна их наружность — от подбитых каблуков до козырька фуражки. Они будто с особым тщанием готовились к этому дню: репетировали выправку, подшивали и выглаживали униформу, сходили к парикмахеру. Один из них всё же удостоил меня взглядом сверху вниз и, поняв моё удивление и восхищение, поднял подбородок ещё выше, и глаза его заблестели важностью: «Да, мол, мы такие». В иной ситуации я бы подумал, что они актёры. Их лица были необыкновенно белы, словно напудрены. Мне вспомнилось, как под Бобруйском командир учил меня ездить на трофейном немецком «Мерседесе». Я в автомобиле вовсе никогда не сидел, и новенький прекраснейший «Мерседес» на два часа заглушил мысли о войне и наполнил меня гордостью и молодецким щегольством. И вот сейчас мне даже хотелось похвалить их автопром и пожурить, за то, что на таких машинах нужно ездить к своим прекрасным дамам, а не в чужие края с оружием в руках.

Через четыре дня после случившегося из радиоприёмников по всей стране донеслась заветный голос Левитана. Все выбегали на улицу и неистово обнимали друг друга. От шума, крика и выстрелов вверх не слышно было собственного голоса. Такого восторга не увидеть ни на одном представлении. Обстановка вокруг напоминала взрыв — последний на той войне взрыв радости. Кругом слышались трели последних выстрелов — выстрелов в небо, теперь уже мирное небо над головой.

Но не успели отгреметь фанфары, как пришло новое страшное известие о предстоящей нашему взводу и мне высадке у границ Японии. Меня словно вернули в центр лабиринта, из которого я только что чудом выбрался. Помню, как один из наших принёс ящик одеколona из-за того, что альтернативы не было или из-за готовности отравиться, лишь бы не ехать опять на войну. Слов ни у кого не было, все молча пили одеколон. Однако на следующий день льды Антарктиды растаяли, приказ о нашей переброске был отменён. Допили оставшийся напиток за здоровье завхозов, пожалевших керосина на дальний перелёт, и, конечно, сочувствовали тем миномётчикам, кто оказался ближе к Владивостоку. Для взвода наступил второй день окончания войны и новый праздник, который мы поклялись отмечать каждый год вместе.

Для меня всё происходило как в сказке, где я долго шёл по краю обрыва и каждую секунду готовился скользнуть вниз, но вот сейчас огромная птица Рок из рассказов о Синдбаде-мореходе подхватила меня и понесла прямо в родной дом, на мою Родину — в СССР, в город Сумы, в деревню Кривоносовку. Командир отпустил меня на побывку и учтиво выдал мне пистолет системы «ГТ» со словами: «С помощью только перекладных домой не доедешь, Николай Фёдорович». Пистолет пригодился, когда в товарняке ко мне подошёл рослый мужик лет сорока в кителе без погон и настойчиво потребовал подвинуться. Я вёз много вещей, съестных припасов и трофеи слишком приметные, чтобы ко мне просто так кто-то подсел. Я в резкой форме отказал ему; тогда он приблизился ко мне, и я был вынужден достать пистолет. «Ещё один шаг, и я пристрелю тебя!» Он осёкся и на мгновение остолбенел. Я был готов к худшему — к появлению вооружённых сообщников, но на мою удачу он действовал один и перед скорым уходом рассказал мне о своём намерении скинуть меня с поезда: «Уж больно мне твои тюки приглянулись...»

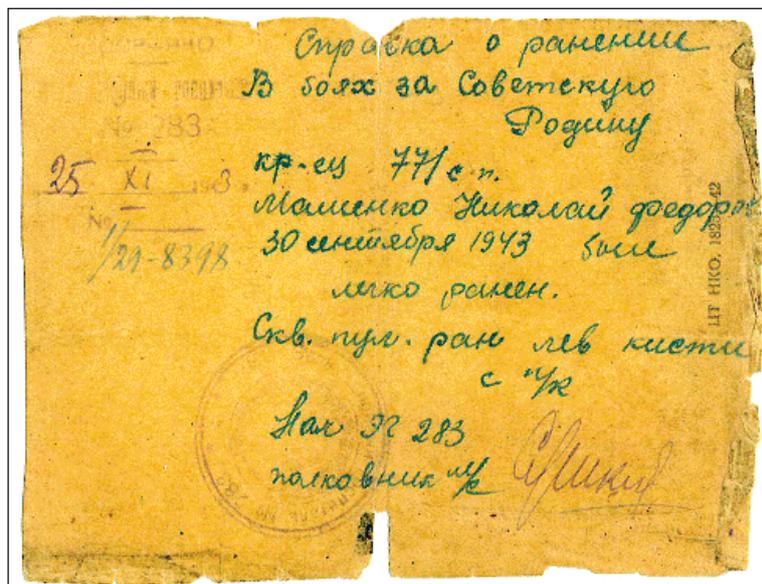
По возвращении назад, в Восточную Пруссию, я получил должность коменданта нового русского города Краснознаменска. Вскоре всех немцев выдворили из их родных мест, и я демобилизовался. Затем устроился на работу и женился на твоей бабушке, прекрасной Зое Кирилловне.

— Скажи, дед, каково было жить после войны после стольких лет выстрелов, смертей?..

— Тяжело было, и сейчас тяжело вспоминать обо всём. Однако знал и знаю, что остаться в живых после такой войны — это большая удача. Мы все знали, что это не просто война, мы знали для чего пришли немцы — истребить нас как нацию. Таких войн история не знала. Жечь людей целыми деревнями, предавать безумным мукам в концлагерях, делать из людей мыло — разве это можно назвать войной? Германцы превосходили нас вооружением, численностью боевых единиц техники, имели репутацию непобедимой армии во всей Европе, сильных союзников (Румынию, Италию,



Николай Фёдорович Маменко, 1924 года рождения



27.6.44 года в бою за деревню Михалево, Бобруйского района, Могилевской области товарищ МАМЕНКО в связи с отсутствием командира взвода командуя взводом показал себя смелым и решительным. Быстро установив наименее уязвимое место он используя подручный материал успешно форсировал реку Ола и зацепившись за западный берег установил свои минометы, огнем которых обеспечил переправу остальным подразделениям и продвижение вперед, при этом были уничтожены 2 огневые точки и до 30-ти немцев.

29-30.6.44 года в бою за город Бобруйск товарищ МАМЕНКО также быстро форсировал реку Березина и ворвавшись на окраину города показал умение и сноровку подавлять огневые точки противника, расположенные в отдельных домах города. Когда противник предпринял контратаку, с целью вырваться из окружений, товарищ МАМЕНКО отчаянно мужественно удерживал занимаемый рубеж ни на шаг не отступив от него.

31.1.45 года в бою за деревню Фростенау, 6 км вост. города Мольхаузен, Восточная Пруссия тов. МАМЕНКО умело командуя расчетом обеспечил сильный интенсивный огонь, в результате которого подавил расчет станкового пулемета и истребил до отделения вражеской пехоты. Противник засек место расположения миномета, но тов. Маменко невзирая на сильный обстрел быстро сменил огневую позицию и установив миномет продолжал разить противника, при этом было рассеяно и частично уничтожено до взвода вражеской пехоты.

Японию), множество ресурсов в остальных захваченных странах Европы. Холодный серый танк, не ведающий ничего кроме месива людей и их жилищ под своими гусеницами, надвигался теперь и на нас, на наших матерей, жён и детей. И это страшно. Километры отделяли зверя от нашей столицы, последнего оплота России. Я был совсем мальчишкой тогда, и ужас войны начинался для меня с израненных солдат с передовой под Химками. На фронт не возвращались только те, кто не мог вообще встать. Я запомнил глаза одного изувеченного лейтенанта. Он не стонал от боли и никого не просил помочь, а лишь переживал о том, как бы ему скорее вернуться на передовую к своим товарищам. Я тогда подумал, что он, даже будучи убитым, превратится в снежную бурю на пути врага!

Я не верил, что смогу живым выбраться из этой мясорубки, я чувствовал себя часто на волосок от гибели. А когда всё осталось позади, я обрёл необычайное ощущение жизни. Ведь я не просто остался жив, я вышел из боёв невредимый, целый. Первый раз меня такая мысль посетила во время пешего перехода где-то под Кёнигсбергом, когда немцы совсем испускали дух и уже не контратаковали совсем. В двадцати метрах от меня раздался взрыв, один из бойцов моего отделения наступил на противопехотную мину. Я первый оказался возле него, наклонился к нему — он лежал с открытыми глазами и часто дышал. Я его спросил что-то, чтобы оценить состояние, а он схватил меня обеими руками и дрожащим от радости голосом произнёс: «Ну, вот и всё, Николай, я отвоевался, теперь домой!» — и тут же потерял сознание. Я немедленно разорвал на себе рубаху и перевязал его изувеченную ногу. Он воспринял потерю своей ноги как везение, как ничтожную плату за пропуск домой. Когда всё закончилось, я часто вспоминал этот случай, его полные радости, бегающие глаза, громкий торжественный голос. Признаюсь, я смаковал мысль о том, что стою на обеих ногах и могу отжиматься на двух руках. На войне быстро осознаёшь брэнность и бессмысленность среди того, что действительно ценно.

Понять, почему война и зачем, нельзя. Она — часть каждого из нас, она лишена логики и здравого смысла. Война это — дилемма. В жизни одного человека есть две полосы — чёрная и белая. В жизни целого мира людей есть ещё и третья — алая, залитая кровью. Это явление, от которого нельзя избавиться, его можно пережить или не пережить. Вот я пережил, и как же я теперь могу истязать себя. Я рад тому, что попал в число тех, кто должен был остаться, и всем своим нутром я желаю не оказаться никому перед распутием между своей смертью и смертью того, кто целится в тебя...

На дворе 2015 год, и моему дедушке 91 год. Каждый день он занимается спортом на стадионе «Спартак» или дома, по выходным играет в теннис со своим сыном, моим отцом. Он и есть воплощение жизни, которую не остановить никому. Мой дед, как никто, заразил меня жизнью. Я принял от него эстафетный флаг, связь поколений состоялась, и я продолжу борьбу. Война не закончилась, враг не спит, и смерть крутит своё колесо, набирая обороты: алкоголь, табак, наркотики, разврат... Я смотрю в глаза друзей своих и не могу насмотреться. Что же вы делаете? Рядом рвутся снаряды, и тех, кто погиб уже не вернуть...



Молодые берега

*Победители регионального литературного конкурса имени А.Т. Твардовского
«За далью — даль»*

Саша Зайцева

Саша Зайцева — участник литературных объединений «Белый мамонт» (Новосибирск) и «ЛитЧе» (Санкт-Петербург). Публиковалась в сборниках «Среда обитания» (Новосибирск, 2012), «Хищные радости» (Санкт-Петербург, 2012), газете «Поэтоград» (№ 37, 2014). Серебряный призёр Международного фестиваля русской поэзии и культуры «Арфа Давида» (Израиль, 2013), участник Литературного фестиваля «Белое пятно» (Новосибирск, 2012). Победитель конкурса имени Ольги Бешенковской (Германия, 2015), бронзовый призёр конкурса имени А.Т. Твардовского «За далью — даль» (г. Черняховск Калининградской области, 2015).

Проводит поэтические акции и выступает с моноспектаклями, в которых используется видеоарт и музыка. Расклеивает стихи на досках объявлений (акции проводились в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Омске, Томске, Барнауле, Красноярске и Иркутске).

Рыба

Кругом одно горе, и мы
в нём — как рыбы в воде...

М. Павич

И глянет небо драконьим жёлто-зелёным взором,
Письма взметнутся птицами, не отосланными ко мне.
И вспомнится человежье: что кругом — одно горе
и мы в нём — как рыбы в воде.

Вода уходящая обнажает спину берега.
Сядь на песок, и поедем на этом драконе в небо.
Но сладко пахнет несказанными ещё бедами
парус твой, тяжёлый от ветра и света.
Я знаю, что будет, и я начинаю медленно
считать до ста и камушки в ладони грею.
Вода отступает, густая, тяжёлая, медная,
и знаю я, что досчитать не успею.
Мы были друзьями, но ты уже снасти ладишь,
а мой дракон расправляет песчаные крылья.
Мы стали чужими.
И я говорю тебе: «Ладно...»
и отпускаю руку твою.
Бьётся рыба под килем.
Я знаю, что будет, а будет большое молчанье,
оно будет сниться тебе, как странное звёздное море,
как ржавая связка с потерянными ключами,
как неизбывное, ласковое, необъяснимое горе.
А я нырну глубоко и буду считать до счастья.
Нет таких слов, чтобы хранить тебя вечно.
Водою морскою пахнут тюбики с краской.
Высушит ветер время. Треснет закатом вечер.
И я отращу себе жабры и буду глядеть на солнце
за синим густым раствором веками хранимой соли,
ты остаёшься со мной, даже когда не вернёшься —
тысячу лет спустя мы встретимся в этом море.

* * *

Вечность свернётся ракушкой,
и уснёт перламутровым сном.
И если выйти на улицу,
будет Париж.

И — слышишь,
как с этих красивых мансард и крыш
сходит на город
сливовый вечерний
тон?
Дышит летний пряный аккордеон.
Слышишь, спичка вспыхивает,
трепещет, манит,
и выходит выпить двойной бурбон
кто-то, чрезвычайно похожий
на Модильяни?
Знаешь, как черно кружево листвы
на самом кончике дня,
на светлом атласе
в ночь глядящего неба,
помнишь, как эти мостовые горьки,
видишь, как ощупью я изучаю
шершавые стены,
и голубям подаю

крошки
белого хлеба?
Сладость моя – рук твоих не коснуться,
несказанность главного,
неразрешённость объятий и тем,
и странное, нервное счастье это –
знать, что та, похожая на Эбютерн,
вышла за кофе,
и они не разминутся.

* * *

Плитки шоколадные дюссельдорфских крыш
солнце оближет так, что станет завидно.
На углу Хоффельдштрассе кофе на вынос беру
и дениш
с таким восхитительным кремом и тёплым
повидлом.
Отсюда недалеко есть чудесный парк,
в котором скамейки пахнут спелым летом.
Моё утро сегодня будет устроено так,
что ничего не будет важнее, чем это.

Чем этот кофе и мой размеренный шаг,
и юбки длинной полы в пыли сладчайшей,
ванильный ветер из булочной и «Гутен таг!»
какого-то господина и поворот ближайший
на узкую улицу, где с шоколадных крыш
падает солнце в дырки резные клёнов.
Завёрнут бережно в бумагу свежайший дениш,
ответственным булочником испечённый.
И знаю я, что он – настоящий герой,
встающий в четыре ради сдобного теста,
любовь его без лукавства и суеты пустой,
жизнь без трёхстраничного манифеста.

И в этом мне открылся трепет всех высших правд –
и с губ облизывая тончайшую сладость сливок,
я знаю, что жизнь моя стоила того, чтоб так
встречать однажды утро,
и этот обрывок
дней моих хранится в божьем столе,
в левом ящике, среди открыток и фото,
как память, что люди бывают счастливы на земле,
и, значит, удачной, пожалуй, была Его суббота.



Молодые берега

Олег Максименко

Олег Максименко родился в 1964 году в Балаково Саратовской области, окончил Киевский Политехнический институт. Работал технологом участка эпитаксии (ПО «Кристалл», Киев), на различных предприятиях в разных должностях, включая директорские. Писать прозу и поэзию начал несколько лет назад. Публикации в нескольких сборниках клуба «Киев ПОЭТажный», в «Литературном Крыме». Постоянный член оргкомитета и жюри международного фестиваля «Интерреальность». Состоит членом Конгресса литераторов Украины.

Обратная сторона зеркал

Круг абажура вычертил из бездны
Бликующую глянцевоcть стола
И череду попыток бесполезных
Упасть в безмерность чёрную ствола.
Лишь свет и мрак. Лишь тени и границы.
Нет прошлого. Грядущего. И так
Безмолвно вещи смотрят в наши лица,
И рассмотреть не могут их никак.
Самих себя не видим мы. Зеркала
Тускнеют скорбно сутью бытия.
В них умерла агония накала
Страстей, уставших жить. И я,
Смирившись с шелушеньем амальгамы,
Сравнимой лишь с коррозией души,
Молчу. И слушаю те гаммы,
Которые, как птицам хлеб, крошит
Безмолвие нирваны...

Наверно, неспроста
Чернилом кровоточат раны
На знаковую девственность листа...

* * *

Если я не вернусь со своим рюкзаком,
Где тетрадка стихов отдаёт табаком,
И от пули останется дырка,
Не спешите презрительно фыркать,
Говоря всем: поэт этот мне не знаком,
А стихи — не ценнее обмылка.

Мы и вправду знакомы, пожалуй, едва,
Только раз с этих пор облетела листва.
Помню: в вальсе так долго кружится,
Тонких уст не касаясь, снежинка.
Цвета тёплой корицы Ваш взгляд меня звал.
Может, зря промолчал, не решился...

Безответность любви я ношу с этих пор
Протоколом стихов потаённо, как вор,
В той, походного быта, тетрадке..
И готов убежать без оглядки,
Карих глаз избегая презренья укор.
Чёт и нечет — со смертью в прятки.

Может, вечность спустя, за Вселенским углом,
Где Чужая Туманность парит молоком,
Воскрешая молитвы сугубо,
На тропинках сансарного круга,
Я потрусь Вам о ноги бродячим котом.
Только мы не узнаем друг друга...

* * *

Я из Храма поэзии нынче гоним.
Потому захотелось — уютной прозы.
Вот и осень. Бродячий мим
Полустёртой монеткой в один denim
Оживает, сменяя смешные позы.

Я оглох от беззвучья чужих пантомим.
Я забрёл в переулочек. Его покатым
Тротуар чешуе сродни —
Весь в булыжной кольчуге, тщете возни
Палых листьев, шуршащих в кагор заката.

Въезд каретный, в свою зазывающий пасть.
В нём котяра — мечтательный ярко-рыжий,
Чей окрас с увяданьем в масть.
Тот матёрый котище, стремясь упасть
Прямо в дзэн, мандариновый хвост свой лижет.

В воплощенье девятом хочу быть котом -
Он, похоже, философ не из последних.
И в округе своей знаком
Мушкетёрской повадкой и верой в то,
Что любовь — не просто лекарство от тлена.

Мне пора. Может, где-то в случайном кафе,
В нарочито гламурном, уютном глянце,
Ждёт в нелепом, смешном кашне
Судьбоносная строчка в моей строфе,
Согревая озябшие, в кольцах, пальцы...

Блюз одиночек

Вуалью снега набухает вечер,
Неприхотливо колдовство творя.
Кариатиды зябнут мраморные плечи.
Тушется луна на ватмане двора.
Гризайль зимы. Начало декабря.

Я в музыке дыханье Ваше слышу.
Совой полярной Ваш аккорд летит.
Снежинки Ваших слов отбеливают крышу
И ретушируют под мрамор и гранит
Привычные кубы бетонных плит.

А где-то рядом, на другой планете,
Ваш рыжий кот, с зимою не знаком,
Самим собой сугробы бестолково метит,
Ловя хрусталь снежинок тёплым языком.
Вы забавляете его снежком.

Я согреваюсь послевкусьем блюза
От птичьих иероглифов в снегу.
В душе смирились с неизбежностью конфуза,
Ваш номер робко набираю. Убегут
Слова в никчёмный флуд. Но пять минут

Мы будем вместе. Я себя ловлю
На невозможности сказать «Я Вас люблю!».

Крымский эскиз

Отраженье луны чуть колышет в стакане
Недопитый до дна терпкий крымский кагор.
Пьяный бриз притащил как овцу на аркане
Запах туи, полыни, лаванды. Как вор,
Отрешённо, смущённо, мохнатою лапой
Незаметно добавил аптечный шалфей.
Их разбавил Melissa и росною мятой,
В мёд фиалок ночных окунул до бровей.
Битый час ты толкуешь про мелкие склоки
И про горечь забытых, прощённых обид.
А я вижу скуластость татарских пророков,
Конной лавы в степи слышу топот копыт.
В тишине, где инжир наливается соком,
Ты талдычишь опять, что без денег — беда.
А я вижу в оскале ордынцев наскоки,

Чья безумная похоть брала города.
Ты в обиде ушла — ах, прости, — эта лунность,
И в цикадной истоме ворчащий прибор...
Виноват лишь кагор и, пожалуй, безлюдность.
А, точнее, бездушье. Мы чужие с тобой.
Отраженье луны допиваю в стакане.
В нём осадок грехов — ибо грешен я есть.
Ятаганом кривым со шербинкой изъяна
Режет абрис луны кипарисная жесьть...

06.07.2013

Исповедь плюшевого мишки

Гляжу в дождливое окошко
Сквозь паутины сеть морщин.
Прошло полгода. Неотложка.
Сердечный приступ. Без причин.

На полке плюшевых игрушек
Скакал зайчонком блик витрин,
Когда со стайкою подружек
Зашла девчужка в магазин.

Тебя я выбрал за веснушки
И за весенний росчерк глаз,
За озорные завитушки,
Интригу зреющих проказ...

Я стал твоим любимым Мишкой
Для обнимашек, страшных Тайн.
Ты мне шептала про мальчишку
И про скамейку, где фонтан.

Увязли дни изюмом в булке.
Застыли годы сургучом.
Чердак. Коробка. В ней — шкатулка.
Прошло полвека? Нипочём!

Ты, плача, пришивала ушко
И пела песни детских лет,
И спать с собою на подушку
Взяла под старый тёплый плед.

В гризайль размытое окошко
И паутиной пыли сеть.
Сказали: приступ. Неотложка.
Мне в мир, где нет тебя, глазеть...

Зеркала аллюзий...

Я облаков коснулся бы руками
И разогнал бы тучи сердцем вещим,

Мы в этом мире бродим дураками,
Цена — не в меру — призрачные вещи.

Цветной гардины трепет в полночи
Чуть колыхнёт задумчивые свечи.
Пусть мне расскажет тот, кто непорочен,
Легко ль живётся в мире человечьем,

Где за чертой распахнутых балконов
Тьма набухает смыслом аллегорий.
Развоплотил бы город из бетона
Я в миражи придуманных историй...

Леди Осень

Вечер тихо касается крыши
И манит незатейливо в сад,
Где, привычной скамьёй обездвижив,
В тишину завернёт листопад.

Здесь раздумий плачу неустойку,
От сует свои страхи храня.

Скоро осень крикливою сойкой,
Словно жёлудь, утащит меня.

Чтоб в дупло глухоты запрятать,
Погрузить в забытье прошлых лет,
Где смеяться умел я и плакать,
И нести восхитительный бред.

Где был молод, горяч и неистов,
Словно бриг в парусах из зари,
Что прибиться в лазурную пристань
К Вам в объятья мечтал. Фонари

Чертят высверк росы в паутине.
Ритуальный свершая обряд,
Вновь неспешно плывут бригантинны
Дней, прошедших давно. Наугад

Я слова, словно чётки, мурыжу,
Чередую их ритм невпопад.
Но меня, тишиной обездвижив,
Ворожкой заметёт листопад...

Касыда о затерянном караване

Завтра пути продолженья не будет. Вытекла влага живительных буден.
Жизни ненужной затерянный бубен. Стонет песок.

Здесь и останемся битой посудой. Сдохшим в пути охромевшим верблюдом.
Стёртым из памяти бейтом пребудем. Стынет висок.

В бархате вышнего звёздами судеб вышита карта краёв, где мы будем.
Я отдаюсь беспристрастности судий. Долг мой высок.

Пусть наши души всевышний осудит. Пятые сутки воды нет в сосуде.
Кровью верблюжьёю выжили люди. В горле комок.

Мёртвую грудой останки верблюдов. Мой караванщик молил, как о чуде.
Меч милосердия вынес на блюде. Красный песок.

Серый песок. Им засыпаны кудри. Пышные гурии. Яства на блюде.
Рай правоверного скоро разбудит. Истины срок.

Плен миражей обещает не путать. Дервишем совесть спасается в мути,
Корчится в муках. Ведь кто я, по сути? Плоти кусок.

Как было знать, что молитва погубит? Вот и моё скоро горло разрубит
Верный клинок. Избавление будет. Кобры бросок.

Безбрежный русский мир

Шеньянские (Мукденские) берега

Игорь Смилевец



Игорь Смилевец родился в 1956 году. Окончил Энгельсское высшее зенитное ракетное командное училище, ВКА ПВО им. Жукова. Туризмом занимается с 1972 года. Участник сложных походов по Кавказу, Сибири, Памиру, Крайнему Северу. В группе Экспедиционного Центра «Арктика» — с 1992 года. Участник экстремальных экспедиций к Южному и Северному полюсам. Член Союза писателей России. Проживает в г. Энгельсе.

По местам былых сражений — через 100 лет

Идея написать продолжение книги «Записки полярного доктора» возникла сразу после её написания. А когда в Московском архиве были обнаружены неопубликованные записки Виктора Николаевича Катина-Ярцева о его участии в Русско-японской войне 1904—1905 гг., это подстегнуло меня к действию. Я стал изучать «боевой путь» воинских частей, в которых служил Виктор Николаевич. И вот именно тогда родилась идея побывать в тех местах и увидеть те реки, поля и высоты, которые видели русские солдаты той далёкой и многими сегодня «забытой» войны.

Для поездки нужны были средства и разрешения. Но когда есть сильное желание что-то совершить, то обязательно получится. А когда консул России в Китае пообещал мне всяческое содействие, я понял, что обратной дороги нет. И вот я уже в Москве. После встречи с генеральным директором Ассоциации путешественников В.Н. Лощицем, который оказал большую помощь в организации моей поездки, я прибыл в аэропорт «Шереметьево». Рейс «Москва-Пекин» выполняет авиакомпания «Air China». Теперь мой багаж, который я сдал, я увижу только в Шеньяне. Нас в самолёте встречают приветливые стюардессы, стройные и симпатичные.

Уже во время полёта удивляешься, что когда транслируется фильм в салоне, по многим телевизорам идёт информация в виде карты. На карте показано, где самолёт находится в это время, на какой высоте, и сколько времени осталось лететь. Уже при подлёте к Пекину транслируется на экран вид земной поверхности, где пролетаем, и при посадке — вид посадочной полосы впереди самолёта. И вот, наконец-то, после восьми часов полёта — Пекинский аэропорт. Он поражает приезжего в первый раз своими размерами. Он не просто большой, а просто огромный. Пекинский аэропорт — главный транспортный узел авиакомпании «Air China», которая обслуживает около 120-ти направлений. В день аэропорт обслуживает 1100 самолётов. В аэропорту перемещаются на мини-такси, автобусах и по небольшой железной дороге. Одна из особенностей Третьего терминала, куда я попал — это система доставки багажа. Система оборудована жёлтыми карами, каждый из которых имеет код, совпадающий со штрих-кодом на любой из вещей багажа, загруженной на данный карт. Это позволяет легко отслеживать перемещение багажа. Более 200 видеокамер установлены в багажном отделении терминала, чтобы отслеживать состояние дел. Эта система обработки багажа позволяет обслуживать до 19200 предметов в час. После того как багаж зарегистрирован в любом из 292 отделов терминала 3С, он может быть перемещён с большой скоростью. Даже на международных маршрутах багаж может быть доставлен с терминала в терминал за пять минут. Пассажиры с прибывших самолётов могут получить свой багаж уже через четыре минуты после приземления. В северном конце Третьего терминала высится диспетчерская башня высотой почти сто метров.

Крыша Третьего Терминала, напоминающая летящего дракона, красного цвета. В Китае считается, что этот цвет приносит удачу. Потолочное покрытие терминала имеет белые полосы — для

украшения и для указания направления. Под белыми полосами основной цвет потолка — оранжевый (светлого или тёмного тона), что даёт пассажиру возможность определить, где он находится. Тон потолка светло-оранжевый в центре и темнеет по мере ухода в сторону. В крыше Третьего Терминала имеется множество окон. Угол падения света через эти окна может быть настроен так, чтобы обеспечить оптимальное освещение. Внутри зоны ожидания создан сад. А от Терминала 3С до Терминала 3Е идёт туннель, украшенный растениями по обе стороны. Пассажиры могут наслаждаться им, пока едут между терминалами внутри мини-поезда. В терминале, где мне пришлось ждать рейса на Шеньян, более 250-ти эскалаторов, лифтов и движущихся дорожек. Если вам захочется поесть, то имеется специальная зона, которая называется «Мировая Кухня». Здесь находится множество ресторанов, предлагающих еду на самый разный вкус — от фаст-фуда до традиционной, от китайской до западной, от печёного до мороженого. В дополнение к еде и питью имеется торговая зона, а также бизнес-зона, где находятся банки, бизнес-центры, интернет-центры и другое. Здесь же можно найти банкоматы, пункты обмена валюты и даже автоматы по продаже телефонных SIM-карт. Выйдя из аэропорта, сразу видишь транспортный центр. Он может вместить до семи тысяч автомобилей на двухэтажной стоянке. Транспортный центр имеет три проезда для разных видов транспорта: автобусов, такси и частных автомобилей, что помогает «смягчить» поток автотранспорта. Транспортный центр также обслуживает линию электрички Airport Express из Пекина. Дорога на этой электричке из аэропорта до города занимает около 18-ти минут.

Через несколько часов пребывания в аэропорту мне удалось вылететь в Шеньян. Уже при выходе из аэропорта меня встречали и представители туристической компании, и представители консульства. Меня быстро довели до отеля, который располагался недалеко от Императорского дворца.

Шеньян — северо-восточная столица Китая, административный центр провинции Ляонин и пятый из крупных городов Поднебесной. Город расположен на равнине рек Ляохэ и Хуньхэ с удивительным пейзажем. Местность ровная, богата плодородными почвами и полезными ископаемыми. Будучи транспортным, торговым, научным и культурным центром северо-восточного Китая, Шеньян имеет развитую сеть железных и высокоскоростных автомобильных дорог, связывающих его с различными городами. При династии Цин Шеньян считался «второй столицей Китая». Под юрисдикцией Шеньяна находятся город, девять районов и три округа. Общая численность населения — 7 миллионов человек; из них 5,68 миллионов — городское население.

Вечером был приём у консула С.Н. Подберёзко, уже более 30-ти лет работающего в Китае. Во время беседы я рассказал о нашем городе, подарил журналы, открытки, фотографии и несколько видеофильмов об экспедициях на Север и в Антарктиду. В свою очередь, консул рассказал много интересного о Шеньяне и пообещал предоставить транспорт для поездок и всяческое содействие. В 6.00 27 марта, за час до отъезда, я почти бегом отправился в район Императорского дворца. Дворец — вторая (после Пекинской) сохранившаяся до наших дней резиденция китайских императоров. Основные её здания закладывались императором Нурхаци и закончены в 1630 году его сыном Хуан Тайцзи (1592—1643 гг.), который основал династию Цин. Дворец находится в центре старой части города, в районе Шеньхэ. Среди всех сохранившихся дворцов в Китае в плане исторической и культурной ценности он уступает только пекинскому Запретному городу. Размещение строений делится на восточное, центральное и западное направления. Архитектура восточного направления представлена стилем военно-политической системы; здесь смешаны характерные черты архитектуры династии Хань, маньчжуров, монголов (Большой политический зал, Павильон десяти императоров). Центральная часть была построена во времена правления Хуан Тайцзи, второго императора. С южных «больших чистых ворот» на север на одной линии симметрично и последовательно расположены: Зал политического переворота, Башня Феникса, Дворец ясного спокойствия. Рано утром город уже жил своей жизнью. Китайцы торопились на работу, развозили товар. Интересно было наблюдать за людьми преклонного возраста, делающими коллективно зарядку или играющими в игры, или просто танцующими под музыку.

Утром 27 марта в сопровождении работника консульства Доржи Ганжунова я на машине отправился на юг от Шеньяна, искать места боёв и памятные знаки войны 1904—1905 гг. Доржи рассказывал, что размах строительства в Китае таков, что буквально за год окружающий пейзаж может поменяться до неузнаваемости. Наконец наша машина выехала за пределы города. Остались позади

громады небоскрёбов из стекла и бетона, дорога стала типично «китайской», то есть облепленной с обеих сторон небольшими домами, магазинами, автомастерскими и рестораничками (скорее даже, закусочными) на первом этаже. По пути купили цветы. Дороги в Китае очень хорошие. Повсюду видно строительство и работа сельских жителей на полях.

Война прокатывалась через Шеньян (Мукден) дважды: в 1905 и 1945 годах. И каждый раз оставались могилы и памятники. Проехав по дороге более 40 километров, мы по мосту пересекли реку Шахэ, свернули в районе деревни Шахепу. Пошла глинистая грунтовая дорога. Видимо, в период дождей тут совсем трудно проехать. Солнце ярко светило, и вот на одном из холмов мы, наконец, увидели белый крест. Это была знаменитая «Путиловская» сопка.

Проехали ещё одну деревню. Дорога кончилась. На околице оставили машину и пошли пешком. Памятник всё ближе и ближе. У подножия холма — небольшая бетонная стела, в неё вмурована мраморная доска с китайскими иероглифами. Видна дата: «1985». Прошу Доржи перевести. Он долго водит пальцам по надписи, потом объясняет: «Здесь написано, чтобы местные крестьяне холм не распахивали и крест не трогали».

Ну что ж, спасибо уездному комитету! Не позаботься он, может быть, и не стоял бы уже этот памятник, да и холм трудолюбивые китайские крестьяне давно бы распахали. Всё вокруг обработано их руками.

Наконец, мы на вершине сопки. Памятник представляет собой православный крест из белого камня десять метров в высоту. На стороне, обращённой в долину, старославянским шрифтом написано: «Больше сей любви никто не имеет, да кто душу свою положит за други своя». Иоанн, XV, 13. Над надписью мозаичный лик Христа в круглом медальоне. На другой стороне надпись таким же шрифтом: «Доблестным русским воинам, жизнь свою положившим за веру, царя и Отечество. 1904—1905». Над надписью мозаичное изображение Божьей Матери, тоже в круглом медальоне. На боковой поверхности дата сооружения памятника: «1912 год». И самое главное. С обратной стороны креста выбито: «36-й Восточно-Сибирский полк». Именно в этом полку служили, в основном, жители Саратовской Губернии, призванные в 1904 году. Памятный крест был сооружён по проекту архитектора Юлия Петровича Жданова.

На памятнике видны многочисленные отметины от пуль; особенно много их на стороне, обращённой в долину. Несколько пуль попали в изображение Христа. Нарочно стреляли или просто война ещё раз прокатилась по этим местам? Скорее, последнее, потому что неподалёку от памятника, на окраине деревни, на небольшой сопке видны остатки каких-то оборонительных сооружений, похожих на доты времён японской оккупации. Кто здесь воевал с японцами в 1945 году, неясно, может, советские войска, а может, и китайские. Мы поднялись по полуразрушенным ступеням к подножию памятника, положили цветы, приобретённые уже в пути, помолчали. По старой русской традиции я извлекаю из рюкзака гранёный стакан, привезённый из России, наполняю его водкой, кладу сверху хлеб с солью и ставлю к подножию памятника. Так мы почтили память неизвестных нам солдат, погибших здесь сто лет назад. Их души до сих пор живут над этими полями, они навсегда слились с этим небом, печальным шумом сухой травы и блеском реки под неярким весенним солнцем. Их редко кто тревожит. Совсем заросла тропинка к Кресту. Нет упоминаний об этом памятнике в туристических путеводителях. Редко кто из соотечественников приходит на эти поля. Пытаемся делать вид, что той непобедоносной войны не было? Но тогда в будущем кто-то может сделать вид, что не было такого «непопулярного» времени, в котором мы живём сейчас. Избитая фраза «Кто не помнит прошлого, тот не имеет будущего» около креста на китайской сопке отнюдь не кажется банальной. А у меня зародилась надежда, что когда-нибудь вспомнят и об этом памятнике, приведут его в порядок, вымостят к нему дорогу. И в годовщины тех далёких боев будут приходить к нему русские люди с цветами. Ведь это нужно не тем, кто лежат у подножия безвестной сопки, а нам, живущим. Не должны мы оставаться «Иванами, не помнящими родства».

Но у нас ещё впереди посещение «Новгородской» сопки. Её видно, она в двух километрах. Именно эта сопка вошла в историю, как «сопка с деревом». На её вершине высится стела, установленная японцами в честь боёв, проходивших тут во время войны. С сопки открывается вид на всю местность вокруг. Обзор для «обстрела» великолепный. Именно в этом месте были самые кровопролитные бои той далёкой войны.

Засняв на фото и видео всю панораму, мы возвращаемся к машине. Перед тем как сесть в неё, я напоследок посмотрел на памятник, холмы и реку, текущую, как и сто лет назад.

Мы вновь летим по дороге в сторону Шеньяна. Наша цель — храм-памятник Христу Спасителю. Как только из-за угла здания появилось сооружение, я сразу понял, что это русский храм. Издали он смотрелся, как воин времён средневековой Руси, облачённый в шлем и кольчугу, по пояс вросший в землю. Когда мы подошли ближе, уже не было сомнений в моей правоте. Алтарь его расположен так, что алтарная часть находится на территории местной школы, а его передняя часть со входом — на территории другой организации. Мы обошли школу, чтобы посмотреть храм со стороны входа. С этой точки картина была следующей: слева и справа от входа китайцы построили два небольших здания (слева — одноэтажное, справа — двухэтажное), вместе они значительно закрыли обзор церкви со стороны двора какой-то фирмы. Вход в храм располагается между этими строениями. Мы подошли к большой двустворчатой двери, через ручки была продета цепь, и висел замок. Я спросил Доржи, был ли он внутри сооружения. Он ответил отрицательно. Насколько он знал, туда никого не пускали.

Здание храма-памятника сохранилось и находится в ведении Шеньянского правительства. Оно в удовлетворительном техническом состоянии, используется как склад. Все свободные подходы к нему перекрыты пристроенными вплотную современными зданиями, несмотря на то, что здание включено в список 70-ти памятников истории и культуры Шеньяна. Рядовые шеньянцы не имеют понятия о бывшем назначении этой постройки.

На мраморной доске, укрепленной под окном-крестом на южном фасаде часовни, выгравировано: «Храм Христа Спасителя сооружён повелением Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича для увековечения памяти доблестных воинов, положивших жизни свои за Веру, Царя и Отечество в Русско-японскую войну 1904—1905 гг.».

В Мукдене храм-памятник во имя Христа Спасителя заложили 8 сентября 1911 года (архитектор Юлий Петрович Жданов) посредине большого русского воинского кладбища, расположенного к северо-востоку от вокзала Южно-Маньчжурской железной дороги. Строительство храма было завершено в 1912 году, но ещё в 1914 году он не был освящён. Многими частными лицами были пожертвованы храму образа, церковная утварь, облачение и т.п. На средства известного харбинского коммерсанта Чистякова сооружена звонница с семью колоколами в северной части кладбища. Посвящение воинского храма-памятника Христу Спасителю не только символично, но и типично для своего времени: соотнесение подвига воинов с подвигом Христа пронизывает все воинские храмы-памятники XIX — начала XX в. Не исключение и православные храмы-памятники, возведённые в Китае и Японии.

Храм-памятник Христа Спасителя в Мукдене представляет собой восьмигранный центричный объём из серого гранита на мощном ступенчатом цоколе. Он увенчан главой в виде стройного шлема на гранёной трибуне с крестом, кровля храма — в виде «мягко свисающей» на грани восьмерика чешуйчатой «кольчуги». Всё вместе создаёт запоминающийся яркий художественный образ — образ воина-богатыря, русского витязя. Тема древнерусского воинского одеяния — шлема, кольчуги, доспехов — пронизывает всю художественную структуру храма, от архитектурных форм до декоративных деталей.

Четыре более узкие грани восьмерика украшены двумя ярусами медальонов в виде воинских щитов, в центре которых выгравированы христианские и наградные воинские кресты разнообразной формы (русский, греческий, Георгиевский, Андреевский), а по окружности — памятные надписи: «С нами Бог», «Сим победивши». Окна на северном и южном фасадах, апсиде — в виде четырёхконечных латинских крестов. В форме Георгиевского креста, наградного знака солдат и унтер-офицеров Российской армии, венчающий главу-шлем крест, на западный, входной придел венчает традиционный православный крест — восьмиконечный.

Мукденский храм ранее составлял единое целое с кладбищем, которое на 1928 год считали центральным в Маньчжурии. Там покоилось около 60 тысяч погибших русских воинов как в войну 1900—1901 гг., так и в войну 1904—1905 гг. Храм вместе каменной кладбищенской оградой, могильными плитами, единообразными поминальными крестами и садом можно считать военным мемориалом.

Я думаю, что это единственный сохранившийся храм, построенный в память войны 1904—

1905 гг. на территории Маньчжурии. Жаль, что не удалось побывать внутри Храма, но там всё сохранилось, по имеющейся информации, в первозданном виде.

Но время не ждёт. Программа посещений памятных мест обширная, а времени мало. Отобедав в ресторане, мы прибыли в российское консульство. Именно тут предстоит мне пересадка в другую машину. Водитель Михаил Николаевич предупредил, что поедем в г. Далянь. Хотя до него 370 километров, но Михаил заверил, что будем там через два с половиной часа. Дороги отличные и проблем не будет. При этом чувствуется постоянная забота российского консула.

Попрощавшись с Доржи, мы рванули в Далянь. Дороги оказались действительно отличными. Несмотря на то, что построены давно, выглядят, как новые, без заплаток и трещин. Параллельно виднелась почти построенная скоростная железная дорога, которая высилась над полями и реками на больших бетонных подставках. Планируется, что поезд из Шеньяна в Далянь будет идти всего два часа.

На руках у меня была карта Генерального штаба, составленная в 1904 году. Проезжая по этой местности, я постоянно сравнивал её с данными карты. Справа и слева от дороги всё засеяно или вспахано. Видно множество парников, водоёмов для посадки риса и других сооружений сельскохозяйственного назначения. Кажется, просто нет свободного места.

Проезжаем город Цзыньсян. Именно в районе этого города (ранее посёлок Цзиньчжоу) 26 мая 1904 года произошёл бой. Всего один 5-й стрелковый полк в самом узком месте полуострова, как в Фермопилах, противостоял 2-й армии японского генерала Оку, превосходившей русских по численности в десять раз. Все атаки отбивались с большим уроном для японцев. Но наше командование не поддержало оборону и приказало артиллерии отойти в Порт-Артур. Если бы именно здесь были сосредоточено больше русских подразделений, то и необходимости обороны Порт-Артура впоследствии бы не было. С приходом в залив Цзиньчжоу 10-ти японских кораблей, которые открыли ураганный огонь по нашим укреплениям, ситуация изменилась. 5-й стрелковый полк полностью погиб на высоте, и японские подразделения двинулись к Порт-Артуру.

Как и планировалось, через два с половиной часа мы въезжали в Далянь. Далянь считается «городом, где нет ночей». Такое определение он заслужил благодаря большому количеству площадей, ночью освещённых фонарями всех цветов радуги. Посещение площадей ночью является одним из неизменных развлечений туристов, попадающих в этот город. Каждая площадь, помимо эстетики, несёт ещё и функциональное назначение. Например, площадь Чжуншань является финансовым центром города, Народная площадь — центром сосредоточения правительственных зданий. Большинство площадей расположено в старой, центральной части города, на главной улице Даляня — Народном проспекте.

Михаил предупредил, что покатает меня по городу. Первым делом — площадь Синхай. С китайского название площади переводится, как «море звёзд». Площадь довольно новая, была открыта в 1994 году. Имеет вид звезды с двумя установленными в центре белыми 20-метровыми мраморными колоннами. Эти колонны воздвигнуты в 1997 году в честь возвращения Гонконга Китаю. Они являются самыми большими в стране. В саму площадь вмонтировано 999 камней из красного мрамора и установлено 9 каменных изображений древних китайских судов. Весь архитектурный ансамбль как бы символизирует единение неба и моря. Здесь ежегодно проходит знаменитый Международный пивной фестиваль и проводится шоу крокодилов с опасными трюками. По площади можно прокатиться на велосипеде, взятом напрокат. На сегодняшний день это самая большая площадь в Восточной Азии. Она в два раза больше площади Тяньаньмэнь в Пекине. Внутренний диаметр площади — 199,9 м. Это символ того, что в 1999 году городу Далянь исполнилось 100 лет. Внешний диаметр — 239,9 м. Это означает, что в 2399 году город Далянь встретит своё 500-летие. На севере площади Синхай находится современный выставочный центр, носящий то же имя, в южной части скульптура в форме столетней книги с детьми. 100 пар следов, ведущих к книге, символизируют столетие истории города Далянь. Недалеко от берега стоит маяк.

В центре — окружённая небоскрёбами площадь Дружбы. На площади в 1996 году был установлен подсвеченный кристалл в виде земного шара с опорой в виде 5 рук. Это символ дружбы народов пяти континентов. Внутри него горят 7852 лампы. Красный цвет символизирует счастливую жизнь, жёлтый — большой урожай, зелёный — надежду. Мы проехали и останавливались на Русской улице. Русская улица длиной 430 м и шириной 15 м расположена в центре Даляня, к северу от моста

Победы. На Русской улице насчитывается 38 зданий, построенных в русском стиле конца XIX — начала XX вв. В 1999 году мэрия приняла решение полностью восстановить прежний облик Русской улицы. Почти все здания на Русской улице являются копиями каких-либо строений в России. Начинается улица уменьшенной копией Музея истории на Красной площади. После реконструкции на улице появились русские рестораны, магазины, клубы, бары в русском стиле. Здесь можно поесть русской еды, например, в ресторане «Арбат» и постричься в парикмахерской «У Елены». Что касается покупок, то здесь продают, в основном, подделки под русские национальные товары: матрёшки, шапки-ушанки, бинокли. Все эти товары предназначены для японских туристов и приезжих с юга Китая, поэтому Русская улица интересна как место для прекрасного променада. Рядом с Русской улицей расположена аналогичная Японская. Она обладает японской спецификой. Здесь имеется универмаг, кафе, ресторан японской кухни, кафе чайной церемонии.

Посетили старые постройки 1900 года. Это был посёлок российских моряков. Дома двухэтажные из красного, привезённого из России, кирпича. Прошло более ста лет, но всё выглядит совсем неплохо. Делаю здесь съёмку фото и видео. Думаешь: закрою глаза и перенесусь обратно по времени. Тут бурлила жизнь, и российских кораблей в бухте Даляньцзынь было много. Железная дорога сюда тоже подходила.

Уже когда темнело, а темнеет тут быстро, поехали в местечко Лаохутань. Там расположен большой парк, и именно там в своё время была резиденция Б. Ельцина. В 2010 году именно сюда приезжал Д. Медведев. Места красивые. Самое интересное: сюда, в отсутствие известных гостей, пускают всех желающих. Перед нами Западно-Корейский залив Жёлтого моря. По серпантину поднимаемся на гору и спускаемся в пригород Даляня. Наконец-то размещение в гостинице, ужин и поездка по ночному Даляню. Действительно, весь город в огнях. Кругом чистота и порядок. Изредка встречаются полицейские, следящие за дисциплинированными соотечественниками. Пока ездили по городу, я не видел людей, пьющих пиво на улице или курящих на ходу.

Утром решили выезжать в Люйшунь пораньше, так как очень много мест необходимо было посетить. Опять по скоростной дороге меньше, чем за час, въезжаем в знаменитый Порт-Артур. Весной 1898 года, то есть в момент перехода под российскую юрисдикцию, Порт-Артур представлял из себя портовый посёлок, построенный в китайском стиле с населением около 4000 китайцев и 200-300 европейцев.

Своё европейское название посёлок Люйшунь получил, по одной версии, в честь командира английского военного корабля «Alcergino» лейтенанта Артура, зашедшего в бухту в 1858 году. Это был первый европейский корабль в данных водах. По другой версии, посёлок был назван англичанами в честь одноимённого портового города, существовавшего на территории мифического средневекового английского государства короля Артура — главного героя эпического цикла о рыцарях Круглого стола.

Сначала мы решили посетить Мемориал советских воинов. На каменном основании установлена стела высотой 40 метров, перед которой находится бронзовая статуя советского солдата. Надпись на китайском языке: «Вечная слава».

За Мемориалом находится кладбище русских и советских воинов. Находящееся за Мемориалом русское воинское кладбище является одним из крупнейших захоронений иностранцев в Китае. Первое, что бросается в глаза, когда заходишь на русское кладбище, — это восьмиметровый крест из белого мрамора и памятник в виде часовни с колоннами. Надпись по-русски гласит: «Памятник построен японским правительством в 1907 году. Здесь покоятся бранные останки доблестных русских воинов, павших при защите ими крепости Порт-Артур». Это был первый памятник павшим русским воинам и открывали его... вчерашние враги. Руководил открытием японский генерал Маресукэ Ноги, потерявший при штурмах крепости двух сыновей. Японцы же собирали останки русских воинов и хоронили их в братских могилах. На солдатских установили чугунные кресты с надписями: «1785 прахов», «749 прахов», «1490 прахов». На офицерских, беломраморных, цифры поменьше: «Братская могила 15 В.С.П. 41 прах», «Братская могила 14 В.С.П.». Всего 48 таких погребений. Литеры «В.С.П.» означают Восточно-Сибирский стрелковый полк. На всех бастионах и местах сражений установлены таблички с надписями: «Здесь доблестно сражались русские солдаты, отбивая атаки японской армии», «Здесь, не щадя себя, русские солдаты стояли насмерть до последнего человека». Русское кладбище было открыто в июне 1908 года в присутствии русской

военной делегации. По команде японского генерала Ноги воинские почести павшим отдали полк и флотский отряд японских войск. Позднее, в 1912 году уже русские мастера установили беломраморный христианский восьмиметровый крест. На его лицевой стороне высекали слова: «Вечная память доблестным защитникам Порт-Артура». Последнее захоронение жертв обороны Порт-Артура произошло в июне 1913 года, когда японские водолазы подняли с броненосца «Петропавловск», на котором погибли вице-адмирал Макаров и его друг, художник Верещагин, останки шести моряков. В 1930—1940-е годы кладбище сохраняли, сколько могли, русские эмигранты.

После 1945 года рядом со старым русским кладбищем были похоронены советские воины, умершие после ранений и погибшие при исполнении служебных обязанностей в период временного пребывания частей Советской Армии на Ляодунском полуострове. Всего, по китайским данным, в тот период в 1323-х могилах было похоронено 2030 человек, в том числе 1400 военнослужащих, свыше 630-ти родственников военнослужащих.

В 1950—1953 гг. на кладбищах Ляодунского полуострова, главным образом Даляня и Люйшуня, производились захоронения советских военнослужащих, погибших во время Корейской войны. По данным Минобороны СССР, погибло 299 советских военнослужащих. В соответствии с информацией китайских архивов, в тот период в Люйшуне и Даляне было похоронено 552 советских воина. При этом неизвестно, сколько из них были участниками боевых действий в Корее.

Территория кладбища обнесена каменной стеной с входными воротами. В 1955 году Советская Армия перед уходом из Порт-Артура отремонтировала входные ворота, сделав их своеобразным памятником архитектуры. Они построены из гранита фиолетового цвета, имеют высоту 8,5 м, ширину 13,5 м.

В центре захоронений советских воинов поставлен величественный памятник — столб из белого мрамора высотой 15 метров. Он стоит на двенадцатиугольном трёхэтажном постаменте. По обе стороны столба установлены медные скульптуры коленапреклоненных фигур пехотинца и матроса. У основания памятника на большой плите лежит медный венок и барельеф разных видов стрелкового оружия. В верхней части памятника на медной плите выгравировано на русском и китайском языках: «Вечная память героям, с честью погибшим за свободу и счастье народов двух стран — Советского Союза и Китая». На вершине столба установлена пятиконечная звезда в обрамлении венка.

Кладбище очень ухоженное. Как мне говорил консул С.Н. Подберёзко, проведена была огромная работа по восстановлению первоначального вида ворот, оград и надгробий. За всем следят китайцы, неплохо говорящие на русском языке. Один из них сказал: «Всё это нужно для потомков! Чтобы ужасы войны не повторились!» Я посетил небольшую часовню. Смотрители, узнав, что я из России, любезно открыли все помещения. В часовне я оставил икону, которую привёз из Энгельса. От смотрителей я получил в подарок книгу о работах по восстановлению мемориала. Пройдя ещё раз вдоль кладбища, я обратил внимание на знаки на могилах. Тут и православный крест, и иудейская звезда, и мусульманский полумесяц, и католический знак. Поистине, всё символично.

Затем мы поехали на место под названием «Высота 203». Она расположена в Национальном лесном парке в северо-западной части города. Это была командная высота на российской линии обороны протяжённостью 20 км к западу от Люйшунью во время Русско-японской войны. Она расположена на высоте 203 м над уровнем моря. С 26 ноября по 5 декабря 1904 года японские войска под командованием Ноги Марэсуке захватили эту позицию ценой 17 тыс. жизней. После этого японские войска установили наблюдательный пункт для наведения огня артиллерии, которая произвела 1100 выстрелов бронебойными снарядами. 9 декабря они потопили все 50 русских военных кораблей в морском порту Люйшунью, нанеся поражение эскадре российского Тихоокеанского флота, которая 10 августа не смогла прорвать окружение.

Памятник «Эрлинг» на Высоте 203 стал самым первым монументом, построенным после войны японской колониальной администрацией. Он был завершён в 1913 году и простоял более восьми лет. Этот монумент в форме снаряда отлит из металла артиллерийских гильз. Надпись на монументе была составлена самим Ноги Марэсуке. В конце есть приписка: «Причиной победы на Японском море стало падение Люйшуня. А падение Люйшуня произошло в результате захвата холма Эрлинг. Раньше он назывался Холм Бога. Генерал Ноги переименовал его в Холм Эрлинг». Когда новость о захвате Высоты 203 достигла Японии, там состоялся парад. В тот период и японские, и русские войска рассматривали бой за Высоту 203 как решающую битву.

С вершины открывается вид на весь город и бухту. Едем дальше. На пути обелиск «Победа». Башня высотой 45 метров стоит на пересечении улиц Сталина и Дружбы. На шпиле башни установлена пятиконечная звезда, окружённая рисовыми колосьями. Как гласит надпись на стеле, она была построена в честь того, что «с августа по сентябрь 1945 года героическая Советская армия при поддержке вооружённых сил Китая разгромила элитные войска Квантунской армии империалистической Японии и освободила северо-восток Китая от японских агрессоров». Строительство этого памятника началось в марте и завершилось в августе 1953 года.

Совсем недалеко располагается памятник «Дружба». Башня была построена по решению Госсовета и является одним из первых крупных исторических и культурных объектов, охраняемых государством. Башня расположена на площади перед музеем Люйшуня. Её высота — 22,2 метра. На вершине башни находятся высеченные из камня китайский и советский государственные флаги, а между ними голубь с распростёртыми крыльями. Она является символом вечной дружбы китайского и русского народов.

Делаем остановку около старого железнодорожного вокзала. Это была конечная точка Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Всё осталось, и поддерживается в первоначальном виде. И вокзал действующий. При мне отправлялся поезд в Далянь.

Мы едем по дороге вдоль порта. В порту много военных кораблей Китайской армии. Дорога крутым серпантинном вьётся по склону горы. И вот мы на горе «Перепелиная». Высота горы «Перепелиная» 130 метров над уровнем моря, но она стала показательным символом Порт-Артура. На горе стоит башня «Байюй», построенная японцами после войны в 1905 году в память о погибших. Её высота — 67 метров, и она в форме свечи, что символизирует вечное горение. По другому мнению, японцы просто хотели похвалиться своей военной силой. На строительстве башни японцы использовали принудительный труд двадцати тысяч китайцев. Если посмотреть на башню по-другому, то можно заметить, что она сделана в форме снаряда. С вершины горы открывается панорама на весь город, бухту. Пожилой китаец-экскурсовод, неплохо разговаривающий на русском языке, провёл нам небольшую лекцию об обороне города во время войны. Хоть я много знал, но внимательно выслушал рассказ.

Но надо спешить вперёд. Следующий интересный объект — крепость Дяньянь (Электрический утёс). Была построена в период правления Цинской династии. В 1899 году русская армия перестроила крепость в линию береговых оборонительных сооружений, которые обладали мощным артиллерийским вооружением и имели всё необходимое для ведения длительных боевых действий. В крепости установлены мощные прожекторы, которые позволяли обнаружить противника на большом расстоянии. Данная крепость представляла значительную угрозу для японского флота, который пытался блокировать морской порт. И сейчас здесь остались мощные береговые орудия. В двух километрах от берега — место гибели адмирала С.О. Макарова, который погиб вместе почти со всей командой на броненосце «Петропавловск» в 1904 году.

Наш путь лежит на высокую гору Вантай — так нынче называется Большое Орлиное Гнездо. Именно в этом месте сражался лейтенант А.В. Колчак, будущий адмирал флота. С горы открывается вид на всю местность вокруг на десятки километров. Здесь остались два орудия. На «казённой» части можно прочитать «Обуховский сталелитейный завод 1899 г.». Покалеченные стволы по-прежнему смотрят в сторону материка, как будто позади — осаждённый Порт-Артур. Уже разбит и затоплен флот, уже наполовину разрушен город, но в дыму и крови последние защитники грудью бросаются на врага. Как сюда, по крутому склону, были доставлены эти громадные орудия? Как жили и сражались здесь солдаты? Кругом камень и кустарник. Каждая пядь избита осколками. Уродливые глыбы, покрытые мхом и травой. Впечатление очень тяжёлое. Даже если на минуту представить себе, что здесь творилось, становится страшно. Каково же было нашим прадедам, погибавшим в этом аду за веру, царя и Отечество? Здесь было одно из последних мест боёв в ходе обороны Порт-Артура. После занятия японцами этого укрепления битва за Порт-Артур закончилась.

На всех возвышенностях видны небольшие обелиски, поставленные японцами. По ним можно мысленно воссоздать всю линию обороны. Просто удивляешься стойкости наших солдат, почти год державших оборону против японской армии и не получавших извне ни продовольствия, ни боеприпасов.

Я бродил по улицам и переулкам, останавливаясь перед хорошо сохранившимися зданиями европейского и японского стиля постройки, фотографировал их и представлял себе историю тех людей, которые в них когда-то жили. Это тем более интересно, что некоторые дома до сих пор остаются неизменными с прежних времён. Под одной и той же крышей в разное время жили китайский чиновник династии Цинь, русский военачальник царской армии, японский генерал. В конце концов, здания вернулись в руки китайского народа. Несколько раз менялись хозяева, жившие в одном и том же доме, но игравшие разную роль в истории.

Когда я побывал на местах боев времён Русско-японской войны, которая происходила более ста лет назад, и в окопах видел следы от пуль и снарядов, у меня в голове возникали мысли об историческом прошлом и современной нам реальности. Несмотря на то, что окопы в наши дни густо заросли кустарником, никак не может выветриться из них дым войны и запах крови. Я размышляю, почему две империалистические державы, не щадя своих сил, жестоко боролись за китайские территории. Агрессивная политика толкала их к тому, чтобы захватить Порт-Артур и северо-восток и присвоить себе чужие земли.

Сейчас, находясь в окопе крепости, я как будто ощущаю себя на поле боя. Многочисленные фотографии и архивные данные обеих воюющих сторон, которые у меня есть, ясно показывают нам, что Япония не могла смириться с тем, что приходится выпустить из своих рук Порт-Артур и передать его царской России. Впереди их ждала смертельная, отчаянная схватка. Понимая это, царская Россия предпринимала все усилия для защиты города. В этих целях на базе оборонительных сооружений династии Цинь в течение четырёх лет с использованием труда тысяч китайских рабочих были расширены и укреплены главные позиции крепости Порт-Артур: построены морская оборонительная линия длиной 9000 метров, участок оборонительной линии на суше длиной 2500 метров, 50 оборонительных сооружений и фортов. Всё говорило о том, что здесь будет жестокая битва. Японцы были убеждены в своей победе. По имеющимся данным, в течение 329-дневного сражения погибло 60 тысяч японских воинов, русские потеряли 30 тысяч. Много бедствий война принесла и местному населению.

История — это зеркало настоящего. Мы должны не забывать прошлое, а извлекать из него серьёзные уроки. Раны истории приводят чувства в глубокое волнение, а память о них навсегда остаётся в сердце. С небольшой грустью я покидаю Порт-Артур — это историческое место далёкого форпоста России.

Двигаясь по скоростному шоссе, через туннели и мостовые переходы, с постоянной скоростью 140 км/ч, через три часа мы были в Шеньяне. При встрече с консулом России я доложил о том, где побывал и поблагодарил его за предоставление транспорта и личное покровительство.

Но трудно отпускает Китай. В аэропорту я узнал, что самолёт, на котором мне предстояло лететь неисправен. Хорошо, что это случилось на земле. Я очень волнуюсь, так как по прилёте в Пекин мне предстояла сразу же пересадка на рейс до Москвы. Задержка составила более полутора часов. Но вот мы взлетаем. Уже немного набрав высоту, я смотрю в иллюминатор, и вижу памятный крест на Новгородской сопке, а рядом протекает река Шахэ. Прощаюсь с памятным местом стойкости и мужества наших российских солдат.

В Пекинском аэропорту всех иностранцев, которые имели «стыковочные» рейсы и опаздывали, встречали на скоростном автобусе. Он быстро домчал нас до входа в аэропорт. Регистрацию на мой рейс в Москву уже давно объявили. За 10 юаней водитель на небольшом автомобиле (электрокаре), специально предназначенном для доставки пассажиров внутри здания, подвёз меня к нужному терминалу на посадку. Ну, вот и прощайте, Китай, сопки Маньчжурии и Порт-Артур! Почти восемь часов полёта — и я в Москве.

Под Мукденом происходили ожесточённые бои во время Русско-японской войны.

Русское кладбище в этом городе считалось центральным в Маньчжурии.

Кладбище располагалось к северо-востоку от железнодорожного вокзала.

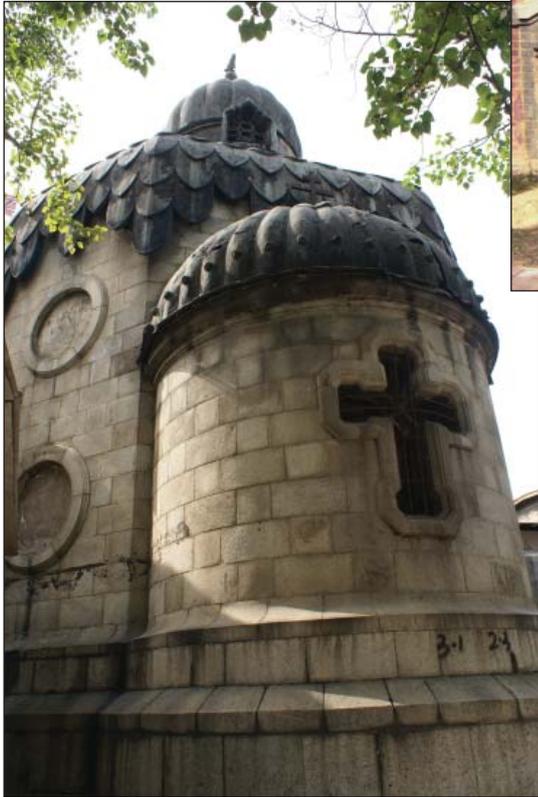
Участок для захоронений россиян был куплен российским правительством в ноябре 1902 г. в размере 22,5 му (2874,55 кв. саженей) у служителя кумирни Ци Му Тхана.

Здесь были похоронены русские солдаты, погибшие во время Боксёрского восстания 1900—1901 гг.

Вход на старое русское кладбище. ►
г. Люйшунь (Порт-Артур)



Вокзал г. Люйшунь (Порт-Артур)
построенный русскими в 1900 году
(действующий) ▼



▲
Памятный знак
на «Новгородской сопке»
район г. Шеньян (Мукден)



◀ Орудие на батарее
«Орлиное гнездо» командир
лейтенант Колчак А. В.

В центре северного участка возвышалась красивая церковь-памятник из серого гранита во имя Христа Спасителя, построенная по проекту Великого князя Петра Николаевича.

Она была заложена 8 сентября 1911 г., а строительство её закончилось в 1912 г.

Пожертвования собирались по всей России. На южной стороне храма была установлена мраморная доска с надписью:

«Храм Христа Спасителя сооружён повелением Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича для увековечения памяти доблестных воинов, положивших жизнь свою за Веру, Царя и Отечество в Русско-японскую войну 1904-1905 гг.»

На внутренних стенах храма висели 5 больших мраморных досок с перечислением войсковых частей русской армии, участвовавших в боевых действиях под Ляояном, на реке Шахэ, под Сандепу и Мукденом. На шестой доске имелись сведения о потерях в этих операциях. В храме было 2 серебряных венка, возложенных на братскую могилу: от Российских Императорских

Армии и Флота. Это здание сохранилось и поныне. От главной аллеи, ведущей к этому храму, в разные стороны расходились небольшие тенистые аллеи. Вокруг храма были расположены: 21 братская могила с надписями на каменных плитах, 21 братская могила с надписями на каменных крестах, 39 одиночных могил с крестами, 4 одиночных могилы с надписями на плитах, 8 одиночных могил надписями на крестах, 198 холмиков без крестов, расположенных рядами над братскими могилами, которые были вырыты в виде рвов. С северной части храма находилась звонница из семи колоколов общим весом в 105 пудов 20 фунтов, сооружённая на средства харбинского коммерсанта.



Безбрежный русский мир

Рижские берега

Владимир Вахрамеев

Член Союза журналистов России, Международной федерации журналистов, Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП). Родился в августе 1942 года в Вологде в семье военнослужащего. Годы детства и отрочества журналиста, публициста и литератора связаны с Ригой, где его отец в послевоенные годы возглавлял Дом работников искусств Латвийской ССР. Встречам с известными в СССР и Латвии людьми посвящены многие страницы его трилогии «Опалённые ложью», подготовленное к выпуску издательством «Страж Балтики» (2000-2013 гг.). За годы активной служебной и творческой жизни выпускник старейшего российского военно-учебного заведения, находившегося в столице Литвы г. Вильнюсе, написал и опубликовал в периодических изданиях сотни статей, очерков, интервью и рассказов. В 2014 году им в содружестве с литовской поэтессой Эльвирой Поздней был подготовлен и выпущен в ООО «Издательство «Кладезь» (Калининград) сборник «Я не хотел бы всех печалить...», который соавторы посвятили жизни и творчеству известного в Янтарном крае сценариста и писателя Валерия Петровского. По этой книге и поэтическому сборнику Э. Поздней Русский театр в Вильнюсе (режиссёр Юрий Шуцкий) и Калининградский музыкальный театр (режиссёр Евгений Макаревич) поставили спектакль «Письма, рифмованные любовью». Владимир Вахрамеев имеет свыше двух десятков государственных и ведомственных наград СССР, РФ и ЧССР, является дипломантом и Кавалером Нагрудного Знака Клуба главных редакторов «Четвёртая власть. За заслуги перед прессой», лауреат премии «Журналист года — 2014» в номинации «Память».

Жизнь через общение к познанию

(Из трилогии «Опалённые ложью»)

Годы, годы, годы... Они, словно километровые столбы вдоль железнодорожного полотна, немолимо завершают свой бег на конечной станции. Глядя из окна «поезда жизни» на их череду, невольно думаешь, что таблички на этих столбах, будто лица друзей и близких, напоминают о прошедших годах, многочисленных встречах и разлуках. Наиболее точно, как мне кажется, это состояние выразил член Союза писателей СССР, поэт-фронтовик Анатолий Рыбочкин: «Гадай, не гадай, а случится, / Что станешь тяжёл на подъём... / Мелькают, мелькают страницы / Той книги, что жизнью зовём». Этот эlegantный и энциклопедически образованный человек в начале 60-х годов двадцатого столетия руководил литературным объединением при вильнюсском гарнизонном Доме офицеров. Его участниками были офицеры, сверхсрочнослужащие, члены их семей, а также двое курсантов — Артур-Казимир Прибыльский и я. На наши заседания постоянно приглашались преподаватели госуниверситета, известные писатели, поэты и журналисты. Они обменивались опытом, читали лекции по различным аспектам литературной деятельности. На этих занятиях много внимания уделялось обучению основам журналистики, привитию чувства любви к русскому языку и подвергались частенько суровой критике наши юношеские, полные романтизма и максимализма литературные творения. Ни одно заседание не обходилось без жарких и продолжительных споров. Касались они не только современной поэзии и новинок прозы, но и жизненных проблем, различных ситуаций. Эти годы «хрущёвской оттепели», споров физиков и лириков стали годами формирования в нашем сознании и душах критического отношения к себе, своим поступкам. Для меня и моего друга Артура (или, как его называли близкие, Кази) эти встречи сыграли важную роль в определении жизненного пути. Выбор между физиками и лириками мы сделали в пользу гуманитариев. Оба в последующем стали журналистами. Он — поэтом, я — прозаиком. (В.В. Кн.1. Стр. 140—141).

* * *

Едва прошёл месяц со дня освобождения Риги, как в просторный вологодский дом бабушки Павлы Вахрамеевой пришёл неожиданный гость. Это был высокий капитан — сослуживец отца, возвращавшийся из череповецкого госпиталя в родную часть. Он передал маме записку с просьбой приехать в Ригу и сообщил, что офицер будет сопровождать нашу семью. Едва мама дочитала сообщение, как последовали короткие суматошные хлопоты, связанные со сборами, затем четырёхдневная поездка с многочисленными пересадками и часовыми стоянками поездов на различных полустанках, прежде чем на рижском вокзале мы встретились с отцом. После недельного проживания в гостинице отцу выделили квартиру на улице Чиекуркалнс (1-я длинная линия) древней столицы Латвии. Квартира располагалась в 16-квартирном доме дореволюционной постройки и недавно ещё принадлежала русскому эмигранту, бежавшему с немецкими войсками на Запад. Вот так и стали мы единственной русской семьёй, которая пять лет прожила в дружбе и добром согласии с латышскими соседями.

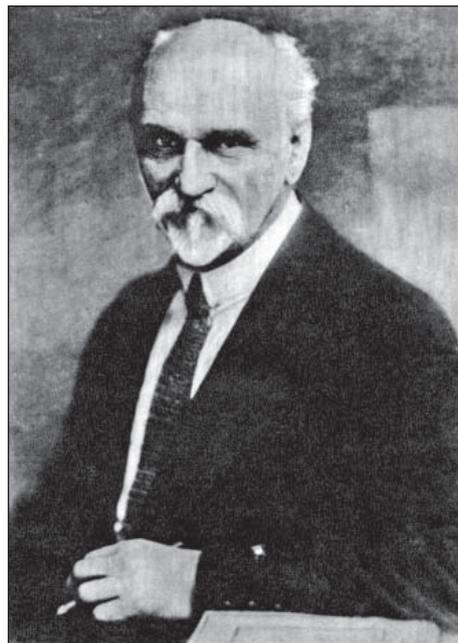
...Каждый, кто открывал массивную входную дверь, попадал в небольшой тамбур, на стене которого висела доска с номерами квартир, именами и фамилиями жильцов на латышском языке. Под номером один значился Сергей Вахрамеев. Перед некоторыми фамилиями можно было прочитать: профессор, доктор, инженер, художник... Преодолев тамбур и открыв вторую стеклянную дверь, гость попадал в просторный холл, куда выходили двери четырёх квартир. Кроме семьи дворника, на этаже жили модистка Нина Кишкис с двумя дочками и семья инженера-железнодорожника с тощей, вечно чем-то недовольной супругой, которая постоянно ворчала на мужа и своего сына-подростка. Этот паренёк почти ежедневно прятался у нас и помогал ординарцу отца Ивану в домашних делах. Иван частенько называл этого мальчишку сердягой и быстро привязался к нему. Мать же его, по непонятным для меня причинам, в отличие от постоянно забегающей тётки Нины, так ни разу и не побывала у нас. Муж нашей модистки некогда служил офицером в армии буржуазной Латвии и пропал в 1940 году после ввода наших войск в республику. (В.В. Кн.1. Стр. 143). Из окон нашей квартиры просматривалась улица и идущие по ней люди, движущийся транспорт. Поэтому в редкие минуты безделья, которые чаще всего выпадали на погодливый день или сильный снегопад, интересно было наблюдать за идущими по тротуару людьми, строить предположения об их жизни, профессии, привычках. К столь философским размышлениям располагала обстановка в нашей квартире, доставшаяся нам в наследство от прежнего хозяина, который бесспорно являлся представителем русской дореволюционной интеллигенции. Свидетельством тому являлась обстановка в квартире, огромное количество книг, изданных в России до 1917 года, а также огромное количество грампластинок с ариями из опер, русскими народными песнями и романсами. Книги, аккуратно расставленные в большие от пола до потолка книжные шкафы со стеклянными дверцами, занимали две стены в столовой, а также одну стену в спальне. Среди книг находилось немало количество отпечатанных на русском языке в типографиях Латвии и литература на латышском, немецком, французском и английском языках.

Среди книг известных писателей, поэтов, прозаиков, историков, публицистов и философов находилось много литературы авторов, чьи фамилии и произведения больше никогда мне не встречались. Кинули в литературное небытие работы и произведения фольклориста Павла Якушкина, мемуариста Николая Успенского, прозаиков Николая Златовратского и Семёна Юшкевича, беллетриста Дмитрия Аверкиева. Забыты творения поэтов Ивана Долгорукова, Гавриила Жулёва, Семёна Надсона и Николая Щербины, историка Николая Надеждина, философа Вячеслава Иванова. На книжных полках доставшейся нам в наследство домашней библиотеки можно было найти известные исторические романы, очерки и исследования Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва, М.Н. Загоскина, И.А. Ильина и малоизвестные работы публицистов Марины Цебриковой, журналиста Михаила Ольминского и драматурга Владимира Озерова.

Вероятно, обилие книг сказалось на моём желании как можно раньше приступить к чтению этого литературного богатства. Читать я начал рано, и уже в младших классах, укрывшись одеялом и под тусклый свет карманного фонарика, без разбора «проглатывал» массу книг. Только в 6—7-м классах пришло увлечение исторической и приключенческой литературой. Со временем вкусы менялись, но неизменной оставалась любовь к литературе. Искренне жаль, что после

смерти отца, в трудные для мамы годы, она распродала значительную часть уникальной библиотеки.

В столовой напротив софы на стене висел портрет молодого человека с узким лицом и внимательным, даже, как мне казалось, пронизывающим взглядом. Складывалось впечатление, что он наблюдает за мной, видит все мои шалости и осуждает их. В нижнем левом углу портрета чьей-то рукой была сделана небрежная надпись. Одна из буквенных завитушек заканчивалась в пяти-семи сантиметрах от правого глаза юноши, отчего его взгляд становился ещё более всевидящим, испепеляющим. Чтобы избежать этого всевидящего ока, я, как мне казалось, с трудом уговорил отца снять портрет со стены. Как я ошибался. Ибо этот взгляд нередко преследовал меня, а портрет вновь появился через несколько лет, когда семья переехала в центр города на новую квартиру в пятиэтажный дом на улице Юмарас (позднее улица Берзниека Упиша). После того как я смёл с него пыль, убрал паутину и внимательно присмотрелся к портрету, моё отношение к нему изменилось. Грусть, отчаяние и усталость увидел я в глазах незнакомца. Стихотворные строчки, размещённые на портрете, я переписал в записную книжку и приступил к поиску автора стихов. Несколько дней ушло у меня на просмотр многочисленных поэтических сборников, изучение мемуаров и справочных изданий. Только через неделю я нашёл ответ на свои вопросы в «Избранном» Владимира Хлебникова, изданного в середине 20-х годов прошлого столетия одним из латвийских издательств. В стихотворении «Песнь мне» нашлись и строчки, написанные на портрете автора стихов:



*Ян Райнис
(11.09.1865 г. — 1929 г.)*

«Я спорить не берусь
Но, думаю, мы можем
Так жить, чтоб стала Русь
Нестыдным жизни ложем».

В.В. Кн.1. Стр. 149—151).

В этом сборнике замечательного поэта «Серебряного века» я обнаружил небольшую книжонку, которая была невероятна похожа на издававшиеся до революции книги популярной серии «Копейка». Это были переводы на русский язык классика латышской поэзии Яна Райниса (Янис Плиекшанс). Так произошло моё первое знакомство с творчеством этого неординарного поэта-бунтаря. При знакомстве со стихами я невольно обратил внимание на то, что некоторые строки подчёркнуты красным карандашом. Так, в стихотворении «Длинный путь» (GARA GAITA) неизвестный мне читатель выделил следующие строки:

Земных оков упали с тела звенья:
Зло, ненависть, волненья и мученья.
Без прошлого, без страсти, без греха,
Гляжу, как даль, вся в золоте тиха,
И, крылья пробуя в эфире чистом,
Душка — как белый снег на склоне льдистом;
И, сбросив всё, что тяжело, она,
Как звёзд мерцанье, нежностью полна,
Но выше, выше всё ведёт мой путь.

Лишь позднее пришло прозрение, что все отмеченные отрывки связаны с одним и тем же именем переводчика. Им был известный поэт «Серебряного века» Валерий Брюсов...

* * *

Впоследствии многие жизненные ситуации, истории и воспоминания легли на страницы трилогии «Опалённые ложью». В частности, и эпизод в вагоне поезда «Рига–Москва», который вёз отца

и меня на Всемирный Московский фестиваль молодёжи и студентов. Споры в купе развернулись вокруг трёхтомника, изданного к 25-летию со дня смерти классика латышской литературы Яна Райниса, который подарили моему отцу студенты одного из вузов столицы Латвии. Особый спор вызвало одно из стихотворений гения латышской поэзии. Речь шла о стихотворении, названном Яном Райнисом «Приметы переходного периода». Прежде всего, спор вызвали строки великого поэта Латвии, приведённые одним из друзей отца — заядлым преферансистом, прекрасным знатоком и страстным поклонником поэзии Рихардом Лацисом:

Дни ушли, и нет людей, и ныне
На скотов гляжу в немом унынье:
Шкуры целы, и они ликуют —
Ум и честь для них не существуют!
Пьют, блудят, предать готовы брата,
Идеал для них — трус и предатель!
И, глумясь, мечтают лишь о том,
Чтоб загнать народ в большой публичный дом.

(В.В. Кн.1. Стр. 290—292).

Эти строки Яна Райниса я вспомнил сегодня не только в связи с тем, что они невероятно соответствуют нашей сегодняшней жизни, но и потому, что в сентябре этого года отмечается 150-летие со дня рождения гениального поэта Латвии (11.09.1865—1929). Воспользовавшись авторским правом, я рискнул переставить некоторые из воспоминаний, приведённые в первой («белой») книге трилогии «Опалённые ложью». Малая часть их обобщена в этой публикации и переносит читателя в жизнь послевоенной интеллигенции Латвии.

* * *

Являясь избирательной, детская память вместе с тем умудряется запечатлеть самые невероятные и неожиданные события и дни, которые остались в воспоминаниях навсегда. Нередко это бывает какой-то эпизод, короткая бытовая сценка или зарисовка, а иногда — значительный отрезок жизни с реальными людьми и событиями. Рижане, представлявшие поколение тех, кто познал все ужасы войны, находились во второй половине 40-х — начале 50-х годов в несколько других условиях, чем жители большинства городов и посёлков европейской части СССР. В отличие от разорённых войной городов России, Украины и Белоруссии, города и посёлки Латвии остались нетронутыми военными смерчами. Развалины тех немногих разбитых рижских зданий уже за два-три послевоенных года были убраны либо восстановлены. Даже фонтан у величественного здания Национальной оперы начал функционировать в конце лета 1945 года. Не познали рижане в полной мере и всех «прелестей» талонной системы на основные виды товаров и голод, царивший во многих районах огромнейшей страны. Часто, позднее, во многих советских изданиях приходилось сталкиваться с утверждением, что вся страна помогала восстанавливать разрушенное войной хозяйство республик Прибалтики. Не собираюсь оспаривать этот тезис. Но прекрасно помню, что все продукты питания, реализуемые в магазинах и на городских рынках, были выращены, произведены или изготовлены в Латвии. Да и в 60-80-е годы прошлого столетия жители приграничных с республиками Прибалтики областей, прилавки магазинов которых отличались пустотой, закупали продукты питания в магазинах Литвы, Латвии и Эстонии. Развитие же промышленности, строительства и ряда других отраслей было связано не только с наличием соответствующей инфраструктуры и кадров, но и с политической необходимостью. Руководители партии и правительства понимали, что к народам, населяющим Прибалтику, необходимо подходить с иной меркой, чем к другим. Поэтому и внимание уделяли несколько большее. Население республик Прибалтики после тяжёлой, кровопролитной войны представляло собой далеко не однородную, восторженную приходом советской власти, массу. Это были люди, разные по политическим пристрастиям, социальному положению, воспитанию и национальности. Среди них даже русские жители нередко по своим взглядам отличались друг от друга. Некоторые из них только после войны обосновались в Латвии, но быстро адаптировались в республике: выучили латышский язык, освоили и приняли как должное и естественное традиции и быт местного на-

рода. Другие не захотели знать язык, нравы и психологию латышей, всячески пытались подстричь их под советскую гребёнку и втиснуть в привычные и традиционные штампы. Большинство из них, как правило, обладали политической, административной и законодательной властью. Их «политика унтера Пришибеева», в конечном итоге, способствовала в начале 90-х годов прошлого столетия мгновенному выходу республик Прибалтики из состава СССР. Они «железной рукой» наводили порядок, расправлялись с неугодными и инакомыслящими людьми. Была и категория русских, которые либо издавна жили в Латвии, либо их сюда пригнала волна революции и Гражданской войны. Вспомнил я об этих людях в связи с тем, что неоднократно встречал их в нашем доме или на даче.

В субботние вечера мы с младшей сестрёнкой Татьяной старались вести себя тихо и незаметно, чтобы родители не отправили нас пораньше спать. Эти вечера были связаны с приездом гостей и посиделками, разговорами, спорами, розыгрышами. Первым, как правило, приезжал щёголь и эстет дядя Орик со своей красавицей-супругой Ольгой. С его появлением приходило ощущение праздника и кавказского хлебосольства. Ещё до приезда других гостей вся квартира и наш двор-«колодец» наполнялись ароматом жарящегося, возможно, на первом в Риге мангале мяса. Купленное накануне на Центральном рынке и тщательно подготовленное для шашлыка, оно, ещё будучи сырым, уже источало невероятно-пьянящий аромат. Бывший боевой офицер и потомок древнего рода грузинских князей дядя Орик отличался невероятно общительным характером, любил побалагурить, знал огромное количество анекдотов и баек. Возможно, эти способности помогали ему быть успешным в должности одного из первых руководителей прославленного завода «Ригас бальзамс». Для меня и Татьяны приезд этого весёлого и эрудированного человека означал получение самых неожиданных и удивительных подарков. Это могла быть диковинная раковина из Индийского океана, в которую можно было гудеть, как в трубу, заводной автомобиль неизвестной иностранной модели или, чаще всего, книги о приключениях или путешествиях. Дядя Орик как-то привёз мне и брюки, которые в 50-е годы назывались «техасы», а позднее стали именоваться «джинсами». «Техасы», в которых я единственный щеголял недолго по школе, вскоре до крови натёрли мне мышцы ног и навсегда отбили желание их носить. Для меня и пришедших с родителями детей приход дяди Орика всегда предвещал возможность узнать какую-нибудь невероятную историю или легенду, принять участие в таинстве, колдовстве или фокусе, которые он особенно любил проделывать на летней веранде дачи. Мне нравилось в нём не только умение быть в центре внимания окружающих, невероятная эрудиция, но и щеголеватая внешность.

Вслед за нашим милым грузином и его прелестной супругой начинали подходить и другие гости, большинство фамилий которых стёрлось из памяти. Однако прекрасно помню многие разговоры, споры и рассказы, которые довелось услышать. Как правило, после общих разговоров за большим обеденным столом, гости разделялись на группы по интересам. Естественно, что самой многочисленной была группа женщин, которая оставалась в столовой за чаем со сладостями и беседой о своих проблемах. К ним присоединялась и сестричка. Я же, стараясь быть как можно незаметнее, пристраивался к преферансистам или выходил с дядей Ориком на веранду, где собирались любители баек, анекдотов и литературных новинок. Отец, как многие офицеры и представители творческой интеллигенции той поры, любил посидеть с друзьями за карточным столом. Неким таинством и магией веяло от знакомых каждому картёжнику слов: «Мизер, пас, втёмную, прикуп, восемь первых или семь вторых». Удивляла и реакция на них игроков: одни становились возбуждённо-радостными и лица их наливались кровью, светились восторгом; у других — унылые (или с трагическим, обречённым выражением лица) и подавленные. Но, про-



*Рихард Лацис.
Лето 1951 года*



Язепс Витолс

ходило несколько минут, и настроение последних менялось коренным образом.

Большинство из тех, кто постоянно присутствовал у нас на дачных посиделках, прошли дорогами войны, на себе познали её тяготы и лишения. Однако, собравшись вместе, бывшие офицеры-фронтовики редко говорили о ней. Создавалось впечатление, что эти, в большинстве своём молодые, мужчины хотели забыть о тяжёлых днях войны, вдохнуть полной грудью запах Победы и мирной жизни. Негромкие разговоры за карточным столом носили разнообразный характер, но, как правило, были не менее интересны, чем те, которые велись на веранде. Здесь в центре внимания и заводилой споров, дискуссий были либо директор кинотеатра «Блазма» дядя Ваня, либо публицист и литератор дядя Рихард.

Частыми гостями на даче были Тамара Коробешко с мужем Брониславом и сыном Анатолием, с которым нас связывала дружба с трёхлетнего возраста. Тётя Тамара годы войны провела в оккупированном немцами Смоленске, где и родился Толик. После освобождения города она познакоми-

милась с высоким и невероятно стеснительным лейтенантом из латышской стрелковой дивизии. После освобождения Риги и последовавшей вскоре демобилизации дядя Броня пригласил Тамару с сыном в столицу Латвии. До войны имя Бронислава — владельца, закройщика и портного небольшой мастерской в старом районе было известно многим модникам латвийской столицы. После освобождения Риги Броня вернулся в любимую мастерскую и к милому его сердцу и рукам делу. В этот период мой отец и познакомился с известным мастером, который вскоре был вынужден закрыть свою мастерскую и перейти на работу в артель промысловой кооперации. Кстати, эта система малых предприятий в 1961 году была ликвидирована указом Н.С. Хрущёва и возрождена через четверть века М.С. Горбачёвым. Имя моего друга и одноклассника по музыкальной школе при ДРИ Анатолия Коробешко будет широко известно в конце 50- 60-е годы прошлого столетия среди поклонников бокса, а затем более трёх десятилетий он был музыкантом, руководителем и солистом в различных эстрадных ансамблях, игравших в столичных ресторанах Латвии.

Несколько реже, вероятно, в зависимости от концертного графика, за карточным столиком можно было увидеть музыканта и композитора Анатолия Аверкиева. Приезжал он к нам с супругой Александрой и двумя детьми — Володей и Надей, которые были на 3-4 года моложе моей сестрички. Тётя Шура приходилась двоюродной сестрой моей маме и проживала до замужества в одной с ней деревне на Вологодчине. Работала мамина сестра зубным врачом в воинской части. Дядя Толя после того, как ушёл в отставку из оркестра штаба округа, будет работать в театре оперы и балета, в эстрадно-симфоническом оркестре радио и телевидения. Популярность и авторитет его, как музыканта и композитора, были необычайно велики. Рассказывают, что на похороны Анатолия Аверкиева собралось немало военных музыкантов, а также оркестры республиканского радио и телевидения, Государственного театра оперы и балета. Столь внушительный сводный оркестр, музыканты которого были одеты во фраки, исполнил написанные композитором произведения. А в те минуты, когда гроб с телом опускали в могилу, четверо музыкантов, вставших по углам, исполнили пьесу А. Аверкиева для четырёх тромбонов...

(В.В. Кн. 1. Стр. 204-208)

* * *

Иногда спутником Анатолия Аверкиева был популярный в Латвии музыкант, дирижёр и композитор Язепс Витолс. Известность и всеобщую любовь этот шумный, энергичный и жизнелюбивый человек получил ещё в 30-е годы прошлого столетия. Именно в эти годы Я. Витолс организовал и



Цыганский ансамбль Коржовых свои первые гастроли в Латвии начал на сцене Дома работников искусств (ДРИ) ЛССР в столице республики. На снимке: с аккордеоном сидит Нина Коржова, а в последнем ряду справа стоит директор ДРИ Вахрамеев С.Н. Осень 1949 года



Гости столицы Латвии Народная артистка СССР Людмила Лядова и Заслуженная актриса СССР Нина Пантелеева с творческой интеллигенцией г. Риги и работниками ДРИ ЛССР. Рядом с Н. Пантелеевой стоит Сергей Вахрамеев. Лето 1951 года



*Хорошего вина много не бывает. Юрмала.
Лето 1952 года*



*Ведущие специалисты
ДРИ Латвийской ССР
за дружеской беседой.
Крайний слева — директор
Дома работников искусств
Латвийской ССР
Сергей Вахрамеев*



*Творческая встреча сотрудников Дома работников искусств
с ведущими актёрами рижских театров. 1952 год*

возглавил первый в Латвии симфонический джазовый оркестр. К огромнейшему сожалению, умер этот замечательный человек и прекраснейший композитор где-то в конце 40-х годов. Причиной его смерти стали не только болезнь и почтенный возраст, но и бесплодная борьба с советскими «чинушами от культуры», с партийной политикой в области музыкального творчества, где джаз был крамолой, предметом осуждения и резкой критики. Сколько же физических и моральных сил затратил этот мужественный человек, чтобы на протяжении ряда лет, несмотря на нескончаемую критику в печати, работать и выступать с оркестром! И чем энергичнее пресса травила оркестр и его руководителя, тем восторженнее принимали музыкантов в самых отдалённых уголках республики. Глубокое уважение, даже спустя многие годы, испытываешь к этому интеллигентному, мужественному и влюблённому в своё дело человеку, который даже в условиях всесоюзной «охоты на ведьм» не терял оптимизма и веры в людей.

Мне нравился этот шумный, полный оптимизма, весёлый и бородатый мужчина, который был способен на самые невероятные и неожиданные поступки: уговорить всю компанию идти купаться в ночном море или устроить с несколькими друзьями-музыкантами импровизированный вечер романса. Между прочим, концерт посвящался партийной чиновнице, жившей по соседству с нами и считавшей романс проявлением мещанского вкуса. Как правило, не успевали друзья-музыканты закончить до конца ещё первый романс, как разъярённая дама выскакивала, едва одетая, с руганью. Естественно, все эти вечерние проделки столь почтенного и известного всей Латвии композитора и дирижёра вызывали оглушительный смех всех присутствующих на даче, а грозная партийная дама смущённо умолкала и скрывалась в глубине своего дома. Те, кто оставался ночевать на нашей даче, отправлялись провожать отъезжающих в Ригу. Очень часто это была последняя электричка, которая уже в 50-е годы отправлялась в Ригу около двух часов ночи. Первая же утренняя электричка из столицы на взморье выходила около четырёх часов утра. Как ни странно это звучит спустя более чем полвека, никто тогда не боялся ночного города.

Нередко ранним утром я и Татьяна с детьми наших гостей отправлялись к морю, которое известный советский драматург Александр Штейн называл «седым и викингским». В один из таких утренних походов с детворой пошли Язепс Витолс и публицист Рихард Лацис. Запомнилась эта прогулка тем, что два известных в республике человека затеяли какой-то спор о творчестве замечательного латышского поэта Яна Райниса. Оба при этом цитировали стихотворения из замечательных календарей поэта, носивших название «Вирпули» и написанных ещё в 20-е годы прошлого столетия. Так, Витолс читал:

Копить... Беречь... Как сделать это?
Где лишнюю найти монету?
Ужель и впрямь — не ест, не пьёт,
Кто миллионы создаёт?!
Внеси поправку небольшую:
Он... копит денежку чужую.

Друг отца, дядя Рихард, на стихотворение «Насчёт накопления» отвечал строками из стихотворения «Против солнца»:

Псы лают на луну — от сотворенья света.
Теперь у них основана газета.
И в ней они свой нрав явить желают:
Уже не на луну — на солнце лают ...
Ну что ж! Не пропадёт их рвеньё даром:
Сразит их — солнечным ударом!

В ответ Язепс Витолс с улыбкой читал стихотворение «Идеи и головы»:

Так ты считаешь, — в головах людей
Они хотят скосить ростки идей,
Раскинувшихся чересчур вольготно?
Нет, друг, не бойся — этому не быть;
Известно им — идею не убить,
Вот головы они б скосили нам охотно!

Не успел композитор Витолс закончить чтение стихотворения, как литератор Лацис уже читал другое стихотворение Райниса, названное поэтом «Предложение о подарке нашим народным представителям»:

Вновь думцев скликают в думские стены!
Подарок им надо вручить отменный:
Парадные брюки дадим из стали,
Чтоб не протёрлись от бдений в зале
И боль от пинков заодно смягчили!

Смеясь, дядя Язепс, принимая стихотворную дуэль, читал стихотворение «Устаревшая поговорка»:

Аппетит приходит к нам с едой)...
Не согласен с поговоркой той:
Аппетит пришёл, но вот беда —
Что-то не является еда!..

(В.В. Кн.1. Стр. 210-211).

* * *

Заметки об этом споре-состязании двух поклонников поэзии Яна Райниса и известных в 40-50-е годы в Латвии талантливых людей я совершенно случайно обнаружил спустя десятилетия в первом томе юбилейного собрания сочинений великого латышского поэта. Переводы стихов из календарей «Вирпули» сделали Вл. Невский, Л. Хвостенко, Б. Тимофеев и Ю. Абызов. Работая над трилогией и перечитывая стихи Яна Райниса, волей-неволей я постоянно задавался вопросом: неужели вся наша жизнь это одно сплошное дежавю, хождение по кругу или «по граблям»?..



Безбрежный русский мир

Вильнюсские берега

Эльвира Поздняя

Поэт, эссеист. Родилась в СССР, в г. Спасск-Дальний Приморского края, в семье кадрового офицера. Волею судьбы проехала через весь Советский Союз от Тихого океана до Балтийского моря. Окончила отделение «Планирование и бухгалтер» Ельнинского техникума. Всю жизнь посвятила цифрам. Стихи считала хобби. После выхода на пенсию серьёзно занялась творчеством. Живёт в Вильнюсе. Лауреат республиканского конкурса русской поэзии в Литве, награждена дипломом Литовского республиканского департамента национальных меньшинств и миграции «За активное творчество, обогащающее наследие русской поэзии в Литве» (2006 г.), победитель Международного конкурса русской поэзии «Под небом Балтики — 2010 и 2014» Международной ассоциации «Русская культура» (Таллинн, Эстония), шорт-лист Международного литературного конкурса «Серебряный стрелец» (Лос-Анджелес, США, 2011 г.), награждена почётным нагрудным Знаком ветеранской организации ВВКУРЭ «Виленец один в поле и тот — воин» за активный вклад в русскую поэзию (2013 г.). Член Международной ассоциации писателей и публицистов (2008 г.). Стихи и проза публикуются в региональных и зарубежных изданиях (Литва, Россия, Белоруссия, Латвия, Германия, Эстония). На её стихи написаны песни и романсы композиторами разных стран (Литва, Польша, Казахстан, Россия, Великобритания). Выпущены сборники стихов и эссе «Опрокинутый фужер» (2004 г.), «Придуманный вальс» (2009 г.), «Русский акцент (2014 г.) и ряд брошюр. Автор проекта и ведущая Литературно-музыкальной гостиной «Русские посиделки» в Вильнюсе с 2002 года.



Стою у алтаря

Стою у алтаря... в костёле.
Что скажешь мне, литовский Бог,
Мне, православной, не по воле
Заблудшей в твой чертог?
Молчишь, величьем окружённый.
У твоего ли алтаря
Нас, православных, брали в жёны
Твои князья?
Я... стала бы твоей княгиней,
Но, оборвав эпохи связь,
В твоей купели бледно-синей
Мой не родился князь.

Плач Ярославны

Я приду к тебе поклониться,
Упаду в твою стылу борозду.
Что ж ты, Русь моя, тройка-птица
Отдала своё тело врагу?
Иль тебе ему поклоняться?!

Иль не ты гнала не жалеючи?!
Как позволила надругаться
Над красой своей статной, девичьей?
То не ворогом в час ненастья
Поступь гордая изувечена.
То сыны, как псы, в одночасье
Душу светлую искалечили.
Ты прости же их, неразумных —
Покуражатся да опомнятся,
Отыграются в драках шумных.
Всё хорошее да исполнится...
Лейся, дождичек, дай умыться.
Осуши лицо, красно солнышко.
Дайте силушки оживиться,
Чтоб не знала ты лиха-горюшка.

Ах ты, Русь

Ах ты, Русь, моя капелька света,
Что ты хмуришься из-за бугра?
Я сейчас по-литовски одета —
Триколорная нынче пора.

Ты сносила кровавое платье,
Красным был твой излюбленный цвет.
Над тобою довлеет распятое
Безнадёжно загубленных лет.
А теперь ты цветные одежды
Шить спешишь, и двуглавый орёл
Прикрывает смущённые вежды,
Что в потерях покой не обрёл.
Я сегодня — отломленный ломтик.
Русским хлебом не пахнет мой дом.
Кто горящий мой дух охолонит
И залечит мой рваный надлом?..

Звезда полей

Опять разграблена казна,
И кто-то верит снова:
Россия вспрыгнет ото сна,
В сердцах пошлёт по-русски «на...»
Бандитские оковы.
Из заграниц звезда полей
Кривую корчит рожу.
Какого чёрта, Водолей,
Ты сушишь рот? А ну, налеп
За Колю и Серёжу!
Клубится белых яблонь дым,
Туманится ночное...
И только знает пилигрим,
Как горек рок, испытый им,
И тяжек путь изгоя...

За горизонт

За горизонт отчалила звезда,
Вещая, что к утру мороз крепчает.
Вслед за звездой, заштопав невода,
За горизонт и мой корабль отчалит.
По диким и исхоженным волнам
Пройдёт он от рождения до тризны,
Но только не причалит к берегам
Разграбленной и умершей Отчизны...
На грани века спьяну Беларусь
Прославила дремучее Полесье.
Вернула прах расхристанная Русь
Двуглавого орла из поднебесья.
А мой корабль по вспученным волнам
С литовским триколором наудачу
Несётся к европейским берегам...
Так отчего же я... сегодня плачу?..

Тихая Родина

Стынет опять непогодина —
Захороводил февраль...
Как же ты, тихая Родина?..
Снеги завьюжили даль...
А по весне звонким гомоном
Птицы разбудят тебя.
Только пустынно и голодно
Нынче на жухлых полях.
Филин бездомно заушает,
Ветер калитку качнёт
И одичалыми муками
В брошенной хате замрёт...
Сердцу забиться в народе бы,
Да не угодно судьбе.
Милая тихая Родина,
Как же... без сердца... тебе?..

Принесу я Богу душу

Принесу я Богу душу
И скажу: «Бери, что есть.
Можешь трясть её, как грушу...
Можешь — плюнуть,
можешь — съесть.
Только есть её не стоит —
Я несла издалека —
Нахлебалась с нею горя,
И душа моя горька.
Не трясина моя Ты душу,
Ты же видишь с высоты,
Кто в миру сегодня рушит
Православные кресты.
Под фашистские знамёна
Оголтелые встают,
Дикой злобой воспалённой
Только в душу и плюют.
Что же Ты сидишь, гадаешь?
Душу Ты мою спаси.
Ты же видишь, Ты же знаешь,
Сколько горя на Руси...»

Ночь для Вильнюса

А Вильнюс спит.
Лишь отражают тротуары
Свет фонарей в небесную обитель,
Да башня Гедимина,
как ночной смотритель,
Тревожным оком
озирает город старый.

Не спится ей...
Сырые скользкие туманы
Вползают в улочки, теряясь где-то.
Там прорастают вздохи
Вильнюсского гетто,
И беспокоят и саднят
ночные раны.
Сквозное небо
бороздят чужие птицы.
Коричневым першит простудно
одеяло.
И страшен путь
безумного начала...
Мой древний город,
что тебе сегодня
снился?..

Пасха

...а над Голгофою закат
Опять достоин воскрешенья,
И целомудренный Пилат
Выходит в ночь просить прощенья.
Неужто правда? В темноте
Не разглядеть лица Иуды...
Кому сегодня на кресте
Распятым быть во имя смуты?
И полон грусти благовест
На тихой улочке Диджэйи,
Как будто ангелы окрест
Разносят стоны паранойи...

Монисто

...камнем над пропастью...
Миг быстротечен.
Сдавленный скоростью,
выдох не вечен.
Звёздное небо
в ущелье повисло.
Был ты иль не был...
На шее — монисто
медью рассыпалось...
Тает безбрежность.
И не насытилась
выдохом нежность.
Падает небо
в глухое ненастье...
Был ты иль не был...
Как призрачно счастье...

На старом погосте

...и где-то в зарослях немых
потерянное дорогое
взывало к памяти глухих.
А рядом с ним глухонемое,
ища, топталось. Стыли ноги.
Но будто ангел на пороге
закрыв невидимые двери.
И было горько от потери.



Безбрежный русский мир

Берлинские берега

Юрий Юрукин

Родился 18 сентября 1956 года в г. Троицке (Россия). В настоящее время проживает в Германии. Профессия — рабочий. Серьёзно увлёкся литературным творчеством в 2005 году. В основном поэзией, но в последнее время начал пробовать свои силы в прозе (рассказы, очерки).

Каштаны

Рассказ

Вы когда-нибудь видели, как лопаются каштаны, если их пережарить? Нет? Значит, вам крупно повезло. Хотя, на первый взгляд, ничего страшного в этом нет. Не бог весть какое событие. Но когда это событие ведёт за собой другое, третье... и потом они вдруг так неожиданно неблагоприятно накладываются друг на друга, может произойти что-то очень невероятное.

Каштаны Сергей купил в магазине просто так, ради любопытства. Ну, не ел человек такое никогда в жизни. Что же тут особенного? Это растение как-то не имело привычки расти где-нибудь на Урале, где они с Наташкой прожили большую часть своей жизни, пока не уехали в Германию. При виде этих ничем не примечательных и невзрачных плодов, лежащих в картонных коробках в супермаркете, в воображении Сергея почему-то тут же возникли тёплое южное море, пальмы, ласковый прибой, лениво накатывающий прохладной волной на песчаный берег и омывающий его натруженные ноги, и уютный курортный город. И не какой-нибудь, а Одесса. Одесса, о которой он так много когда-то в детстве читал, смотрел захватывающие фильмы и мечтал хоть раз в жизни пройтись по знаменитой Дерibasовской или Молдаванке, мимо Дюка и... Да мало ли где ещё можно вдруг на углу какой-нибудь тихой улочки встретить продавца каштанов, который, рассыпая вокруг себя перлы неповторимого одесского юмора, жарит их на большой сковородке, прямо под открытым небом, и почувствовать наконец-то колорит этого незабываемого места, невысказанного по понятиям Сергея без запаха этих чудесных плодов, разносящегося по окрестностям, будоражащего сознание и возбуждающего аппетит. В них он видел что-то, напоминающее детство: дым костра, аромат печёной картошки и непередаваемое чувство романтики. И так захотелось их попробовать! Тем более что желание полакомиться ими подогрела ещё и простота приготовления. Если бы он только мог знать, чем это может для него закончиться! Но не умея предугадывать будущее и поэтому пребывая пока ещё в совершенном неведении и спокойствии, он подумал, что неплохо бы разнообразить стол чем-то необычным. Ананасы, киви, бананы давно уже приелись. Хотелось чего-то новенького. И тут, как на грех, попались ему на глаза эти злосчастные каштаны. Ну как не взять хотя бы килограммчик?

Дома он положил их в шкафчик и за делами поначалу даже успел подзабыть об этом, но вечером, пока жена с тещей, приехавшей полтора года назад «на недельку» навестить любимого внука, да так и оставшейся у них по сей день, смотрели свой нескончаемый сериал, а его трёхлетний сын Егор был занят ремонтом очередной машинки, усердно отламывая последнее колесо, зайдя случайно на кухню и решив воспользоваться удачным моментом и под хорошее настроение выпить немного вина, задался вопросом: «А чем бы это закусить?» Тут он и вспомнил о недавней своей покупке. Как их готовить он, понятно, не имел ни малейшего представления, да и жена вряд ли была ему здесь помощницей. Знал только, что каштаны должны быть жареными. Недолго думая, вывалил весь пакет на противень, вытащенный из духовки, и поставил на плиту, крутнув ручку на всякий случай до отказа. А пока плита нагревалась, открыл свой бар, где стояло несколько бутылок вина разных сортов. Достав одну из них, стал внимательно вчитываться в незнакомый шрифт и хоть мало что понимал, а точнее сказать, совершенно ничего не понимал из написанного, всё же дочитал до конца

и, подумав немного, достал другую. Покрутив её в руках, слегка встряхнул. Потом проверил её на свет, поднеся поближе к лампе и зачем-то понюхав, поставил обратно. Наконец взялся за третью, на которой, повторив все процедуры, и остановил свой выбор. Если честно, за несколько лет жизни в культурной Европе в винах он так и не научился разбираться, но для пущей серьёзности, да и чтобы Наташка не подумала, что он алкаш какой-то, которому всё равно, что пить, лишь бы покрепче, делал всегда именно так, и это у него уже вошло в привычку и даже стало своеобразным ритуалом. Потом он долго рассматривал горлышко, пытаясь найти красный язычок, чтобы, потянув за него, освободить пробку от фольги. Так и не найдя это место, решил сделать это по старинке, просто надрезав её снизу, и для этого достал из ящика кухонный нож. И тут за спиной Сергея раздался резкий хлопок. Сразу даже не поняв, что же, собственно, произошло, он стал медленно поворачиваться назад, и тут бабахнуло снова, залепив лицо и глаза горячей массой. «Каштаны!» — догадался он. Но было уже поздно. Они стали один за другим взрываться, как маленькие бомбочки, продающиеся во всех магазинах перед Новым годом.

Первым, не выдержав грохота кононады, заревел паровозом Егорка. Потом вбежала на кухню с перепуганным котом на руках жена. И тут раздалась серия новых залпов. Кот, исцарапав Наташку, вырвался из её рук и стремглав бросился в зал. Одним махом вскочив на сервант под самый потолок, высунул наружу свою мордочку и, почувствовав себя в безопасности, с любопытством стал наблюдать за дальнейшим ходом событий. Наташка же, закрывая глаза ладошкой, бросилась было следом, но споткнувшись обо что-то, упала, сильно ушибла коленку, да так и осталась лежать, морщась от боли. И тут вошла тёща. Можно уже догадаться, что она подумала, увидев лежащую на полу дочь и стоящего поблизости зятя, ошалело ворочающего глазами, с бутылкой вина в одной руке и с ножом в другой. «Что с тобой, доченька? Что этот изверг с тобой сделал?!» — запричитала она, наклоняясь к Наташке и увидев кровь на расцарапанном плече. — Убил. Убил-таки, гад!» «Да всё нормально, мама», — всё ещё морщась от боли в коленке, слабо простонала молодая женщина. Но тещу, принявшую уже решение, это охладить, конечно, не могло. Выпрямившись в полный рост и обжигая леденящим, полным ненависти взглядом зятя, она тихо, но очень чётко выдавила из себя: «Убийца». И тут же, резко повернувшись, ринулась в коридор, к телефону. Схватив его и нервно набрав заветный номер 112, в нетерпении стала ждать ответа, время от времени на всякий случай произнося: «Халё! Халё, полиция?» «Да какая полиция? Вы же ничего не поняли!» — пытался вразумить её Сергей, подходя к ней поближе. «А-а-а-а!» — взвизгнула она пронзительно, так что у всех на какое-то время заложило уши. Схватив с тумбочки пластмассовую мухобойку, стала, как дубинкой, отбиваться ею от него: «Не подходи ко мне, подлец! Убийца!» И юрко проскользнув вдоль стены, скрылась в ванной комнате. Глухо щёлкнул замок, и через минуту оттуда вновь послышалось: «Халё! Халё, полиция?» Сергей ещё раз попытался как-то её угомонить, но тут раздался голос его жены: «Да ладно, отстань уже от неё. Иди вон лучше успокой ребёнка». Ребёнок, в суматохе забытый всеми, орал, как оглашенный, и уже не столько от страха, сколько оттого, что взрослые, придумав для себя такую забавную игру, почему-то забыли взять его с собой, оставив одного, не считая кота, который с высоты своего положения всё так же с любопытством взирал на всё происходящее. Виножник всей этой суматохи поспешил в зал успокаивать Егорку, но это оказалось совсем не так просто. Только минут через двадцать, пообещав мальчишке купить супермашинку с не менее чем десятью колёсами, которых ему должно было бы хватить как минимум на неделю, он наконец-то смог оставить его и вернуться на кухню. Наташка сидела, прислонившись спиной к стене, и всё ещё потирала коленку. «Тебе помочь?» — спросил её незадачливый муж, осмотрев ногу и уже собравшись приподнять её с пола. «Да не надо. Сама как-нибудь», — отозвалась она. И тут из ванной комнаты послышался глухой кашель. «Тёща!» — вспомнил Сергей. О ней, пока возился с сыном да с Наташкой, он как-то совсем забыл. А зря. Это была его самая большая ошибка, повлёкшая за собой непредсказуемые и очень неприятные последствия. Но об этом неудачливый любитель каштанов ещё не знал. А пока, посмеявшись про себя над такой детской пугливостью взрослой и вполне уверенной в себе женщины, собрался уже было идти к ней, чтобы успокоить и её, но тут вдруг постучали.

Постучали как-то так робко и неуверенно, как будто соседка, вернувшаяся накануне из своего очередного «райзе», не найдя в доме соль, решила обратиться к ним за помощью. Не подозревая ничего плохого и подумав только с нескрываемым раздражением о том, кого это ещё черти принесли в столь неурочный час, он пошёл открывать двери. Больше Сергей уже ничего подумать не

успел, кроме: «Тёща! Будь она неладна! Дозвонилась-таки!». В следующее мгновение в квартире ворвалась толпа крутых мужиков со словами: «Keine Bewegung! Stehen bleiben! Polizei!» Что это «Polizei», Сергей уже догадался и сам. Трое из них, не дав опомниться, тут же повалили его на пол, придавив лицом к холодной и очень, кстати, неподходящей для этого, жёсткой кафельной плитке, выкрутили руки назад и хорошо отработанными движениями застегнули на них наручники. Остальные рассыпались по всему помещению в поисках возможных сообщников. Услышав столь необычный шум, наконец-то и тёща решила явиться всей своей тучной и нервно подрагивающей персоной на свет божий и, убедившись, что это действительно полиция, завелась с пол-оборота, начав торопливо, с такой неподдельной и драматической дрожью в голосе рассказывать, как она, поначалу спокойно сидя на диване и ничего не подозревая, вдруг услышала выстрелы... А вот здесь уже сама тёща сделала непоправимую промашку, потому что на тут же заданный молоденьким, но перспективным комиссаром полиции вопрос о том, где оружие, Сергей как-то флегматично, кивнув в сторону комнаты своей главной обвинительницы, ставшей с этой минуты, как он сгоряча про себя решил, врагом номер один, только и вымолвил: «Там». Можно себе только представить, на что стала похожа эта единственная в их доме ухоженная, вылизанная до какого-то неестественного блеска и с такой беззаветной любовью прибранная комната через пять минут. Ошарашенная низостью зятя, тёща с присущей только ей пылким, можно даже сказать, с театральным красноречием стала живо, очень убедительно жестикуюя руками, описывать события. Как она, услышав крики и стоны дочери, вбежала на кухню и, увидев её, окровавленную, лежащую на полу, ни на секунду не задумываясь, кинулась к зятю, вырвала у него нож и бутылку и тут же позвонила, куда надо, одновременно бесстрашно прикрывая дочку своим телом.

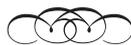
После этих слов Сергея, ещё как-то пытавшегося объяснить ситуацию, уже никто не слушал, а его жену, которая тоже могла бы что-то рассказать, прибывшая вместе с полицией бригада «скорой помощи», сделав ей на всякий случай успокаивающий укольчик и перевязав исцарапанное плечо и припухшую ногу, увезла в «Кrankenhaus» для дальнейшего обследования в надежде обнаружить ещё какие-нибудь скрытые травмы. Был и ещё один свидетель всего случившегося в этот вечер, который всё это время сидел на серванте и на безопасном расстоянии с нетерпением ждал, чем же это всё закончится, но от него-то уж точно никакой пользы ожидать не приходилось. Довольный комиссар, радостно потирая руки в предвкушении будущих благодарностей от начальства, премий и повышений в должности после столь серьёзного и так кстати свалившегося на него дела, но стараясь сохранять официальный, соответствующий моменту вид, лишь один раз задал несколько вопросов и, не дожидаясь ответа на них, словно боясь спугнуть птицу-удачу, тут же непроницаемым и не терпящим возражений голосом процедил: «Ну-ну, голубчик. Вы можете, конечно, не отвечать на вопросы, но там... — тут он неопределённо кивнул куда-то вдаль, — там у меня раскалывались и не такие!» С этими словами он, насмотревшийся, наверное, в детстве криминальных фильмов и думающий, что именно так и должен вести себя настоящий сыщик в подобных ситуациях, раздавил в руке грецкий орех, который он всё это время перекачивал в своей ладонке, ссыпал скорлупу под ноги Сергею и коротко распорядился: «В машину его». Из зала послышалось злорадное, как показалось новоиспечённому фербрехеру, то есть преступнику, «мяу».

А дальше... А что, собственно, дальше? Ничего интересного. Сплошная рутинка, так сказать. Бесконечные, по несколько раз задаваемые одни и те же вопросы в холодной, с голыми стенами комнате, при ярком свете настольной лампы, направленном прямо в глаза обвиняемому. Угрозы, запугивания и обещание на всю оставшуюся жизнь упечь бедолагу в тюрьму «плохого» следователя и увещевания и просьбы помочь им в следствии — «хорошего». Потом камера для особо опасных и мысли, мысли, мысли. Что только Сергей не передумал за это время. Конечно, в первую очередь он злился на тёщу и её зловерный язык, но постепенно перешёл на себя, ругая свою безалаберность. Ведь и правда, не мог он, что ли, сначала узнать у сведущих людей, как правильно обходиться с этими каштанами? Всё это из-за его самоуверенности. И тёща тут совершенно ни при чём. Просто в ней этот самый материнский инстинкт проснулся, что ли. Хотя, с другой стороны, Сергею-то от этого не легче. И что теперь только с ним будет? А с Наташкой? А как Егорка без отца-то? С этими грустными думками он и уснул, вернее, забылся в тревожном сне, часто вздрагивая и переживая вновь и вновь всё случившееся, пытаясь что-то кому-то ещё доказать,

впадая в отчаяние и даже устраивая во сне побег. Просыпался в холодном поту, не понимая, где он и что с ним, но, вспомнив всё, старался себя успокоить и с зыбкой надеждой засыпал вновь.

И всё же на следующий день, под вечер, хоть и с большим сожалением, его выпустили. Оказывается, Наташке, вернувшейся целёхонькой и вполне здоровой из больницы, удалось-таки переубедить мать и заставить её изменить своё мнение, сумев доказать, что всё было совсем не так, как она подумала. Да тёща и сама уже стала сомневаться в своей правоте и со свойственной ей энергией, так же, как она смогла упечь зятя за решётку, кинулась на следующее же утро его спасать. И хоть на участке и отнеслись с подозрением к столь поспешно изменённым показаниям на прямо противоположные и даже пытались её урезонить и угрожали при этом страшными статьями Уголовного кодекса за лжесвидетельствование, всё же она, несмотря ни на что, настаивала на своём, призывая в свидетели не кого-нибудь, а самого Бога и восклицая при этом: «Пусть лучше я сяду, но моего любимого зятя отпустите! Он ни в чём не виноват, это я сослепу ничего не поняла. Судите меня, дуру! Верните невинного человека его семье!» Понятно, что после такого мощного словесного напора ни одна криминальная полиция не смогла бы устоять.

И вот, выйдя на свободу и радуясь, конечно, этому невероятно, Сергей всё-таки поначалу ещё какое-то время дулся на свою «спасительницу», но постепенно успокоился. Душа после всех этих встрясок вновь вернулась в своё обычное прозябающе-благодарное состояние. Но каштаны, так ни разу их и не попробовав, он возненавидел на всю оставшуюся жизнь, да и желание посетить когда-нибудь город своей мечты Одессу как-то незаметно в нём улетучилось и уже не будоражило при виде красивых и заманивающих буклетов и рекламных роликов по телеку. Тем более что и каштаны в Одессе, как он узнал позже, растут совершенно несъедобные. Вот так-то!



Берега Православия

Иеромонах Иосиф

Иеромонах Иосиф Задонский. Насельник Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря с августа 1994 года. Автор двух сборников стихов: «Келейные стихи» и «Надежда не потеряна!», а также статей и проповедей на различные темы.

Духовное озарение. Из книги проповедей

Как бы медленно, уныло и тягостно не тянулась временами для человека его земная жизнь, какой бы она не казалась ему долгой, в конце концов, он видит перед собой тот факт, что жизнь, оказываясь уже прошла, причём прошла, а вернее, пролетела — молниеносно.

Остались лишь в сознании эпизоды этой жизни. Какого качества были эпизоды, такими будут и воспоминания, и ощущения, и пожелания.

Если жизнь прошла в духовной борьбе и стремлении человека к совершенствованию своей души, значит, такие же будут чувства и воспоминания.

Если же жизнь прошла в бездействии и стремлении человека к удовлетворению никогда не насыщаемых страстей и желаний, значит, такими будут и чувства, и воспоминания.

Кто чем жил, тем и вознаградится.

Поэтому спешите делать добро, спешите привести свою душу к совершенствованию, то есть к состоянию святости. Стремитесь жить по Евангелию, стремитесь к покаянию и сокрушению сердечному, к любви ко всем людям, к милосердию и состраданию к ближнему, который почти всегда находится с нами рядом.

Когда же потребуется защитить правду от посягательства лукавых человек, стремитесь к твёрдости и бескомпромиссности или, по крайней мере, устранившись от участия в неправде и не поддерживайте её даже малейшим каким-либо участием.

Пусть совесть остаётся чистой и душа спокойной. Чего всем по-братски и желаю. Аминь!

* * *

Иному человеку можно сказать о его неправильном в чём-то поведении. Сказать с любовью и кротостью. Другому человеку тоже можно сказать, но с трудом, потому что он с трудом (неохотой и нежеланием), но всё же сможет понять причину своего неправильного поведения и принять дружеское вразумление и наставление.

Третьему вообще ничего нельзя говорить. За таких нужно только молиться.

А иным нужна профилактика. Профилактика означает: поставить зарвавшегося человека на его место. Чтобы он знал край и не падал. Такая профилактика очень полезна некоторым людям, потому что по-другому они не понимают или же просто не хотят понимать. Да! Иногда нужно говорить с ущербом для себя, для своего внутреннего человека. Это тоже любовь. Истинная и нелицемерная. Это жертвование своим спокойствием ради пользы ближнего. С каждым нужно говорить на том языке, который он способен воспринять и усвоить.

А насчёт близкого общения можно сказать словами псалмопевца Царя Давида: «С преподобным — преподобен будешь, со избранным — избран будешь, ну, а со строптивым, конечно же, — развратишься». Аминь.

* * *

Мне лично неприятно смотреть на то, как наши дружат с сотовыми телефонами: стоят или ходят и решают при помощи этого вспомогательного средства важные проблемы. Сотовый телефон — карманная радиостанция — приёмопередатчик. И в кельях бывает слышна беседа двухсторонняя:

решение проблем или просто? Со всем миром можно переговорить, всё узнать, что надо — сообщить. Да! «Чем бы дитя не тешилось ...» Не в осуждение говорю, нет, в сожаление.

По видимому, не каждый человек знает, что есть у него, внутри его самого, приёмопередатчик, — радиостанция огромной мощности, которую не нужно покупать, платить за неё деньги, да ещё и за заплаченные деньги вредить своему духовному и телесному здоровью (имеются в виду сотовые телефоны).

Так вот, есть у человека приёмопередатчик в нём самом, который нужно только настроить на соответствующую волну и можно будет по нему беседовать с Богом. Этот приёмопередатчик — человеческое сердце, которое способно при чистоте сердечной и смирении услышать Бога, Божию Матерь, Святых Божиих.

Тот же передатчик (сотовые телефоны) никогда не даст нам таких результатов, какие может дать нам сердечная молитва и сердце сокрушённое. Неужели люди не видят, не чувствуют, что они попались на удочку так, как попадает щука на живца в руки рыбака. В чьи руки они попались? Думаю, ответ на этот вопрос для каждого ясен и понятен.

Да! Раньше не было сотовых телефонов, были только стационарные. Однако все проблемы прекрасно разрешались. Сейчас есть и сотовые телефоны, и всё, а проблемы почему-то решаются с великим трудом.

Почему? Да потому что оставили молитву, нищету добровольную, оставили исполнение заповедей Евангельских. Оставили Христа и пошли на поводу у князя мира сего, забавляясь его «игрушками».

Такое отступление бесследно не проходит. Всё имеет свои последствия. Что сеет человек, то и пожнёт. Поэтому опомнись, гомо сапиенс — человек разумный, будь в самом деле разумным человеком, а не наоборот. Имей в себе соль благодати Божией, имей решимость противостоять греховным влияниям и козням лукаваго. Имей рассуждение. Заботься о своём спасении и спасении ближнего своего. Помогите нам всем Господи в этом. Аминь.

Духовное озарение

«Ревнуйте же дарований больших: и ещё по првосхождению путь вам показую»

(1 Кор. 12, 31)

Как часто бывает ошибочным наше поверхностное мнение о людях, приходящее к нам через зрение. Вольно или невольно глядим мы время от времени на внешнее поведение людей, глядим и не видим их истинного духовного мира, их внутреннего состояния.

Как часто мы ошибаемся и заблуждаемся в своих взглядах и оценках, допуская действие страстей в наши души, а от этого согрешая и делом, и словом, и помышлением.

Напрасное подозрение, недоброжелательность, памятозлобие, осуждение, лицеприятие, лесть и самолюбие и прочее многое наше искажённо-греховное на деле оказывается производным всего лишь одного, самого главного греха — гордости.

Этот главный грех, недуг затмевает в людях, которые предстают перед нами в определённое время, их лучшие стороны и не желает видеть высоких и прекрасных моментов проявления человеческого духа. Не всегда желает слышать он и слова духовных назиданий и утешений, исходящие от окружающих нас братьев и сестёр для нашей же пользы.

Духовные очи наши, как правило, в такие моменты бывают закрыты, или же по-другому — ослеплены грехом. Иногда под действием благодати Божией, они неожиданно открываются. Тогда необыкновенные вещи в обыкновенных людях могут открыться и представиться нашему удивлённому взору.

У человека, совсем неожиданно для него, открывается на какое-то время духовное зрение, которое по-другому можно назвать духовным озарением. Духовные немощи и недостатки, от которых особенно в наше время не свободен почти каждый человек, в этот момент куда-то уходят. Не видит их уже человек в ближнем своём, а видит только необыкновенную красоту его души и величие духа.

Подтверждение такому заключению можно показать на конкретном примере. Вот что произошло с одним человеком. После крестного хода случайный взгляд его остановился на стоящих недалеко от него женщинах, участницах крестного хода. В этот самый момент весьма неожиданно и на короткое время приоткрыта и показана была ему духовная красота этих женщин. Удивляясь тихой радостью, этот человек увидел перед собой уже не женщин в прямом понимании этого слова, а «жён-мироносиц!» Такое сравнение и ощущение быстро прошло через сознание видевшего эту картину. Это, если хотите, чудесное явление, которое осенило всего человека теплотой Божией милости и благодати.

Подобные моменты иногда даруются нам не только на примерах с людьми, но бывают они и на примерах с природой, которая вдруг преображается, оживотворяется и одухотворяется перед раскрывшимся на какое-то время взором человека, поражая его своим необыкновенным видом и духовной красотой.

Такое восприятие и такое состояние души можно назвать чудом. Чудом преображения души. Радостью и веселием духа. Чувствует такое изменение в человеке дух, радуется душа, удивляется взор, смиряется и тело.

Вот оно — состояние истинного смирения, про которое мы так часто любим говорить. Смирения перед чудом, которое дарит нам кроткое и блаженное состояние. В таком состоянии человек умиляется и всех любит, все для него становятся хорошими, что и должно бы быть в действительности всегда с нами, и чего, увы, в действительности с нами не бывает.

В такие моменты мы видим, как осуществляются слова Священного Писания: «...Нет уже ни мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). Удивлённые взор, сердце и всё существо человеческое по милости Божией умиротворяются и тихо радуются такому состоянию.

Благодать Божия, всепобеждающая наши страсти и козни вражды, веселит человека. Под её действием уходит всё плотское, уходит брань. Такое видение ближнего своего даётся не часто, а только иногда. О подобном состоянии души, только, наверное, духовно более сильном, писал когда-то Святитель Николай Сербский в «Миссионерских письмах».

«Христос Воскресе, — поют сербы, копты, армяне, болгары, абиссинцы — все, каждый на своём языке и на свой распев. Но прекрасно поют все. Скажу вам: все люди вокруг нас выглядят прекрасными и добрыми, как Ангелы. Это такое чудо, какое только воскресший Христос может сотворить. Это и есть единственная основа братства между людьми — видеть всех людей добрыми и прекрасными» (Письмо «О пасхальной службе в Иерусалиме»).

Вот, оказывается, в чём состоит смысл нашей жизни: в обретении и сохранении Пасхальной радости в нашей душе, когда все люди для нас становятся как Ангелы. Что для этого нужно? Нужно стараться жить христианской жизнью, бороться с грехом, всех любить, прощать, то есть подвизаться на духовном поприще в меру своих сил.

Поэтому подвизайтесь! И увидите озарения, такие же или подобные им, или даже ещё большие. Только не нужно самим желать и ждать чуда. Мы недостойны чуда. Оно придёт для каждого в своё время в меру его духовного возраста исключительно по милости Божией, а не по нашим заслугам.

Путь к духовному совершенствованию себя открыт для всех. Божественная благодать учит нас любить всех людей, невзирая на лица.

Потому-то такое духовное озарение-наблюдение всем нам напоминает о том, что нельзя судить никого из людей, кем бы они ни были, по их внешним некоторым поступкам, которые кажутся нам в чём-то неправильными. «Лучше ошибиться в человеке, нежели думать о нём хуже, чем он есть на самом деле».

Все мы немощны, все согрешаем, но внутреннего, сокровенного человека мы так часто друг у друга не видим и не знаем, ибо он сокрыт от нас до определённого времени. Поэтому будем молиться друг за друга, прощать друг другу все мелкие и крупные обиды и нестроения, будем стремиться любить друг друга.

«Заповедь новую даю Вам, да любите друг друга ...» (Ин. 13, 34) Аминь.

Об индивидуальном подходе к человеку

В наше непростое время, время умножения разных беззаконий на земле, приходится снова говорить об индивидуальном подходе к каждому верующему человеку, желающему спасения своей души. Ибо каждый человек, живущий на земле, неповторим, и другого такого же человека не было и не будет никогда.

Человек заключает в самом себе всю вселенную, своего рода микрокосмос. Мы отличаемся друг от друга внешними — физическими и внутренними — духовными силами. Отличаемся телосложением и способностями духовными и телесными. Тело наше может быть закалённым, тренированным и физически выносливым, оно может быть и слабым, подверженным различным заболеваниям. И душа наша так же, как и тело, может быть или сильной, тренированной и выносливой к различным жизненным воздействиям, или же слабой, незакалённой и подверженной различным заболеваниям.

Причинами болезни тела часто является болезнь душевная. Излечившись от душевного недуга, человек получает здравие и телу. Поэтому взаимосвязь тела и души несомненна. Только душа должна управлять телом, а тело должно подчиняться душе, а не наоборот.

В наше время, к сожалению, часто можно наблюдать обратное явление. Прав был поэт, сказавший когда-то: «Не плоть, а дух растлился в наши дни». Именно — дух, а раз дух растлился, это повело за собой, как следствие, растрепание всего тела и его последующую болезнь.

Болезнь же духа сделала человека немощным, унылым и непригодным ни на какое доброе дело. Всё стало даваться человеку с великим трудом: желание жить благочестиво и здравствовать духовно погасло из-за действия в человеке различных страстей.

Но не стоит отрицать и то, что причинами духовной немощи и телесной болезни человека могут быть различные жизненные факторы: неподходящий климат, отсутствие режима питания, особенности жизни, очень часто извращённые, дурная наследственность и многое другое.

Но первопричиной, как уже было сказано, является растрепанный дух, ведущий за болезнью души болезнь всего тела. Современный человек живёт в электронном мире, полном иллюзий, живёт фантастикой, то есть находится под воздействием враждебных нам сил — сил зла и беззакония.

Верующий человек — совсем другое дело, он живёт иначе. Но и он подвержен действию различных греховных навыков, и его природа разобщена грехом. Ум, воля и сердце живут порознь, и, как лебедь, рак и щука, рвутся каждый в свою сторону. Из-за такого нестроения и вся жизнь получается такой же разобщённой и неполноценной.

Процесс воссоединения ума и сердца — процесс трудный, постепенный и довольно болезненный. И на приходах, и в монастырях верующие люди имеют своего духовника, своего батюшку, который пасёт их жезлом заповедей Христовых и должен привести алчущие и жаждущие души ко спасению. А это совсем не простое дело.

Вот тут-то и следует сказать об индивидуальном подходе в духовной жизни к каждому конкретному живому человеку.

Если каждый человек — индивид, который никогда не повторялся и никогда не будет повторён, ибо Творец создал его уникальным и неповторимым, то, естественно, и подход к нему должен быть строго индивидуальным. Пути руководства и наставления в духовной жизни должны быть даны сугубо только ему и никому другому.

Должны быть учтены, прежде всего, особенности его души, состояние духа и телесное состояние. А так как всё это находится, как уже упоминалось, часто в крайне болезненном и разобщённом состоянии, то и врачевание, прежде всего духовное, а потом уже и телесное, должно быть применимо крайне осторожно и внимательно.

Молитвенное правило, пост, качество и количество пищи, время, отведённое для сна и отдыха, чтение духовных книг, послушание и всё остальное должны подбираться духовным чадам строго индивидуально и с тщательным рассмотрением и испытанием их духовного возраста и состояния.

В народе не зря говорят: «Невольник — не богомольник». Послушание должно быть основано на доброй воле, на самосознании, на желании самого человека идти указываемым ему духовным отцом путём, а не быть подгоняемым из-под палки. Если человек сам не захочет своего спасения, никакая палка тут не поможет, а скорее, наоборот — только озлобит и ожесточит его.

Хорошо читать о подвигах преподобного Антония Великого и послушании Павла Препростого, но не стоит забывать и о том, что в наше время такие подвиги и такое послушание большинству людей не даны «по причине гордости, проникшей в каждого человека». Об этом же писал подвижник нашего времени иеромонах Серафим (Роуз): «Мы должны глубоко понять, в какие времена живём, как на самом деле мы мало знаем и чувствуем наше Православие, как мы далеки не только от святых древностей, но даже от простых православных христиан, живших сто лет тому назад или даже одно поколение назад, и как сильно нам надо стремиться, чтобы сегодня просто выжить, как православным христианам».

Большей частью мы все духовно больны, поэтому желание самого больного исцелиться от своей болезни имеет первостепенное значение. В духовном руководстве рассуждение и любовь должны быть присущи нашему времени.

«Суббота для человека, а не человек для субботы», — учит нас Священное Писание. Об этом нужно помнить. Оттого-то требовать от человека формального выполнения устава не всегда в наше время бывает уместно. Нужна и любовь — главный христианский принцип, нужно и снисхождение к немощам брата своего.

Молитвенное правило и пост даются каждому соответственно его духовным и телесным силам. При духовных и физических перегрузках, болезнях, немощах, они могут значительно ослабляться или даже на какое-то время почти совсем оставляться.

Чистота души и благодатность Сергия Радонежского и Серафима Саровского для большинства из нас есть несбыточная мечта, поэтому и не стоит приступать к несбыточному, лучше быть поскромнее в желаниях. Скромность приближает нас к смирению, а значит, и к спасению.

Качество и количество пищи, принимаемой нами, тоже вопрос немаловажный для большинства из нас. Не всегда вкусная пища может служить человеку именно лакомством, как часто об этом можно слышать. Бывает, что требуется она человеку по надобности его ослабленному естеству, а не по искушению. Об этом тоже нужно помнить. Одна подвижница, схимонахиня, во время своей болезни захотела рыбу. Она не знала точно, искушение это или того требует её ослабленное естество. И вот, помолвившись, она предала себя воле Божией. Через некоторое время ей принесли кусок рыбы. Значит, Господь через определённого человека послал ей некоторое подкрепление в виде этого куска. Так же и всё то, что сладкое, не всегда стоит относить к сладкоядению. Как говорят отцы, «большому сладкое нужно, как лекарство». И здесь тоже нужен индивидуальный подход и рассуждение.

И время, отведённое для сна и отдыха, тоже должно быть для всех разным. У кого оно составляет 4 часа, у кого 6 или же 8, а у больного и немощного оно должно составлять столько, сколько ему необходимо для восстановления его сил, и в этом не будет никакого греха.

Так же и во всём остальном. Нельзя только внешне, формально и холодно участвовать в духовной жизни. Прежде всего, должно быть проявление внутренней, невидимой жизни — жизни духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Вот основа духовной жизни. Создание нетленной красоты животворящего Духа, создание храма Божиего в самом себе, в своём сердце и своей душе, — вот что должно быть главным в духовной жизни. А ко всему этому нужен индивидуальный, опытный и постепенный подход. Чего всем с участием и желаю. Аминь.

* * *

22 декабря 2004 года, после Литургии, в день праздника иконы Божией Матери «Нечаянная радость», наконец-то, после долгих и безуспешных попыток, удалось съездить в Елец на источник Святаго Пророка Божия Или.

Во время выезда из монастыря было 3° мороза, время примерно 12 часов 35 минут дня.

Источник нашли не сразу, так как всё было занесено снегом, и правильно сориентироваться удалось не сразу. Милостью Божией увидели идущего с источника человека и у него уточнили нужное нам направление.

По тропинке в снегу спустились вниз, в глубокий лог, и подошли к источнику. Он бил из-под горы, вода стекала в большую котловину, напоминающую большую чашу. Вода была очень чистая.

Набрали воды в банки, поставили в сторону и начали по очереди (нас было двое) читать акафист Святому Пророку Божию Илии. По прочтению акафиста спели величание, помолились ещё немного, попили воды. Вода была очень вкусная. Появилось желание искупаться. Но... промедлили в нерешительности, и потом это желание ушло.

Ограничились тем, что смочили голову водой. Вода была очень тёплая. Уходить не хотелось.. Немного постояв, радостные, мы быстро пошли в гору.

Было ощущение присутствия благодати Божией. И желание: только домой, не заезжая никуда! Только в Задонск! Только в монастырь! И как можно быстрее. Сберечь, сохранить благодать.

Когда выбрались на трассу, водитель обратил моё внимание на то место, откуда мы только что выехали. Несмотря на то, что день был пасмурный, небо открылось. Виден был свет, похожий на солнечный. Из этого солнечного небесного окна шла ровная, тоже солнечная полоса — дорога до самой земли. Времени было около пятнадцати часов дня.

Мы видели и чувствовали знамение милости Божией к нам, милость Божией Матери и Святого Пророка Божия Илии.

Сначала я попытался не придавать этому особого значения, но в дальнейшем не выдержал и записал, чтобы не забыть со временем. Ведь это было явное чудо!

И ещё, чуть не забыл. На источнике находилась икона Пророка Божия Илии, к которой мы приложились после чтения акафиста. Вверху находился Крест. И стояла ещё какая-то одна, занесённая снегом и побелевшая (по-видимому от солнца и дождей) иконка. Когда я попросил водителя посмотреть, что это за икона, он поднялся на два бетонных выступа над источником, взял в руки и подал мне эту икону. Передо мной было ещё одно чудо. Это была икона Божией Матери «Нечаянная радость», день памяти которой мы сегодня праздновали и в день памяти которой мы наконец-то попали к Святому Пророку Божию Илии после долгих попыток. И это было совсем не случайно, это было промыслительно. Об этом убедительно говорила радость в душе и милость Божия на Небе.

Теперь бы домой, сохранить бы благодать. Такое было сильное желание... Но так хотелось и думалось мне, а у водителя были свои планы. Ему нужно было заехать в город, в магазин. Как нежелательно в такой момент...

Поехали. За вольными и невольными взглядами на мир произошло и соприкосновение с ним, из-за этого начало происходить в душе умаление духовной радости, так щедро нам дарованной.

Очень захотелось мне вернуться снова на источник, как будто меня кто-то туда звал. Я подумал: «А может, это искушение?» Я не знал, что это было в действительности, но водителю предложил вернуться, чтобы, дескать, набрать воды в источнике для него, так как у него не было посуды, и он для себя не набрал воды.

Я хотел с ним поделиться той водой, которую я набрал в источнике, но он отказался.

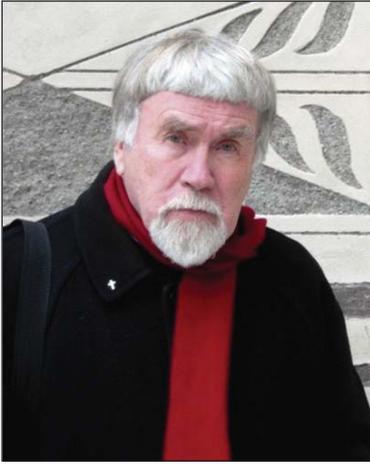
Отказался он и от обратной поездки к источнику. Ну что же, ничего не поделаешь, может, так и нужно. Теперь мы поехали уже домой, в долгожданный Задонск, который нетерпеливо нас ждал, но поехали уже без той духовной радости, которая была нам дана и которую мы растеряли в мирской суете города.

Господи, помилуй нас! Господи, прости! Святой Пророк Божий Илие, прости нас и моли Бога о нас! Пресвятая Богородице, прости нас и помогай нам! Слава Богу за всё. Аминь.



Между берегами

Валентин Курбатов



Валентин Яковлевич Курбатов — литературный критик. Родился в 1939 году в Ульяновской области. Член Академии российской словесности. Член Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов. Действительный член Академии философии хозяйства. Входит в состав редколлегии журналов «Литературная учеба», «День и ночь», «Дружба народов», «Роман-газета», «Берега». Член Общественной палаты России. Член президентского Совета по культуре. Лауреат премии им. Л.Н. Толстого, Горьковской и Новой Пушкинской премии.

Михайловское — пространство игры

Он весь — дитя добра и света!
А.Блок

Весь мир — театр, и люди в нём актёры.
В.Шекспир

Мы давно повадились говорить об энергетике, биополях и об ауре святых мест. Это стало модой и несчастьем. Люди с осторожными глазами, оглянувшись, не видит ли кто, привороживают эту энергетику в Тарханах, Спасском, в Ясной и, конечно, в Михайловском. Из Михайловского её вывозят беспощинно с особенным размахом, потому что здесь её запасы неисчерпаемы. Пусть везут. Не жалко. Глядишь, однажды увидят в своей внутренней тьме не отвлечённую «энергетику», а золотой пушкинский свет и поймут, что они тоже только участники длящегося, счастливого, молодого пушкинского театра, занавес которого не закрывается здесь вот уже скоро двести лет.

За пятнадцать лет Пушкинского театрального фестиваля мы поняли, что у Пушкина можно сыграть всё — «Бориса», и «Нулина», «Капитанскую дочку» и «Сказку о Медведихе», «Египетские ночи» и «Полтаву». И сыграть, не ломая пушкинскую стихию, потому что она внутренне сценична. Не буду умствовать, откуда это происходит — от пушкинской ли потусторонности, с которой он смотрит на мир, как всякий великий художник, который из черновика жизни делает небесный текст сочинения. Или, напротив, — от совершенной пушкинской слиянности с этим миром, в котором он может быть равно Моцартом и Сальери, Борисом и Самозванцем, Лаурой и Дон Гуаном, Савельичем и Швабриным, метелью и зноем, луною и полем. Гений тем и отличен от нашего брата, что, подобно ленте Мёбиуса, он не знает внутреннего и внешнего, и то, что у другого звалось бы «семь пятниц на неделе», у него — естественность и правда, Брехт и Станиславский.

Выглянем в окно вместе с ним.

Зима. Что делать нам в деревне?
... Утихла ли метель?.. и можно ли постель
покинуть для седла иль лучше до обеда
возиться с старыми журналами соседа?
... По капле медленно глотаю скуки яд...
Ко звуку звук нейдёт...
... Иду в гостиную, там слышу разговор
О близких выборах, о сахарном заводе...
... Тоска!...
... Но если под вечер в печальное селенье...

...Две белокурые, две стройные сестрицы...
Как жизнь, о, Боже мой, становится полна!
Сначала косвенно-внимательные взоры,
Потом слов несколько, а там и разговоры...

...И дева в сумерки выходит на крыльцо...

Хоть зажмуривайся — счастье и полёт! Где тоска выборов, скука деревенской экономики и халатное книжное комплектование помещичьих библиотек с их старыми журналами? Один поцелуй горит на морозе, как в финале немого фильма с Верой Холодной и Иваном Мозжухиным.

Ведь это не написано — это сыграно перед нами здесь и сейчас!

И этот знаменитый «камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе подле ветки увядшего гелиотропа». Увидел себя в аллее со стороны с Анной Петровной в прелестной сцене и вздохнул. А она, дура рассудительная, кинулась опровергать — ни камня, ни ветки, споткнулась о корни. Ей сюжет и сцену предлагают, а она — скуку фотографии. Вот за это он и назовёт её «прелестная вещь»!

А «Барышня-крестьянка», уже столько раз искушавшая театр (и на нашей сцене искусившая даже два раза) с улыбочивым переодеванием молодых людей и победой этого переодевания над враждой отцов — деревенских Монтекки и Капулетти. Ах, эти уездные барышни! Они могли бы сыграть это и в Тригорском.

А переодевания самого Пушкина. Как это описано у доброго опочецкого купца Ивана Павлова: «О девятой пятнице в Святых Горах имел я счастье видеть Александра Сергеевича, господина Пушкина, который некоторым образом удивил странною своею одеждою: у него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубою ленточкою, так же с предлинными ногтями, которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю около полдюжины». Ну, это для Ивана Игнатьевича видеть его таким франтом было счастьем, а люди потрезвее Ивана Игнатьевича глядели на это по-другому: «сим убором чудным, безнравственным и безрассудным была весьма огорчена псковская дама Дурина».

Думаю, славная госпожа Дурина не Онегиным была огорчена — где ей было с ним пересечься? — а им, им — Александром Сергеевичем. В чём он являлся в Тригорское, чтобы прыгать в окно (и ведь, как вспоминала Мария Ивановна Осипова, во все окна перелазил, чтобы сразу весь дом вверх дном)? Или в немыслимой шляпе верхом на вороном аргамаче, или в той же красной рубахе на нарочито низкой крестьянской кляче, чтобы ноги чуть не по земле волочились. И раз даже, говорят, явился монахом. А где было взять подрясник? Не шить же специально. Поди, у попа Шкоды и одолжил, который не за такое же ли озорство и потерял роскошную фамилию Илларион Раевский, чтобы остаться в Михайловской памяти Шкодой.

А вспомните-ка день пушкинского приезда в Михайловское в изложении Семёна Степановича Гейченко, как Пётр Исаакович Ганнибал врывается с немыслимым выездом, «с порога крича:

— Сестрица, ангел, богиня! Братец, милый, ангел! Ручку, ручку! Христос Воскресе и ангел вопияше. Возрадуйтесь и возвеселитесь! Наш орёл Александр Сергеевич в родные края прибыл... А я к вам марш-марш на полном аллюре, как архангел Гавриил с пальмовой ветвью.

И тут же:

— Митька, музыку. Полный ход! Огонь! Победа! Ура!»

И папенька Сергей Львович как мог обоиться без театра, «шествуя вверх по лестнице, простирая руки, словно библейский старец, встречающий блудного сына:

— Слуги и рабы господина вашего! Велите заколоть лучшего агнца, приготовьте плоды, вина и брашна! Мой блудный сын грядёт в отчий дом!»

Коли это и не совсем фотография, то отличие разве только в деталях, а существо верно — играть здесь умели.

И, конечно, когда устроился через столетие Пушкинский заповедник, этот воздух игры должен был вернуться. Не знаю, как до войны — время только укладывалось, и человек к нему приноравливался — там, может, и не до театра было. А после войны, когда вздохнули посвободнее и когда Гейченко укрепился и мог уже не оглядываться на красные околыши фуражек НКВД, воз-

дух пушкинской свободы и игры не мог не вернуться, иначе какой же это был бы Пушкинский заповедник?

И тут уж столько встреч, столько и воспоминаний. Одно из самых ранних я услышал недавно от старейшего теперь сотрудника Заповедника Владимира Семёновича Бозырева — рассказчика вполне Семён-Степанывичевой школы:

— Был у нас после войны лесник и специалист по ещё мертвым тогда паркам Модест Егоров, которого все вслед за его женой звали Модя. Жена приезжала только на лето, как на юг, и с осени Модя скучал. Не утешала его и любимая охота. Когда его приходили звать на зайца, Модя лежал в своей избе в Савкине и постреливал из мелкашки мух на потолке. «Я устал. Я так полежу». И лежал дальше. А в Новый год, — торопился рассказать самое главное Владимир Семёнович, — мы собрались у Семёна. Да и всё-то нас тогда было всего ничего. Собирались мы с женой, Теплов с женой и Модя с граммофоном и старорежимными вальсами. И однажды, после такого Нового года, когда он возвращался в своё Савкино, — а мы ходили тогда по Маленцу, — он увидел, что у «холма лесистого» его поджидают волки (дело тогда обычное). И уж ни вперёд, ни назад — весь на виду. И Модя осторожно завёл граммофон и хватил таким маршем Преображенского полка, что волки кинулись врассыпную и с той поры стали обходить Савкино за версту.

А уж про театр самого Семёна Степановича я боюсь и начинать. Опять же все знают и всяк может свой рассказ привести — тут запасы по-русски не считаны. И переодевание во всё, что привозилось, и сблочивание мундира со всякого заезжего генерала, чтобы тут же выйти в этом сиянии во двор и нахмурить брови и устроить всем фронт и парад, и любезная ему роль царя Максимельяна, в которой он соревновался с Юрским, и пугало в саду, всегда одетое по моде Семён Степанывича в его шарфы и одежды — того же росту и лихости с такой же потерянной рукой. Он непременно снимал его на карточку и рассылал друзьям с подписью «портрет Семёна Степанывича — 67, 68, 72» и так до поры, пока был здоров.

Его экскурсии были театральны с петергофской поры, когда он рассказывал о жизни императрицы Екатерины в красном камзоле и пудреном парике, соря французскими словами, а в Григории Распутине — в рубахе распояской и босиком, мешая словарь улицы и церкви. И так в один день с десяток раз во всех вариантах, примечая в толпе одно постоянное во всех экскурсиях и только всё выше и выше в удивлении и восхищении поднимающее брови лицо. Лицо оказалось маршалом Тухачевским, чей штаб располагался о ту пору в штакешнейдеровском Николаевском дворце. Маршал напрасно ждал, когда этот фонтан иссякнет.

Иногда казалось, что Семён Степанович жил триста лет, потому что рассказывал об интимной жизни Елисавет или Павла Петровича подробности, которые мог знать только очевидец. Я вспоминал в книжке «Домовой», как за завтраком в Михайловском на масленицу, макая блин в сметану, он, глядя на падающую каплю, успевал, пока она долетит до скатерти, сымпровизировать диалог Николая Александровича и Александры Фёдоровны.

— Ваше Величество, — шутил Государь, — скажите, пожалуйста, слово «блин», — предвидя, что чужая фонетика будет затруднительна для императрицы. Лицо Александры Фёдоровны темнело: «Ти сам есть просто плёхой немес, в тебе русский кроф польбанка». И она, хлопнув дверью, выходила из столовой. Шутка не удалась. Николай Александрович нахмурился и, бросив салфетку, устремился следом. Навстречу шёл с докладом ослепительный двухметровый Сергей Юльич Витте, самой ослепительностью оскорбляя подростковый вид Государя.

— Ваше Величество, Вы давно смотрели в зеркало?

Этого ещё не хватало.

— Шш-то такое?

Государь поворачивался к дверному афиладному зеркалу и видел, что у него с уса на только что начищенный матросом Деревянко сапог падала капля сметаны с тем нежным весенним маслянистым звуком «пли-ин», с каким императрица могла бы сказать слово «блин», если бы попыталась сказать его.

Он не думал ни удивить, ни рассмешить единственного слушателя и зрителя. Воображение опережало мысль, и он радовался ему, как привету пушкинской музыки, которая заглядывала здесь во всякие двери.

На веранду за славным обедом мог влететь молодец с грамотой, извещавшей, что хозяйствен-

ный двор объявляет «бунт бессмысленный и беспощадный» и требует Директора для переговоров о нуждах «труждающихся и обременённых». Гонец улетал. Тотчас следовала команда хранителю фондов Василию Яковлевичу Шпинёву: «Коня мне! И мундир!»

Был явлен конь, пасшийся на поляне, и генеральский мундир 12-го года из запасников. Михаилу Александровичу Дудину было приказано, как старому артиллеристу, обходить двор с тыла и страшным голосом кричать «ба-бах!», чтобы враг понял, что сила на государевой стороне. А опытному штабисту Василию Михайловичу Звонцову рассчитать план фронтального штурма. Когда они подошли под стены двора, бунтовщики действительно выгородили острог и поставили в окнах срезы стволов, изображающие пушки. С отчаянным «ура!» Семён Степанович полетел в атаку, но был ловко и скоро пленён. Бунтовщики определили его в специально приготовленную деревянную клетку и, преобольно потыкивая палками сквозь решётку, повезли на Поляну «судить». И Бог знает, чем бы всё кончилось, когда бы не встретила им московская учительница из злых, уже советских старух, знающих, как надо вести себя в мемориальных усадьбах: «Как вам не стыдно! Здесь тень великого Пушкина, а вы...»

Бунтовщики растерялись. Семён Степанович генеральским голосом приказал: «Отворите мне!» Клетка распахнулась: «Пошла вон, старая дура!» Но праздник уже был безнадежно испорчен.

Сухая, опасная для детей, учительница была скучна, как Анна Петровна Керн, — не было для неё ни камня, ни ветки гелиотропа. А он, как и его сотрудники, даже не играли в Михельсона и пугачёвцев, не передразнивали тех событий. Они в это мгновение были ими, как это и должно быть в великом театре, который не есть сравнение, метафора или перевод реальных событий (повторить, как это было когда-то), а — само событие, полное единственной жизни, потому что жизнь нельзя оскорблять повторением, хотя бы и очень художественным, — она в каждое мгновение неповторимая Господня жизнь.

Так он, шутя и не шутя, выбирал петухов для усадьбы, отлучая их от кур (петухи с курами глупеют, как, увы, и мы, грешные), чтобы они тоже не повторяли голоса той усадьбы, а были радостным звуком этой — всё живой и пушкинской. Так сзывал птиц и шил коту Васясе сапоги, чтобы тот не ловил на усадьбе белок.

А главным, конечно, были его ослепительные рассказы, театр одного актёра, в котором он не знал равных, какие бы звёзды ни сияли в соседстве — Андроников или Козловский, Антокольский или Журавлёв. И все Пушкинские конференции в холодном зимнем Доме культуры всегда разом согревались его горячими новеллами.

И однажды я был свидетелем, как какая-то добрая старуха из Казахстана привезла с собой внука, чтоб Семён Степанович благословил его в военно-морское училище. Вот что значит настоящая слава — не в девичью филологию, а в строгое военно-морское служение! И когда благословение было дано, купила в деревне барана, бестрепетно зарезала его, сделала бешбармак и, слушая полёт и чудо Семён Степановичевой речи, всё вскакивала, потрясённая, сияла глазами на внука и всё вскрикивала: «Магомет! Магомет!»

Ох, правы бедные экстрасенсы: здесь сам воздух электризован и зажигает всех.

Эта его школа не могла не вспыхнуть в сотрудниках. Это был их с Пушкиным союз, в котором они были неразрывны, что тотчас узнавалось всяким паломником. Строгие-то пушкинисты, конечно, ворчали и за спиной могли много чего сказать, но он был силен не ими, а «мнением, да, мнением народным». И мнение это его в обиду не давало.

...Дядя Вася Свиныховский. Вечный Михайловский дворник в ярчайшем галстуке и в фуражке с сочинённой с Семён Степановичем кокардой мог, отставив метлу, пуститься в такое пушкиноведе-ние, что только руками разведёшь.

...Художник Володя Самородский, в кои-то веки получивший от директора подъёмные для поездки в Италию, чтобы усовершенствовать свой дар, выгнал всех посетителей из ресторана «Лукоморье», собрал цыган со всей округи и прогулял свой «грант» и солнечную Италию в одну ночь. И Семён Степанович понял его, потому что некогда и сам прогулял так «английское пальто в чемодане», заработанное сотнями экскурсий, чтобы только явиться в нём перед петергофскими барышнями, оставить на память фотографию — кудри по плечам, как у геттингенского Ленского, шарф как у Исадоры (так она писалась тогда) Дункан и умело спрятанный восторг в глазах. И в ту же ночь от пальто и вешалки не осталось.

И прочитайте-ка довлатовский «Заповедник». Там про Семёна Степановича две-три равнодушных строки, что старик «хотел устроить парк культуры и отдыха», но быт-то, быт там чей? Атмосфера-то? Герои-то? Добрый автор отнёс это на счёт раскидистого русского характера, но когда бы времени приглядеться было побольше, и узнал бы он и самого Семёна Степановича поближе, то сразу бы и понял, откуда, например, его недолгий ресторанный друг Валера Маслов с его монологом, как у Павла Исааковича Ганнибала с поправкой на безумие века, но с тем же неостановимым полётом:

«— Хотите лицезреть, как умирает гвардии рядовой Майкопского артиллерийского полка — виконт де Бражелон?! Извольте, я предоставляю вам этот шанс... Товарищ Раппопорт, введите арестованного!..

Кто-то из-за угла вяло произнёс:

— Валера накушавши...

Валера живо откликнулся:

— Право на отдых гарантировано Конституцией... Как в лучших домах Парижа. Так зачем же превращать науку в служанку богословия? Будьте на уровне предначертаний Двадцатого съезда. Слушайте «Пионерскую зорьку»... Текст читает Гмыря...

— Кто? — переспросили из-за угла

— Барон Клейнмихель, душечка!»

Валера мог бы показаться выдумкой, если бы не тот же Володя Самородский. Или юноша Петя Быстров с Михайловского кордона, всегда говоривший Семёну Степановичу «ты», с непременным немислимым бантом и в немислимой же шляпе, прося «по этому случаю поднести».

И сегодня нет-нет набезит на вас такой Валера, и даже не «накушавши», а в совершенной трезвости, и закружит в словах. Боюсь вымолвить, вы почувствуете это порой даже в дыхании святогорской службы, в монастырском быту, словно тень Иллариона Раевского, как и тень Пушкина, всё улыбается с небес и возрождённой обители, и жизни. И даже несчастный заяц, перебежавший дорогу Пушкину, никуда не делся и, с лёгкой руки Андрея Битова, был чествован здесь памятником с возложением капустной и морковной жертвы, с чтением гекзаметров, сочинённых по случаю торжества новым директором Георгием Николаевичем Василевичем:

Заяц, в историю глазом кося,

Здесь дорогу поэта пресёк в Санкт-Петербург –

К мятежу, к многоснежной Сибири...

И когда псковский художник Александр Стройло в своих Михайловских открытках усаживает на усадьбе этих заботливых зайцев и пишет «Ждут!» — это улыбка и игра. И когда Резо Габриадзе на полях того же предания лепит страшного имперского зайца в ладонь высотой такого величавого ужаса, что тот мог остановить не только Пушкина, но и подавить восстание на Сенатской площади, — это тоже театр во всей серьёзности, всегда заключённый в самой беспечной игре.

Ну, и конечно, как в Михайловском без стихов? Семён Степанович писал свои обычные эпистолярные буколики и оды, элегии и стансы, рядясь бояном, местным Омиром и даже вполне персидским Семияном ибн Енчиковым X-го века до новой эры, когда писал своему другу Василию Михайловичу Звонцову пышный орнаментальный совет по случаю простудной болезни:

Холод, насквозь пронзая, может суставы сковать в состоянье такое,
Что с трудом сможешь плестись ты к Авроре своей.

(Тут ещё та улыбка, что Аврора не дама, а издательство, где Василий Михайлович был в ту пору главным художником. — В.К.)

Друг мой несчастный, прежде чем дальше идти,
Воротися немедля домой и скорее шерстью овечьей закрой
Шею и грудь, и вату в уши клади, не жалея...
Этим лишь будешь спасён от болезни простудной.
Очень обычной для дней октября...

И подпишет: перевод Василия Свинуховского.

И когда сегодняшней директор, усвоивший это искусство игры в самом живом виде, предваряет учёнейшую конференцию московских философов о столице и усадьбе стихотворным словом — это

всё тот же счастливый театр никуда не девшейся пушкинской музыки, которая, кажется, оставила Петербург, Одессу, Кишинёв, Болдино и навсегда прописалась здесь, где была счастлива и молода.

Музей в значеньи старом — место муз.
Их дом, их храм, их место обитанья,
Где длится времени свободное дыханье,
То совпадая с вечностью, то нет —
Усадьба русская,
Характер русский — не из бездорожий.
Из широты освоенных полей. Из горизонта. Из ночных огней.
Из Млечного пути, из перелётов,
Из возвращений с юга наших птиц.
Всего же более — из песен, из молитв
И из страниц, из слов романов наших,
В которых жизнь усадеб — полной чашей,
В которых ныне всё уж не про нас — про тех, иных...
Богатыри — не мы...

Как тогда скоро это вступление заставило хмурых философов сконфуженно закрыть свои толстые доклады и вспомнить волю и полёт импровизации.

Что бы мы были, не зная этой святой земли? Что был бы наш Пушкинский театр без этого воздуха свободы, в котором форма, если воспользоваться терминологией пока не пропавших из виду философов, «снимает себя», оставаясь формой и вместе исполняясь чудом музыки и жизни.

Подлинно — весь мир театр, и люди в нём актёры. И это не осуждение мира и людей, а восхищение ими, открывающими, что жизнь прекрасна, как высокое представление, а рождённое духом этого места представление прекрасно, как жизнь, и пророческое служение, каким всегда является искусство, — не угрюмая серьёзность, а улыбка любви и победы.



Между берегами

Геннадий Красников

Геннадий Николаевич Красников (30.08.1951, г. Новотроицк Оренбургской области) — поэт, критик. В 1974 г. окончил факультет журналистики Московского государственного университета. В 1978 г. стал ведущим редактором издательства «Молодая гвардия», где вместе с поэтом Н.Старшиновым выпускал всесоюзный ежеквартальный альманах «Поэзия».. Дебютная поэтическая книга Красникова «Птичьи светофоры» вышла в молодогвардейской серии «Молодые голоса» в 1981 г. с предисловием Е.Евтушенко и получила премию им. А.М.Горького. Антивоенная поэма-плакат «Эпицентр» («Юность», 1983, № 6) была поставлена в качестве спектакля в нескольких городах страны, в том числе на Оренбургском телевидении, за нее Красников получил премию им. Б.Полевого. Совместно с поэтом В.Костровым издал наиболее полную антологию «Русская поэзия. XX век», куда вошли стихотворения более чем 700 поэтов (М., 1999; 2-е изд. — 2001)

Письмо-рецензия на книгу В.Я. Курбатова «Пушкин на каждый день»

Дорогой Валентин Яковлевич, здравствуйте!..

Время летит стремительно, вот уже два месяца прошло после нашей пушкинской встречи!.. А я так и не успел сказать спасибо Вам за эти благодатные вдохновенные дни Михайловского счастья, за этот Праздник пушкинской Победы над Временем, над смертью, над неверием, над пошлостью, над недругами России и русского пути!.. Замечательно был задуман Вами и проведён круглый стол на тему Победы и Пушкина... Ваше слово на этой встрече — было глубоким, тревожным, с пророческим предчувствием будущего России, нашей культуры, мира в целом...

И вполне симптоматично, что именно эта дискуссия показала — насколько сложна обозначенная Вами проблема в свете пушкинской и вообще русской религиозной историософии. Как даже под личиной патриотизма и, увы, кондового биения себя в грудь, можно в духе «Эха Москвы» говорить, что Пушкин — «НЕ НАШЕ ВСЁ» (и это буквально в нескольких шагах от пушкинской могилы, на святой пушкинской земле!..)... Тут, мне кажется, всё-таки есть вопрос с выбором приглашённых на Праздник... Уровень (мне после десятилетнего отсутствия как-то бросается в глаза) — заметно снизился (у большинства из участников я бы не смог ничего отобрать ни для одной из своих антологий!.. Даже стихи о противостоянии Путина и Меркель — ярославского поэта, понравившиеся Вам, — пришлось бы сократить вполтину...)... Но Вы, как опытный капитан, достойно, без надрыва, не дали снизить уровень разговора и всё прошло на достойном же высоком уровне...

Но вот ещё почему (и в первую очередь!) я уже давно собирался Вам написать. Целый месяц по возвращении я не расставался с Вашей книгой «Пушкин на каждый день» — растягивая удовольствие от чтения, жалея, что страниц остаётся всё меньше и меньше... Для меня эта книга стала как абонемент на многодневные встречи с Пушкиным, Курбатовым, с русской литературой где-нибудь в концертном зале Чайковского или в музее изобразительных искусств... Вы знаете, даже ради одного того, чтобы получить в подарок от Вас эту книгу, — стоило приехать в Михайловское, не говоря уже о самом Празднике русского слова, русской Поэзии!..

По правде сказать, я в последнее время читал только какие-то обязательные по моей работе книги, и ничего другого читать не было желания по разным причинам (упадок прозы, поэзии, культуры, настроение в обществе и в мире, бесперспективность и безнадежность нашего общего дела...)... Но Ваша книга — всё как бы перевернула, открыла второе дыхание, вернула веру в русское слово, в поэзию, живопись, музыку, философию... После Вашей книги в наш дом навсегда вошла Мария Юдина с её гениальной игрой, с её судьбой, мыслями, с Вашими размышлениями о ней; Вы открыли для меня костромского художника Алексея Козлова; я стал искать и читать Юрия Куранова; Вы пи-

шите о близких мне людях — Шкляревском (я ему передал свои впечатления о книге и Вашем эссе о нём), Вы упоминаете о Старшинове, с которым мы 20 лет вместе выпускали альманах «Поэзия»... С Игорем Волгиным я говорил о Ваших статьях и мыслях о Толстом и Достоевском... А сколько мыслей родилось, замыслов, какая жажда чтения и познания снова ожила!..

И конечно же, — Ваш Александр Сергеевич, Ваше Михайловское!.. Так и хочется после этих потрясающих работ (посреди ахеджаковских и шендеровичевских как им стыдно быть русскими) словами Суворова воскликнуть: «Мы — русские! Какой восторг!»

Как важно, как необходимо (особенно в наше дикое разрушительное время) — именно такое слово, такое прочтение Пушкина, русской классики, русской судьбы, истории! Ваш метод чтения — чтение сердцем, то, что наши великие мыслители о русской философии говорили как о философии сердца, о метафизике сердца... И Пушкин открывается через Ваши мысли о нём как Удерживающий (не Сдерживающий!), как духовный центр русского Космоса... И как точно и полезно напоминание и указание на работу Б.А. Васильева «Духовный мир Пушкина» (открытие для меня, спасибо!), благодарность В. Непомнящему, бесконечно живому у Вас и искромётному С.С. Гейченко, мудрому и твёрдому в своей правоте Г.Н. Василевичу!.. Галерея людей, подвижников!.. Чудесные пейзажи и сюжеты Михайловского, Тригорского через стихи Александра Сергеевича... И — тонкие, умные, лёгкие, как светлые облака над Соротью, Ваши собственные стихи, так органично стихотворными акварельными капиллярами соединёнными с кровеносной системой Михайловского, всей пушкинской атмосферы!..

Эта книга — надолго, навсегда останется в отечественной культуре, она всегда будет у меня под рукой на моей книжной полке... Она просто так не оставит, в ней есть тайна, в том числе — тайна русской души, которая бесконечна и необъятна, постигать которую можно всю жизнь, постигать сердцем, метафизикой сердца...

Всего не скажешь вот так сразу... Простите за сумбур вместо музыки, но хотелось успеть охватить всё, что думалось и чувствовалось во время чтения Вашей книги, но тут как раз и подстерегает опасность — объять необъятное!..

С любовью, благодарностью и радостью иметь счастье сказать Вам всё это!..

У Вас в книге несколько раз промелькнула одна весьма близкая мне мысль, которую я ещё в прошлом веке выразил стихами, которую при возможности вписал бы в Вашу заветную записную книжку автографов. А пока — здесь:

Люблю читать в иные дни
не текстов ветхие обноски,
а комментарии одни,
а примечания и сноски.

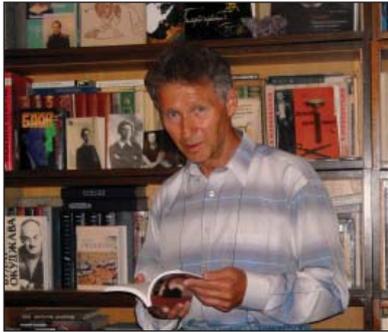
Не то что бы была скучна
мне простота, но чем яснее —
тем больше требует она
замысловатых объяснений.

Мы любим усложненья те,
блеск возражений, буйство спора,
нам неуютно в простоте,
в ней для гордыни нет простора.

Я знаю этот интерес!
Так грешная душа боится
бездонной глубины небес,
где не за что ей зацепиться.

С любовью, ваш Ген. Красников,
08.08.2015.

Между берегами



От всей души поздравляем Григория Исааковича с 70-летием с пожеланием неиссякаемой энергии на долгие годы в интеллектуальном и душевном труде признанного ученого, исследователя, публициста, поэта и писателя!

Григорий Блехман

Я из прошлого величья... О Сэде Вермишевой

Название этой заметки определила строчка одного из стихотворений книги Сэды Вермишевой «Преодоление»:

Я из прошлого величья,
Из совсем другой страны.
В тёмном поле сердце кличет
Отлетевшей были сны...
И куда ни кинешь взгляда, –
Всё утрата,
Всё мираж...
И зачем, какого ляда
Здесь разыгрывать кураж?
В мире горестном распада
Я сама себе не рада, –
Так ничтожен мир...
И я —
Лишь осколок,
Скальный сколок,
У замёрзшего ручья...

Переправы лёд так тонок...

Под снегами Русь моя...

Выбрал эту строчку потому, что величие самой Сэды Вермишевой не только в прошлом, но и в настоящем. Хотя корни, как у подавляющего числа тех, кто не утратил совесть, конечно, «из совсем другой страны». И чем больше проходит времени от начала 90-х, тем больше «сердце кличет» ту страну, как «отлетевшей были сны».

Величие же Поэта в настоящем определяется верностью главному — духовной сути Человека, которую Сэда Вермишева отстаивает изначально день ото дня.

В её предшествующем сборнике «Смятение» есть строчки, в которых, на мой взгляд, очень точно сказано об истоках и результатах своего творчества:

Я мало от себя завишу,
Завишу больше от других.
Они дают мне хлеб
И крышу,
И пару пряников сухих.
Но голоса я утром слышу

В подполье узников своих —
Они скребутся,
В спину дышат,
Идут
Как конники
В прорыв...

На свет выходят.

Книги пишут, —
С постов снимают
Часовых...

И эти «голоса» действительно «идут как конники в прорыв», и потому каждое её стихотворение и каждая публицистическая статья становятся событием не только в литературной жизни страны, но и в общественном сознании многочисленных читателей Сэды Вермишевой.

Иначе и не может быть, когда литературный дар, обострённое чувство совести и своего назначения на Земле составляют единое целое. Но давайте послушаем Поэта:

Я боюсь за Россию
Больше,
Чем за себя.
Хоть меня не просили,
Говорили:
«Напрасно!»
Повторяли,
Что зря...

Только так привелось мне,
Так легло на роду...

Я здесь Слову училась
В сорок первом
Году....

Так совпало, что верность Слову как Долгу была в ней заложена ещё в знаковом для страны сорок первом году, когда будущий выдающийся поэт находилась в совсем нежном возрасте. А годом позже Анна Ахматова написала ставшее сразу знаменитым стихотворение «Мужество», где уверенно сказала: «...*И мы сохраним тебя русская речь,/ Великое русское слово,/ Свободным и чистым тебя пронесём,/ И внукам дадим, и от плена спасём/ Навеки!*».

Вот и по сей день рождённая в Армении и волею обстоятельств оказавшаяся совсем юной в России влюблена Сэда Вермишева в обе эти страны и в Слово каждой из них, которое для неё свято. Потому так близко к сердцу принимает она всё, что связано с преступным разрушением своего великого государства под названием Советский Союз. Где, в отличие от сегодняшних, бывших его республик, а теперь самостоятельных стран, жила Великая Идея, поскольку:

Без Великой Идеи
Не бывает Великой
Страны....

Ну а мы оскудели
И себя проглядели...

Мы смертельно больны.

Наше воинство Духа
Тихо двинулось вспять...

И эта боль, а также вера в преодоление пронизывают книгу «Преодоление», в которой, как это присуще всей поэзии Сэды Вермишевой, много поэтических находок. Вот какими строчками своих стихотворений Поэт предваряет главы:

Я протянула
Всем невзгодам
Руку...

Прощай,
Двадцатый век!..

В моей душе
Ещё костёр
Дымится....

Я молю —
Не стойте с краю
В трудный час
Земли своей!..

Идут на снос
Эпохи и дома...

Со всей страной говорить
Всем горлом,
Всем ознобом...

Латать и лечить
Современности драму.
И править безумия
Речь!..

Слепиться в храм.
В надежду,
В свет,
В простор...

Не правда ли, в этих строках не только продолжается вполне понятное настроение предшествующей книги «Смятение», но и уже отчётливо звучат нотки того, что и дало повод назвать новую книгу обнадёживающим словом: «Преодоление». Да и не в характере Сэды Вермишевой, которую подавляющее большинство любителей её поэзии и публицистики зовут «наша Сэда», оставлять непреодолёнными смятения, возникающие на каждом шагу человека с обострённым чувством Совести.

В этом главном качестве Человека испытывает она полное родство с любимым ею Александром Блоком. О некоторых важных размышлениях выдающегося поэта Серебряного века есть в книге очень ёмкая статья «Послание Блока или Россия между Востоком и Западом».

Мне же, когда думал о переходе от «Смятения» к «Преодолению» пришли на память знаменитые строчки Блока: *«...Но ты, художник, твёрдо веруй/ В начала и концы. Ты знай/ Где стерегут нас ад и рай./ Тебе дано бесстрастной мерой/ Измерить всё, что видишь ты./ Твой взгляд — да будет твёрд и ясен./ Сотри случайные черты —/ И ты увидишь: мир прекрасен...»*

Да, горько и больно Художнику, — а Поэт всегда Художник — видеть эти «случайные черты», которыми люди, утрачивая совесть, населяли и населяют наше пространство во все времена. Но природой дано Поэту чувствовать и нести нам свою уверенность в том, насколько наше пространство само по себе прекрасно, если жить по совести. И, конечно, любить. Тогда преодолешь всё. Не случайно эта книга начинается стихотворением «Поэт», в котором звучит:

Ты пребываешь здесь
Инкогнито,
Никто не должен в мире знать,
Что солнце ввысь
Тобою поднято,
Что ты велел ему
Сиять.

Ты есть Закон.
Твои Владения
Лежат везде,
Где солнца свет!...

Ты — сын побед.
Не поражений —
Для духа поражений
Нет!

Ещё идут твои сражения...

Гори,
Владей,
Твори,
Поэт!...

И в этом — «для духа поражений нет» вся наша Сэда. Нередко слышу от неё, что сейчас — в дни непонятной «свободы от совести» не время для её лирики. И не могу согласиться.

Во-первых, без лирики нет того волшебства строчек, которое приводит поэта и его читателя в магическое состояние, сходное с состоянием полёта. Да поэзия и есть полёт, а значит — лирикой является изначально: гражданской ли, философской, бытовой, любовной... Без неё художественного произведения и, тем более, поэзии нет. А Сэда Вермишева — Поэт от природы.

И, во-вторых, то, что называет сама Сэда лирикой, настолько для неё органично, что тут же заслушиваешься красотой и глубиной созвучий её душевных струн.

Знаю, каким трудом далось издателю и редактору Николаю Дорошенко уговорить Сэду Константиновну дать то, что она называет лирикой, и очень благодарен обоим за эти стихотворения в сборнике, поскольку они всегда и венчают наши преодоления. Впрочем, давайте послушаем:

Туманы с тучами слились,
И неба свет так нищ
И скуден...

Ручьи,
Как реки,
Растеклись,
Базар немногочуден.
Визжит пила на лесопилке
И заполняет звуком дали.
Пройдёшь —
И мягкие опилки
Набьются в мокрые сандалии.
Забор укрыла повиллика...
Проходят серо дни,
Безлико,
Безликостью не тяготясь своею...

Здесь вызревают зёрна тихо,
И я их торопить
Не смею...

Согласимся, что мы стали отвыкать от таких её стихотворений. К сожалению. Но, видимо, «лёд тронулся», и потому слушаем дальше:

Какая тишь стоит над миром
Заснул мой город.
Далеко
Бросает свет полоской узкой
В слепую ночь
Моё окно.
Белеет снегом занесённый
Проспект,
И, словно покрова,
На снег ложатся запоздало
Чеканных листьев кружева.

Не шелохнётся тополь тонкий.
Он зачарованно глядит,
Как серп луны, прозрачный
Ломкий,
Туманным облаком кадит...
В саду скамеек тёмных тени
Легли полосками на снег —
Прощальный знак поре осенней...
Остановило время бег...

А тишь стоит,
Стоит — над миром.

Мне в тишь такую —
Не уснуть.

Застыло всё...
Лишь звёзды в небе
Неслышно строят
Млечный Путь...

И пока звёзды «неслышно строят Млечный Путь», давайте насладимся ещё и такими строчками Поэта:

Начну письмо...
Под дождь так тянет
Лелеять слов обугленную хворь...
Раскрыть окно,
Приставить к двери камень,
Начать письмо...
Писать в стихах,
Без адреса,
Без почты,
Которая бы приняла его.
А шум дождя
Вберут,
Впитают строчки —
Так сладостно с природою родство...
И только к утру тихо прозревая,
Со лба откинуть вымокшую прядь,
И, с подоконных досок дождь стирая,
Легко вздохнуть,
И снова жизнь
Начать...

Читаешь эту книгу, и не хочется, чтобы строчки заканчивались. Потому что моментально вводит тебя Поэт в такое состояние, когда и тебе «так сладостно с природою родство». И ты чувствуешь, как эти строчки впитывают всё, что происходит не только вокруг, но и с тобой, даже если тебе бывает больно и горько. Вспоминаешь, что и сам много раз хотел об этом же рассказать, но ТАК СКАЗАТЬ не сумел.

Потому что ТАК — дано единицам. И они называются Поэтами, вызывая в нас тот «трепет души», какой трудно с чем-то сопоставить. За что мы Поэту и благодарны в любые времена.



Наши друзья

Советуем читать:

Дальневосточный журнал «Сихотэ-Алинь»: haos216@mail.ru Почтовый адрес: 690003, Владивосток, ул. Авраменко, д.17, кв. 65

Литературный журнал «Наш современник»: nash-sovremennik.ru

Журнал «Великоросс»: http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_29/article_1253/

Журнал «Экоград» Москва: <http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/zhurnal-berega-pobedil-v-konkurse-zhurnalistskogo-masterstva-slava-rossii>

Виртуальный салон искусств «Преголя-арт»: <http://pregolia-art.com>

Международный пресс-клуб: <http://www.pr-club.com/>

Русский народный дом: <http://rusnardom.ru/russkaya-literatura/poeziya/intervyu-yunnyi-morits/>

Журнал «Воин России»: voin-rossii.ru

Журнал «Новая Немига литературная»

Портал Переправа <http://pereprava.org/>

Общество Русско-Американской дружбы «Добрая Воля» в Вашингтоне www.raga.org

Русская народная линия <http://www.ruskline.ru>

Журнал «Подъем» — <http://www.podiem.vsi.ru>

Поддержка журналу

Дорогие друзья!

Помощь журналу, приобретение и подписка на журнал «Берега» осуществляется перечислением на карточку Сбербанка Маэстро (действует по всей России) на счет: **6390 0220 9003 003076**

сумма из расчета, сколько журналов и какие номера Вам необходимы (1 журнал — 400 руб).

Периодичность — шесть раз в год.

Свой почтовый адрес после оплаты выслать Лидии Владимировне Довыденко:

dovidenko_L@mail.ru